

1981

4

ЮНОСТЬ





Рубиновая звезда над Кремлем.

Фото Н. Рахманова.



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955
ГОДУ

1981

апрель

(311)

4

ЮНОСТЬ

Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Редакционная коллегия:

А. Г. АЛЕКСИН

В. И. АМЛИНСКИЙ

Б. Л. ВАСИЛЬЕВ

В. Н. ГОРЯЕВ

А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ

(зам. главного редактора)

С. Н. ЕСИН

Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ

Н. М. ЗЛОТНИКОВ

Р. Ф. КАЗАКОВА

К. В. КОВАЛЬДЖИ

К. Ш. КУЛИЕВ

М. Л. ОЗЕРОВА

А. Г. ПОТЕМКИН

А. С. ПЬЯНОВ

(ответственный секретарь)

В. А. ТИТОВ

А. В. ФРОЛОВ

Издательство «Правда»
Москва

Адрес редакции: 101524, ГСП,
МОСКВА, К-6, улица Горького, № 32/1
Телефон редакции: 251-32-83.



ЕДЕМ В НОВЫЙ УРЕНГОЙ!

Недавно с трибуны XXVI съезда КПСС мы узнали, что на важнейшие стройки одиннадцатой пятилетки отправляется семитысячный Всесоюзный ударный комсомольский отряд имени XXVI съезда.

В составе сводного отряда — лучшие молодые строители из всех союзных республик. Ребята будут работать на строительстве объектов Западной Сибири, Канско-Ачинского территориально-производственного комплекса, Курской магнитной аномалии, Байкало-Амурской магистрали, Усть-Илимского лесопромышленного комплекса, заводов «Атоммаш» и «Ростсельмаш», городов Комсомольска-на-Амуре и Нижневартовска.

Отряд имени XXVI съезда партии примет эстафету у комсомольских строительных отрядов, которые по-ударному работали на объектах девятой и десятой пятилеток. «Практика направления ударных отрядов, укомплектованных квалифицированными специалистами, себя полностью оправдала», — говорил в своем выступлении на съезде первый секретарь ЦК ВЛКСМ Б. Н. Пастухов.

Незадолго до отъезда отряда наш корреспондент Людмила Дикова встретила в Московском горкоме комсомола с молодыми посланцами столичных организаций — бойцами сводного ударного отряда имени XXVI съезда.

У

каждого из этих парней и девчат впереди в свой Турксиб и своя Магнитка. Пятьдесят молодых москвичей собрались в Новый Уренгой. Родине нужен тюменский газ. Тюменской земле нужна помощь ребят. И они придут на помощь тем, кто уже не первый год работает в Сибири и на Дальнем Востоке.

Славно потрудились юность страны на важнейших народнохозяйственных объектах минувшей пятилетки. На карте Родины появились новые города, рабочие поселки. Только на Байкало-Амурской магистрали проложено 2700 километров главных и станционных путей, а на участке протяженностью почти в полторы тысячи километров открыто пассажирское движение. Завершено строительство первой очереди Сургутской ГРЭС и Усть-Илимского лесопромышленного комплекса. На проектную мощность выведены Зейская и Усть-Илимская ГЭС. Дали ток четвертый и пятый гидроагрегаты Саяно-Шушенской. Большие трудовые успехи достигнуты на строительстве объектов атомной энергетики, металлургии, химии, легкой промышленности, мелкороции и сельского хозяйства. И большая заслуга здесь молодежи, Ленинского комсомола.

Отличительная особенность отряда имени XXVI съезда партии — каждый боец имеет строительную специальность. И поэтому сразу же по приезде на место ребята безо всякой раскачки смогут включиться в дело. В отряде москвичей, например, не только свои плотники, штукатуры-маляры, каменщики и бетонщики. Есть и техники, есть и инженеры. Все ребята имеют солидный опыт работы на столичных объектах, в том числе и на объектах олимпийских. Приобретенный здесь навык высококачественной работы пригодится им на строительстве Нового Уренгоя.

На базе отряда москвичей создано несколько комсомольско-молодежных бригад. И хотя мастером-наставником будет опытный строитель-сибиряк, возглавит бригаду «свой» — боец отряда с высшим или средним строительным образованием.

Объекты отряду доверены очень ответственные. Ребята будут строить больницу и одно из уникальных зданий Нового Уренгоя — школу-десятилетку с бассейном и стрелковым тиром.

Ну, а где будет жить отряд? Вопрос немаловажный. Хорошо известно, что человек по-настоящему приживается на Севере, если у него нормальное, благоустроенное жилье. В Новом Уренгое для отряда готовы двухэтажные дома «бамовского» типа. Здесь в благоустроенных квартирах и будут размещаться бойцы по три-четыре человека в комнате.

Сотрудник Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ Геннадий Лопатин раздает ребятам необычные анкеты-интервью. Это целая брошюра, на 68 пунктов которой надо ответить. Геннадий объяснил комсомольцам: «Ваши ответы не разглашаются и не оцениваются. А поскольку анализ вашей информации будет проводиться на вычислительных машинах, прошу дать ответы на каждый из поставленных вопросов».

Ребята старательно заполняют анкеты, задумчиво покусывая карандаш и машинально, по школьной привычке, заглядывая в анкету соседа. Кто знает, может быть, этот самый сосед и окажется помощником в работе. И уж, конечно, никто не может гарантировать, что вон та девушка в зеленой шапочке не ста-

нет для кого-нибудь из отъезжающих подругой жизни. Но вот насколько полно и ясно они представляют себе характер жизни и деятельности на новом месте жительства?..

Бланки-интервью зашифрованы кодом, и понять их стороннему человеку кажется непостижимым. Зато так легче будет рассказать о себе тем, кому они вручаются...

Я взяла наугад несколько заполненных бланков. И была поражена твердостью и какой-то даже упрямой категоричностью ответов.

— Можете вы сказать, что вы взрослый, социальный зрелый человек?

— Да, несомненно, — таков был ответ в каждой без исключения анкете.

— Какими качествами должен обладать социальный зрелый человек?

И опять единодушное:

— Целеустремленность. Активная жизненная позиция...

Активная жизненная позиция на деле очень скоро о себе заявит, прямо скажем. За примерами далеко ходить не надо...

Мой первый собеседник Виктор Ярцев. Он стропальщик третьего разряда, секретарь комсомольской организации СУ-262. Член КПСС с 1979 года, образование среднеспециальное. Виктору 27 лет.

— Могу я справку представить медицинскую о возможности работать в условиях Крайнего Севера в качестве монтажника-высотника...

— Без таких справок ни с одним из вас на Севере не станут даже разговаривать.

— Что верно, то верно. Отбор здесь ведется тщательный. Может быть, это тоже сказывается на огромном потоке желающих?..

— Возможно. Споего рода конкурс... Это всегда подогревает. А как вы думаете, Виктор, что главным образом побуждает людей ехать на новостройки?

— Ну, здесь множество вариантов: это и заразительный пример других и охота к перемене мест. Большинство искренне хочет принять участие в грандиозном строительстве, проверить себя на прочность, расширить кругозор. А кто-то решает и свои личные проблемы, материальные или жилищные. За всех не ответишь. Я строитель и скажу без громких слов, что Северу строители нужны позарез.

— А как же ваша учеба в университете искусств? Вы ведь, кажется, студент заочного художественно-оформительского факультета?

— Да, третьекурсник. Так ведь это же не помеха, скорее наоборот. Буду высылать в Москву свои наброски, этюды. Северная тематика! Представите?!

Легких побед там, на Тюменском Севере, конечно же, не будет. Природа сурова. Зима затяжная, снежная, морозная, температура нередко опускается ниже сорока, а лета и не заметишь. И кажется, накрепко запрет свои богатства тундры жестоким морозом, белой пургой и бесконечной полярной ночью... Вот здесь-то и раскроется в полной мере то, о чем так легко можно написать в анкете. Целеустремленность, мужество, верность намеченной цели... И еще кое-что откроют в себе молодые люди...

Второе интервью с Тамарой Пешковой. Штукатуром третьего разряда, членом ВЛКСМ, образование среднетехническое. Ей 25 лет.

Тамара — миниатюрная светловолосая девушка, с голубыми глазами (кстати, это она была в зеленой шапочке). Никто бы не сказал, что она отличная лыжница и у себя на работе ведет кульмассовый сектор.

— Тамара, а как же теперь со спортом? Прощай?

— Что вы! Я бы даже в пустыне нашла чем себя занять. А мы едем в город, да еще Новый Уренгой... (Тут автору следует оговориться, что самый крупный спорткомплекс в Ямало-Ненецком национальном округе построен именно в Новом Уренгое, где уже действуют семь спортивных секций. Имеется клуб «Факел».)

— Так что ж, Тамара, надо полагать, что организацию досуга ребят ты возьмешь в свои руки?

— Разумеется, если только меня не опередят профессионалы...

— Скажи, пожалуйста, Тамара, ты уже решила, сколько останешься на сибирской стройке?

— До окончания строительства.

— Чем вызвано твое желание поехать в Новый Уренгой?

— Я строитель по профессии...

— И по духу?

— И по духу... А какой же строитель, скажите мне, не мечтает, чтобы на карте появился еще один город. Его город?.. Мне всегда хотелось начинать все с нуля, но меня всегда опережали...

Работник горкома комсомола Алексей Стукалов дает последние наставления бойцам. Социолог Геинадий Лопатин запикивает последний бланк-интервью в целлофановый пакет — в портфеле не хватает места. Теперь прибавится работы и ему и его вычислительным машинам. Потом появятся специальные исследования по эффективности комсомольских строительных отрядов и наиболее целесообразному их использованию.

А пока московский отряд в составе 50 человек полностью готов к выполнению важнейшего поручения Родины.

— Многие уже сделано до нас в Новом Уренгое, — говорит Алексей Стукалов. — Наши предшественники построили электростанцию, школы, детские сады, столовые, магазины, библиотеки... А сколько еще предстоит! Большие многэтажные дома, дворцы из стекла и бетона, театры, школы... У Нового Уренгоя будет свое архитектурное «лицо», не похожее ни на какое другое... Это будет сделано с участием отряда имени XXVI съезда партии. Мы хорошо помним слова Леонида Ильича Брежнева, обращенные к нам, комсомольцам и молодежи: «Партия высоко ценит ваш энтузиазм, готовность активно участвовать в дальнейшем развитии главного топливно-энергетического комплекса страны».

Людмила
ДИКОВА



КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

☆☆☆

Рядом шагая дорогой одною,
Возле него расцвела ты душою.

Время — и счастьем и грозным недугам.
Возле нее укрепился ты духом.

А за окошком то солнце, то вьюга...
Как вы растете друг возле друга!

☆☆☆

Утро пахнет прелью пряной.
В неподвижности песок.
Лишь порхает над поляной
Желтой бабочкой листок.

Чтобы вспомнили о зное,
О цветах и травах мы
И почувствовали злое
Приближение зимы.

☆☆☆

Эту гупкую землю покинув,
В светлых водах оставив свой лик
Леонид Николаич Мартынов,
Наш последний любимый старик.

...Как же много и щедро нам дали
От пути, от стиха своего...
Я смотрю в эти хмурые дали:
Впереди уже нет никого.

Танцплощадка

Жаркой мазурки вал.
Юношеские стансы.
Время промчалось...
Бал
Стал называться — танцы.

Скромненький слов запас
Даже и после вуза.
Явно стыдась за вас,
В сторону смотрит муза.

Виолончель

Весна, причастная к веселью.
Вечерний гомон вдалекс.
А здесь футляр с виолончелью
У тонкой девушки в руках.

И показалось, что большая
Во мраке, у ее ноги,
Идет изящная борзая,
Легко печатая шаги.

Читальный зал

Луч, вдетый в скважину замка,
Как будто нить в ушко иголки,
В конце кудрявится слегка,
И волоконца эти колки.

Как за окном капель звонка!
Как мысль густа на книжной полке!..

Потом и девичье ушко
Чуть-чуть зардеется от света.
На сердце просто и легко.
И ощутишь взгляд соседа.

Долговязая

Долговязая, тянись,
На сомненья не взирая,—
Головою прямо ввысь,
Где листва блестит сырая.

Долговязая, как вяз,
А не как тюльпаны в вазах.
Уважают нынче вас,
Молодых и долговязых.

Не стесняйся, что длинна,
Даже если влюблена,
А избранник чуть пониже.
Принимай и то в расчет,
Что и он еще растет,
Чтобы стать к тебе поближе.

С гребня роста своего
Улыбнись кипенью сада
И не бойся ничего.
Лишь сутулиться не надо.

Зной

Лето. Жарко. Безлюдье в подъезде.
Я давно возвратился уже.
Лифт, поднявшись, остался на месте
И стоит на моем этаже.

Город, собственно, вымер и замер,
Он охвачен дурманящим сном.
Редко кто, да и то из Рязани
Или Тулы, пройдет под окном.

Начало сна

Негромкие речи вели
Колеса, как будто спросонок.
Пощелкивал поезд вдали,
Баюкая дачный поселок.

Отчетливый рельсовый стон,
Что знаете, впрочем, и вы ведь...

Сивчала я слышал свой сон,
Потом начинал его видеть.

Баллада о междупутье

Спрыгнул на междупутье —
Лень было лезть на мост,—
И поразило жутью
Праздный субботний мозг:
Сквозь бесконечный, вечный
Мир — в этот самый миг,
Светом пронзая, встречный
Вырвался напрямик...

Сделал напропалую
То, что пришло на ум —
Жизнь пожалел родную,
Не пожапел костюм.

И уже рухнув плоско,
Крикнул себе: «Ложись!»
Узенькая полоска.
Хрупкая наша жизнь.

Разве цена за это
Больно уж высока!
Рядом колеса где-то
Бухают у виска.

Двигался дым кудлато.
Сразу и без труда
Встал и пошел куда-то,
Может, и не туда,

Помня малейшей пѳрой,
Как он во мрак упал,
Слыша сирену «Скорой»,
Стоны и вскрик у шпал.

Коля Глазков.

Штрихи к портрету

Был он крупен и сутул.
Пожимал до хруста руки,
Поднимал за ножку стул,
Зная толк в такой науке.

Вырезал стихи друзей,
Что порой встречал в газете,
И с естественностью всей
Им вручал находки эти.

Не растрчивал свой пыл
На душевные копанья,
А Якутию любил
И публичные купанья.

Пил грузинское вино —
Большей частью «Цинандали»,—
И еще его в кино
С удовольствием снимали.

...Это беглые штрихи
К бытовому лишь портрету.
Ибо главное — стихи,
Жизнь дающие поэту.

Краткий бег карандаша,
Откровения улада
И — добрейшая душа
Иронического склада.



Поэзия



ПЕТР
ГРАДОВ

Тихий Дон

Я плыву против течения лихого,
а сказать точнее — плыть пытаюсь.
Вспоминаю, что ведь Дон-то тихий,
но никак с течением не справляюсь.
Дон волной в зеленый берег бьется,
он шумит, бурлит, от солнца пьян.
Тихим по ошибке он зовется.
Впрочем, как и Тихий океан.

Горький и Шалапин на Волге

Вечер. Тихо на волжском раздолье.
Ветер в листьях поет невзначай.
— Федя, ухни «Дубинушку», что ли!
— Я-то ухну, да ты подпевай.

Он вздохнул широко и свободно,
словно горе ему не беда,
и запел о дубине народной,
как еще он не пел никогда.

Голос, словно раскатами грома,
разорвал тишину над рекой.
Встреппенулся старик у парома:
— Ну и сила!.. Не слышал такой!

Сколько дум беспокойных рождает
этот старый знакомый мотив.
Горький рядом безмолвно шагает,
обо всем на земле позабыв.

Перед ним вереницею длинной
вдоль по берегу Волги-реки,
наклонив мускулистые спины,
с этой песней идут бурлаки...

Песня смолкла. Лишь эхо за Волгой
повторило «да ухнем!» опять.
Повторило чуть слышно и смолкло,
а в душе продолжало звучать.

Серебристый туман понемногу
Волгу скрыл пеленою своей.
— Федя, ты!..
— Ну да будет, ей-богу.
Не пора ли домой, Алексей!

И пошли по дороге знакомой
над притихшей в тумане рекой.
А старик, что стоял у парома,
слезы вытер шершавой рукой.



СЕРГЕЙ
ЕСИН



МЕМОУАРЫ СОРОКАЛЕТНЕГО

ПОВЕСТЬ

Мама умерла ночью. Ее обрядили в одежду из приготовленного ею узелка и положили на стол. И тут я впервые понял, что остался на свете один. Все — детство, юность, даже средние, но самые спокойные годы — кончилось. Дальше уже не к кому прийти, чтобы тебя поняли, простили и защитили. Ты один, и теперь уж безнадежно и безвозвратно взрослый...

П одписывая в эфир очередную передачу, я обязательно бросаю взгляд в окно. Выработался даже определенный механизм поведения: на зеленоватой бумажной папке под напечатанным текстом «Передать в эфир разрешаю» я ставлю свою подпись: «Заведующий отделом Воронов», — кладу на письменный стол авторучку и одновременно левой рукой нажимаю на кнопку звонка. Сразу же входит секретарша Наташа. Правой рукой я подаю ей эфирную папку и тут же на своем крутящемся кресле разворачиваюсь влево, чтобы взять очередную. В этот момент и наступает сладостная и тревожная пауза в работе. Я тяну левую руку за не прочитанной еще передачей, а сам гляжу и гляжу в окно. Иногда левая рука, как лягушка, прыгает по столу, шарит бумагу. А за окном, через двор, — задний фасад двухэтажного старинного особняка. Верхнее окно — Раиса Михайловна и ее сын Даня; огромное итальянское

Рисунки
В. Гальдяева,

окно под ними — Эдка Перлин; еще ниже, в подвале — Абдулла, мой приятель. Следующий по вертикали ряд — бабка Серафима Феоктистовна, Мария Туранюк, в подвале тетя Паша Еденеева. Еще ряд: Елена Павловна, старая, ныне уже покойная художница; окном ниже Зойка с любовью к немецкой философии и Достоевскому — ей-то, я, наверное, и объясню, что сижу в этом кресле. А взгляд, как рентген, режет дом, ведь есть еще передний фасад: Витька Милягин, Сильвия Карловна со своим незаметным мужем, многочисленные Панские. Анька с ее ослепительными коленками и другие, которых я знал хуже и чья жизнь тогда мне казалась таинственной и значительной.

...Левая рука наконец-то нащупала очередную папку с передачей. Подтаскивая ее к себе, не глядя открываю и бросаю последний взгляд на дом. Прямо передо мною мое бывшее жилье: два полукруглых окна почти под крышей, за которыми сейчас никто не живет.

Хватит мечтать. Пора браться за дело. Чем мы сегодня порадуем радиослушателя?..

История с пожаром и взрывами

Восемнадцать лет я уже узнал крепкую тяжесть заработанного рубля.

Как же я тогда попал на «Мосфильм»? Я только что окончил школу, с треском провалился в институт востоковедения, и тут мне позвонили со студии научно-популярного фильма. Но в массовке кино я крутился еще раньше, до «новых денег», потому что четко помню: платили не три рубля за съемочный день, как сейчас, а тридцатку. Очень были нужны деньги. Мама болела, у брата была уже своя семья, да с него и не разживешься, я тянул лямку в школе рабочей молодежи, бегал утром с сумкой, разнося газеты, а мать очень не хотела, чтобы я шел на производство: бросишь учиться... И кто-то мне сказал, что есть такой приработок — «Мосфильм». Деньги были очень нужны: к этому времени вернулся отец и еще до реабилитации, скрываясь ото всех, не выходя в коридор, жил месяц у нас...

Мой заработок в то время был основным в семье. Вот написал слово «семья» и засомневался. Была ли семья?.. Но на деньги, которые я приносил домой, жили трое.

На «Мосфильме» в то время я был уже человеком своим. Моя фотография лежала в актерском отделе. Я знал ветеранов массовки — бригадиров, помрежей, был со всеми в добрых отношениях, и они меня совали везде, где шестнадцатилетний пацан мог проторчать, одетый в платье любой эпохи, целый день, почитывая книжку или учебник.

В тот день, когда позвонили со студии, отец собирался в Брянск. Вещи все были разобраны, лежали на виду.

Отец заметался по комнате, распахивая свертки под кровати, а потом заскочил за перегородку. После этого мать откинула крючок на двери.

— Диму к телефону, — раздался голос Раисы Михайловны.

— Дима, тебя, — облегченно сказала мать, не переступая порога.

Известия по телефону поступили почти невероят-

ные. Приглашают сниматься на роль в настоящую кинокартину. Правда, на студии научно-популярного фильма, правда, фильм учебный, для Советской Армии, правда, широким экраном он не пойдет. Но ведь это занятие и, значит, надолго, почти на год. Уже разнеженная душа сразу представляет: афиша с названием, ажиотация знакомых женского пола, и тут же мыслишка: а может быть, с того учебного фильма и пойду, начну сниматься, здесь и лежит вектор моего счастья. Но все эти сладкие мечты от себя надо гнать: путь мой лежит не здесь.

Полгода я наслаждаюсь сытой, определенной по контракту свободой... Кино захватило меня в свои бархатные лапы и потащило по лунным местам Крыма.

В Ялте стоит царственно-ранняя весна. С пушечным громом, заливая набережную, бьет в паравет резвая волна. Соленая изморось садится на олеандры и магнолии. Ялта почти пуста. На набережной — редкая цепочка кутающихся в одинаковые плащи прохожих, в пустом ресторане — расторопность конкурирующих официантов, уставших от ожидания клиентов: только сел за стол, а услужливый работник общепита уже трусит к тебе с развернутой картой меню. А еще гостиница: хороший номер с ванной и видом на море, деревянная кровать с пружинным матрасом. Это после московской сутолоки и стеснений... Ресторан, ванна с горячей водой, Крым, просторная кровать — все это навалилось на меня в восемнадцать лет.

Основной задачей было не показать виду, что все это привалило мне впервые.

Мы снимались под Ялтой. Горел какой-то склад. Пиротехники подпаливали смрадные куски пакли; громыхали, вспыхивая; маленькие взрывы — рвался порох в небольших резиновых пакетиках, я полз по крыше склада, подсвеченный сбоку веселым светом софитов, а сверху, несмотря на холодный ветер, меня еще поливали из шлангов пожарники — героизм, как и положено, должен совершаться в назидательной обстановке природного возмущения. Снизу меня подбадривали:

— Давай, давай, Дима, дыши прерывистой. Так, хорошо. Теперь взгляни направо. Хорошо. Сожми зубы. Тебе тяжело!.. Прекрасно... Пиротехники, взрыв! Да ближе, вы, черти!

— Опалим мы его, Иван Федорович, — басит пиротехник.

На своей героической крыше под потоками ледяной воды с нетерпением ожидаю окончания экзекуции.

— Ничего с ним, красавчиком, не делается. Выживет, молодой еще, — подбадривает пиротехников режиссер и снова мне: — Глубже дыши. Ты же, дубина, борешься со стихией. Склад того и гляди взорвется. Где у тебя страх? Да лейте на него. Держите ветродуй на актере. Дима, Дима, тебе должно быть трудно! Разве можно быть таким бездарным? Неужели ты собираешься стать актером? Ну, напрягись, дорогой, подыши поглубже, черт возьми. Да чтобы грудь ходила ходуном.

Лежа на мокрой крыше, я слал проклятия на голову десятой музы в лице режиссера-постановщика. Если бы я умел зарабатывать деньги другим путем! Но пока мне оставалось только терпеть. Но и терпению, как известно, есть конец. И, видимо, замечание Ивана Федоровича о моей бездарности эмоционально глубоко меня захватило, потому что законное чувство ненависти к моему мучителю, мгновенно обуяв меня, прокатилось конвульсиями

по всему телу и застыло корявой отвратительной маской из лица. И в тот момент режиссер крикнул:

— Молодец, красавчик! Глазами поблести, глазами. Хорошо. Держи так. Мотор. Хлопушка.

Под моим носом помреж дернулся со своим хлопаящим комбайном.

— Держись, красавчик,— порадовался режиссер.— Так! Пиротехники, взрыв! Прекрасно!.. Выключай софиты.

Я сполз со своей верхотуры, вытирая с лица куски сажи и отряхивая пепел с бровей.

Тут же на меня накинута гример в надежде убедить, что на моей шевелюре еще что-то осталось и ему не придется сооружать мне до конца съемок паричок, и помреж, в реестре хлопотливых обязанностей которого было и мое здоровье. Я долго вырывался у них из рук, но наконец, смазав вазелином закопченный кусок моей кожи, столь недавно называвшийся лицом «красавчика», и залив мне в пасть сто граммов водки, они удалились.

— Да непьющий я,— отбивался я от них.— Меня от водки воротит.

— Все пьют,— наставляли меня эти два старших товарища.— Одна сова не пьет, да и то потому, что днем она спит, а ночью магазины закрыты.

Обсушенный чьи-то радивыми руками, закутанный в казенный тулуп, пьяный и бессмысленный, я очутился в автобусе. Мы едем в Ялту, в гостиницу, оставив местного инвалида сторожить наш огромный съемочный объект.

В автобусе тепло. Сквозь дремоту, приоткрывая на ухабах разморенные веки, я вижу, как мимо окон проносятся ветви деревьев, ограды и дворцы санаториев, осколки моря в обрамлении пустынных пляжей. Мне уютно. Отходит в сторону досада на режиссерскую ругню и мою актерскую недогадливость. Ведь, наверное, не сладко, когда тебя не только обзывают бездарным, но и ты сам чувствуешь себя неспособным к актерскому делу. Все отодвигается в мареве физической усталости и выпитого вина. И тем не менее что-то меня беспокоит. С чувством тревоги я снова открываю глаза и встречаю любопытный назойливый взгляд.

Это Марина. Младшая дочка нашего крикливого режиссера.

Она прилетела в Ялту несколько дней назад. Ее все ждали, говорили о ней в съемочной группе. Я знал, что за Мариной посылали в Симферополь машину — старенькую «Победу». Я даже видел из окна гостиницы, как она приехала. Из машины вышла девушка моего возраста в розовом строгом костюмчике. Терпеливо и с достоинством переждала, когда шофер вынесет чемоданчик. Потом вышел из вестибюля ее отец. Подставил для поцелуя одну щеку, другую. И на меня от всего этого дохнуло правильным семейным воспитанием, режимом, завтраком, обедом и ужином в точно назначенное время, проводами в школу и родительскими встречами после уроков — всем тем сладко-домашним, чего я был с детства лишен.

Но вернемся в маленький автобус, спешащий к Ялте.

С этого взгляда, с нескольких слов, оброненных в тряске на ухабах, и началась наша дружба, вернее, маленький роман.

Марина впервые познакомила меня с домом, который можно было назвать интеллигентным. Сам уклад жизни в этом доме, интересы, разговоры, которые велись, — все это было для меня очень новым. Впервые именно здесь я понял значение для человека среды, внешних импульсов духовного раз-

вития. И в этом доме, где, кстати, хорошо и сытно кормили, я познакомился с книгами Ромена Роллана. С удивительным строем духовного начала у героев этого писателя. Понял истинность и необходимость тех борений души, которые до глубокой старости формируют и заново переформируют человека.

И серьезное, тяжелое чтение пришло ко мне в двухэтажном особнячке, который жил своей очень любопытной жизнью.

А до этого я жил в другом доме.

Рассказ о кавалерийской сабле

До особнячка я жил еще в двух домах. Вернее, по семейным рассказам, домов было больше и стояли они не только на московских улицах: как, наверное, любая семья в 30-е годы, моя семья тоже кочевала, и мне довелось побывать и в Хакасии, почти на границе с Монголией, и в Сибири, и где-то под Воронежем, на станции Морозовская. Но всего этого я не помню и знаю о нем лишь по рассказам. Но вот два московских дома, в которых мне пришлось пожить до «особнячка», я помню отчетливо. И каждый раз, бывая на улице Карла Маркса, идущей от Земляного вала к Разгуляю, либо в Померанцевом переулке, возле Кропоткинской, я всегда нахожу окна наших давних квартир, и каждый раз меня удивляет, что в этих квартирах сейчас другие люди, они живут-поживают, может быть, даже счастливы, дома стоят себе и поблескивают окнами, а людей, которые там жили, уже нет. Как нет моей мамы. Точно счастье, вспоминаю я, что после работы мне приходилось ехать к ней на Ленинские горы, делать ей компресс и готовить еду, а уже потом ехать домой. Меня всегда ужасало: лежит она, бедная, в своей квартире одна, целый день одна и, понимая мою занятость, даже боится мне лишний раз позвонить; если станет совсем плохо — перемоется. И так день за днем, разве что изредка среди дня зайдет старший брат...

От дома на улице Карла Маркса в памяти осталось радостное утро, прохладное и веселое, когда не надо было идти в детский сад. Окна были открыты. По радио, через круглую тарелку громкоговорителя, звучала музыка. Встав коленями на табуретку, я свесился через подоконник — по свежеполитой улице Карла Маркса шли люди с красными флагами и бумажными цветами, удивительно прекрасными, почти такими же нарядными, как глиняные и деревянные поделки, которые продавались на Крестьянском рынке — меня изредка брала туда с собой моя няня.

Шли люди веселые, в белых рубашках и в начищенных зубным порошком белых ботинках — это было Первое мая.

От дома на улице Карла Маркса сохранились и четкие воспоминания о дне 22 июня 1941 года. Да почему бы им и не остаться, ведь было мне тогда уже пять лет. Все запомнилось до деталей. Хороший солнечный день, трамвай, гудящий под окном, первые в моей жизни сшитые мамой длинные брюки. В тот день на обед варили необычный борщ, варили его с утра в большой зеленой эмалированной кастрюле. Когда мы сели за стол, начал свое вы-

ступление по радио Молотов. Вера, наша домработница, не слышала на кухне этого выступления. Она внесла зеленую кастрюлю, когда все мы слушали речь,— мать и отец ловили ее смысл, а я вслушивался в непривычные для радио того времени живые, неактерские интонации выступавшего человека. В этот момент отец сказал:

— Война!..

Тут Вера и выронила из рук зеленую кастрюлю.

Помню еще вид из другого окна нашей комнаты — квартира на улице Карла Маркса была хотя и кооперативная, но коммунальная, и моим родителям принадлежала лишь комната, в которой спали мы вчетвером, а Вера спала на раскладушке в ванной комнате,— так вот помню низенькие домики и много старых деревьев, отступающих к Гороховскому переулку, где сейчас Институт геодезии.

И вокзал помню, с которого мы с мамой уезжали в эвакуацию. Настроение у меня было прекрасное. Мама и моя Вера, люди, которых я любил, были со мною; правда, как помеха воспринималось присутствие моего старшего брата, а расставание с отцом меня не очень волновало. Я его тогда не любил, и меня всегда раздражали его ласки и его поцелуи.

Я помню кусок влажного перрона — шум и крики, и залитые слезами глаза взрослых. Чего они плачут, отчего? Этого я понять не мог.

Но вот отъезд в эвакуацию на родину матери в Рязань, в деревню Безводные Прудины — огромная веха моей жизни; все это особенностями памяти привязано уже к квартире в Померанцевом переулке — из деревни в конце 1942 года отец привез нас именно сюда.

К отцу я никогда не был привязан. Может, это объясняется тем, что он почти постоянно был в разъездах и я не успевал к нему привыкнуть. А может быть, я слишком рано, еще в детстве, почувствовал его фанфаронство, самомнение и шумливую активность, которые мне и позже претили в людях.

Не исключено, что неприязнь к отцу была связана и с моей любовью к матери, которую он, по моему мнению, обижал.

Самые лучшие мои воспоминания связаны с моей мамой. И уже в детстве меня охватывало чувство жалости, когда я глядел на ее прекрасное лицо. Будто я предвидел ее дальнейшую нелегкую судьбу.

Возможно, отношение к матери связано у меня с одним воспоминанием, поразившим детскую душу: мне тогда было годика четыре, и я впервые испытал сладость думания, сострадания и наслаждения тем, что я думаю.

Видимо, в то время я болел, был сбит режим, и поэтому я неожиданно проснулся среди ночи. Я открыл глаза и увидел тихую комнату, прикрытую газетой лампу на обеденном столе и гладко причесанную голову мамы, склонившуюся к книге. И тогда я внезапно сопоставил — наверное, впервые в жизни сопоставил — два поразивших меня представления: сейчас уже очень поздно — ночь! И второе: я-то сплю, мне тепло и уютно, а мама одна сидит и работает. И тогда мне стало жалко маму. Глядя на ее напряженно склонившуюся голову, вслушиваясь в тяжелую тишину ночного дома, я заплакал. Мама тут же подошла ко мне, начала меня целовать, успокаивать, спрашивать, что болит у меня, что беспокоит.

Но я не сказал ей, хотя мне и хотелось, что плачу из-за ее одиночества; я понял: этого делать нельзя, мне надо напрячься и не говорить маме, как

мне жалко ее, я понял, что необходимо сделать усилие и промолчать.

И я промолчал. И тут же я почувствовал сладость от этого впервые сделанного нравственного усилия.

В отце — в тех случаях, когда он появлялся в доме и нарушал нашу с мамой тихую и спокойную жизнь,— меня корбило все. Его страсть ходить по дому в одних трусах, легкомыслие в разговорах. Я не мог привыкнуть к отцу, сторонился его. И я ему, видимо, тоже был чужим. Отец больше любил старшего брата Анатолия. Я помню одно высказывание отца, которое шокировало меня еще и тогда, до войны: «Детей мне не жалко, мы с мамкой новых наживем, а вот если она умрет...» Это должно было внушать моей матери мысль о безоговорочной и вечной любви моего отца к ней. Наверное, и маму, которая отца очень любила, это высказывание не умиляло, мне же оно казалось очень неуместным.

Еще в детстве я всегда удивлялся, как взрослые умные люди всерьез принимают отца. Мне казалось, что вся его натура очевидна, лежит на поверхности, однако отец как-то очень успешно служил и пробивался по должностям. Правда, с какой-то фатальной неизбежностью очередное отцовское начинание после двух-трех лет взлета оканчивалось снятием с работы, переводом либо иной административной неприятностью. Раньше я думал: отца опять «раскусили»; теперь понимаю: он «срывался». Ему надоедало тащить служебную лямку, и дело, брошенное на самотек, так же, как неаккуратно кинутое при разгрузке бревно, другим концом било по грузчику.

Отец, как мне кажется, не был приспособлен к методической и повседневной работе. Он оставался человеком блеска, порыва, оаций. Шурануть отстающий участок, вдохновить, подтолкнуть, снять стружку — вот его стихия, но не кропотливый и скучный ежедневный труд.

Во всех его жизненных начинаниях был скорее импульс, нежели расчет.

Помню, как внезапно приехал он к нам в деревню, в эвакуацию, на полutorке из Москвы. То не спал писем, не мог помочь продуктами либо одеждой, хотя, наверное, сумел бы это сделать, а тут, как снег на голову, прилетел на военной машине, проскрипел офицерскими ремнями, проблестел светлыми пуговицами, выпил с председателем литр водки и, егребя всех нас в кузов полutorки, повез в Москву без обязательного в то время пропуска — повез, потому что по своему легкомыслию и нахрапу одновременно не провел через канцелярию нужных бумаг, а когда время было уже уезжать, оказалось некогда. В те времена отец служил в военной прокуратуре.

Из Рязани мы вернулись в Москву не на старую квартиру; в мою жизнь вошел новый дом в Померанцевом переулке и новый двор. Был конец 1942 года.

Я не могу сказать, что почувствовал войну. Голод, неухоженность, рваная одежда — все это для меня приметы 1945 и последующих годов. Взрослые — и в первую очередь матери — делали все, чтобы оградить меня и моих сверстников от лишней трудностей военного времени. Я вспоминаю и мену вещей на продукты в эвакуации и распродажу последних маминых платьев уже в Москве. Эпиграфом к одному моему рассказу я поставил фразу, помнив ее «Из письма»: «...Мне часто говорят: ты из поколения, которое война обошла стороной. Но я вспоминаю военную голодовку и ловлю себя на

том, что в гостях стесняюсь досыта есть». Фраза эта очень личная, истоки переживаний, родивших ее,—сорок пятый, сорок шестой, сорок седьмой годы.

Отец принадлежал к той породе людей, для которых война стала их жизненным ником. Именно в сорок первом году он, юриконсульт одного из московских наркоматов, стал сначала военным юристом, а потом довольно крупным чином военной прокуратуры. Он был человеком честным, большой личной силы и храбрости. Но война, все этические допуски, порожденные ею (впервые у отца в жизни оказалось привилегированное положение), все это окончательно развило в нем хвастливость, шапкозакидательство, беззаботную вседозволенность. В октябре 1941-го — а это самые критические для Москвы дни войны, когда со своих «нп» немцы видели московские силуэты, — вместе с прокуратурой, вооруженные пистолетами военные юристы стояли у московских застав, готовые на самом последнем рубеже поменять свою жизнь на победу или на месть. И отец был с ними. Как говорили его товарищи, он был очень храбрым человеком. Но, испытывая свое мужество, доказав себе и окружающим, что за Родину он смог бы отдать жизнь, отец решил, что он безнаказан, решил, что и Родина ему что-то должна.

Наш образ жизни в новой квартире после эвакуации совсем не напоминал довоенное жилье. Вместо одной комнаты у нас была квартира, начали появляться гости. Видимо, стала чуть лучше одеваться мама, а на отца был — по самой изысканной военной моде — полковничий китель, сшитый вдобавок ко всему у лучшего московского портного.

В то время жилье не строили. Но существовали жители разбомбленных домов, возвращающиеся из эвакуации. Отец, в порядке надзора, был занят разбором сложных конфликтных дел эвакуированных. Многие из них в силу разных инструкций теряли право на жительство, другие приезжали к уже занятым квартирам. Среди этих людей были известные писатели, ученые, артисты. Надо сказать, что отец действительно, как и все в войну, работал день и ночь, со всем напряжением сил. И люди, которым он помогал, в силу естественной отзывчивости человека к доброте и вниманию старались его отблагодарить. Рассказывали, как отец разыскал и взял под стражу одного прыткого просителя, «забывшего» у него в кабинете саквояж, набитый пачками стиральных порошков. Пытались дарить ему и картины Айвазовского, хрусталь, предлагали старинную — тогда она, правда, не была в моде — мебель.

Ему было приятно, когда его доброхоты дарили маме цветы или хорошую книгу. Он мог еще сходить в гости, откликнуться на призыв хорошего ужина. У отца создавалось ощущение, что это делается исключительно из-за его личных достоинств. За столом он стал позволять себе говорить чуть громче и больше, чем полагалось. Но что он мог наболтать, он, человек, в четырнадцать лет ставший красноармейцем, а в двадцать два прокурором на Дальнем Востоке? Что мог позволить себе лишнего собственноручно расстрелявший какого-то родственника, примкнувшего к контрреволюционному мятежу?

Отца арестовали за самоуправство и нарушение соцзакононости, которое он допустил еще в середине лета в сорок первом, вывозя сейфы военной прокуратуры откуда-то из-под Вязьмы. Без свидетелей, в кузове грузовой машины он расстрелял своего помощника. Об этом он сам составил ра-

порт. Но после того, как в сорок третьем он чуть не застрелил предприимчивого просителя жилищно-коммунального хозяйства, выложившего перед изумленным прокурором золотой портсигар, этот рапорт снова всплыл. И только в пятьдесят втором — пятьдесят третьем году, когда оказались разобранными некоторые архивы фашистской разведки, стало документально ясно, что в кузове автомашины, едущей по лесной дороге, отца могли вербовать и действовал он в экстремальных условиях.

Однако к этому времени к его проступкам пристроились и другие прегрешения. И вот я до сих пор люто ненавижу в людях хвастливость, переоценку своего личного значения, горлопанство, стремление прославиться сомнительным анекдотом.

Как я уже сказал, отец мог и не отказаться от небольшого подарка, не несущего материального, денежного обеспечения. Один раз — я помню это еще по его рассказу — друг моего отца притащил в прокуратуру кавалерийскую шапку, изъятую при обыске у какого-то бандита. Отцу она очень понравилась. Он стал проводить ногтем по лезвию шапки, цокать языком, примериваться к рукоятке. И тогда его друг, не очень-то согласуя свой поступок с существующими правилами, воскликнул: «Да возьми ты ее, Василий, себе, повесишь дома на ковре над тахтой».

Домашний образ жизни с этим приобретением, к большой радости старшего брата. Над тахтой шапку мать повесила категорически запретила: дети достанут, обрежутся. По этой же причине не прошла и другая легкомысленная идея отца. В то время по Москве ходили разные слухи о цыганах, которые сначала стучатся в дверь, вызывая, кто дома, а потом могут и очистить квартиру, о водопроводчиках с агрессивнo-садистскими комплексами, да вообще другие беспокойные слухи по стереотипу: «Она открывает дверь, а он ее топором (напильником, трубой, велосипедной цепью и т. д.)». И вот, видимо, базируясь на этих слухах, отец предложил фантастическую идею: «А если нам, Ниночка, повесить саблю на гвоздик в прихожей? К тебе кто-нибудь стучит, а ты снимаешь саблю и плашмя по голове». «Глупости все это, Василий», — сказала мать.

На этом история кавалерийской шапки и заканчивается. Она долго пылилась где-то, спрятанная от детского взгляда за буфетом, а потом ее нашли во время обыска у нас дома. Уже когда обыск закончился, часов в одиннадцать дня я высунулся вместе с братом из окна на кухню и увидел: два усталых следователя не торопясь идут к ожидающей их машине. И из набитого портфеля одного из них, прихваченная сверху кожаным клапаном, торчит кавалерийская шапка.

...В ту ночь я просыпался дважды. Первый раз ко мне нагнулась мать, осторожно, вместе с одеялом подняла меня и тут же передала в чужие руки. Я открыл глаза — горел верхний свет. Чужой человек с добрым лицом, одетый в такую же габардиновую гимнастерку, что и у моего отца, ласково улыбнулся мне и, умело согнув руку в локте, чтобы у меня не провисала голова, осторожно прижал меня, спящего, к груди. Сквозь несхлынувший сон я услышал, как другой человек перетряхнул простыни на диванчике, где я спал, потом открыл крышку и покопался внутри, среди зимних вещей, пересыпанных махоркой и нафталином. Потом я услышал, как мама, не стесняясь, несмотря на ночь, своих каблуков, прошла через комнату и принялась будить старшего брата. Тот долго капризничал, и в это время человек, копавшийся в мо-

ем диване, видимо, закончил свою работу. Послышался его низкий спокойный голос: «Ничего нет, ложись».

Человек в габардиновой гимнастерке, который держал меня на руках, сказал: «Поправь подушку». И только после этого тихонько положил меня на еще не остывшие простыни и аккуратно подоткнул одеяло, чтобы не дуло.

Второй раз я проснулся, видимо, уже под утро, когда в нашей с братом дальней комнате обыск уже закончился. Было темно, лишь узкая полоса света от приоткрытой двери лучом прорезала паркет. Я захотел кого-нибудь позвать, но тут увидел, что брат не спит. Он стоял в одной коротенькой рубашечке на валике дивана и, прикинув к щели, образованной косяком и разворотом двери, упиаваясь, подглядывал.

Увидев, что я встаю с постели, брат тут же угрожал мне кулаком:

— Тихо. У нас обыск. Отца арестовали.

— Я хочу писать.

В то время я не знал, что такое «арест» и «обыск».

Брат отстранился от щелочки, в которую он подглядывал, и подошел ко мне.

— Давай, журчи,—сказал он шепотом и терпеливо держал посудинку, пока я заканчивал свои дела.— А теперь иди посмотри.

Я думал, что увижу что-нибудь интересное, но в щелочку было видно, что двое уже знакомых мне военных, склонившись над письменным столом, вынимали какие-то бумаги.

Я хорошо помню, что, кроме военных, в комнате находились еще двое: молодая дворничиха, одетая в телогрейку, и хромой истопник дядя Володя — по-нятые.

— А почему они здесь? — спросил я у брата.

— Так надо.

— А можно я пойду к маме?

— Иди спать.

— А ты меня разбудишь, если будет что-нибудь интересное?

— Разбужу.

Эта ночь сейчас встает в моей памяти, как путешествие с частыми остановками. Помню, как в комнате еще раз зажигали свет и, совсем смутно, как заходил прощаться с нами отец. Брат заплакал и повис у него на шее.

Когда потом отец потянулся ко мне, мне стало неприятно от небритой щетины и несвежего запаха перегара.

Еще помню утро. Обыск заканчивался, отца уже увезли, на кухне мать сидит за столом и переводит следователям американский журнал с фотографиями нью-йоркских небоскребов. Этот журнал валялся в доме уже давно, и все картинки я знал наизусть, но еще в детстве меня всегда интересовало не только событие, но и его смысл, детали, последовательность и причинность действия. Я подошел к столу и стал слушать перевод мамы.

Уже через несколько десятков лет, вспоминая эту сцену, молодых следователей после бессонной ночи, попросивших чуть-чуть пояснить им увиденное, я поражаюсь выдержке и мужеству мамы. Сколько же надо было иметь силы и воли, чтобы так внешне спокойно себя держать. И у нее это всю жизнь: никаких поблажек ни себе, ни окружающим. «Дима,—сказала она, увидев меня,—иди сначала вымой лицо и почисти зубы».

Тогда я, конечно, не мог предположить, что когда-нибудь увижу небоскребы, о которых мама читала двум следователям в марте 1943 года.

Неожиданные соседи и базары

Думая о военных и послевоенных годах, я лишь умозрительно вспоминаю голодовку, трудности. Видимо, мама столько тяжести приняла на себя, что мы, маленькие, чувствовали это лишь «второй волной». Господи, сколько же она и кем только не работала тогда! Но самое главное — с этого, собственно, все и началось — освоила рынок...

В детстве, как, впрочем, и сейчас, я люблю рынок, базар. Из самых последних фактов — это мой разговор с соседом по даче Валентином. Он-то мне и рассказал, что недалеко от нашего дачного кооператива, под Малым Ярославцем, каждое воскресенье в 5 часов утра собирается толкучка. «Огромная толкучка,—говорил Валентин.—И чего там только нет! Одежда, стройматериалы, детали к автомашинам, пластинки, радиоприемники, фотоаппараты, старая обувь, золотые вещи. Я думаю,—делился Валентин своими выводами,—все, что за неделю украдено у честных граждан в Москве, сбывается по дешевке здесь».

— Поедем в ближайшее воскресенье, Валентин. Поедем! — приставал я.

Зачем я это делал? Мне ничего не нужно было на этой барахолке. Я долго докапывался до причин своего страстного желания испортить себе воскресный день. Подняться в четыре, на цыпочках идти в гараж, заводить машину, мчаться по шоссе, покрытому густым туманом. А причина лежала на поверхности: воспоминания детства, желание еще раз окунуться в них.

Я помню почти все места в Москве, где продавался с рук хлеб. У Кропоткинских ворот, возле булочной на Плющихе, у Никитских ворот, на углу Бронной улицы, как раз напротив афиши нынешнего театра на Бронной.

На рынках и базарах — в места продажи или меня хлеба я обычно сопровождал маму в качестве защитника и моральной опоры — для меня существовало огромное количество вещей, возбуждавших любопытство и зависть. Например, продавали с рук конверты. После привычных треугольников это было удивительным. Продавались какие-то невиданные длинные платья из цветной блестящей ткани с шелковыми хризантемами на плече. Или золотые туфельки на хрустальных каблучках. И я поражался, что эти удивительные вещи не вызывали ни у кого никакого восторга или интереса. Там же, например, продавали из стеклянной банки поштучно конфеты-подушечки, самое вкусное и ароматное лакомство, которое я когда-либо ел.

Особенно врезался в мою память базар в Калуге — там у нас жили родственники: тетя Нюра — сестра мамы — с дочерьми и бабушка, переехавшая к ним из Владивостока. На этом базаре мы с мамой продавали патефон. Бабушка ассистировала, чтобы «мотовка Нина» — моя мать — не «профукала» вещь за бесценок. Продажа шла туго, потому что уже стали появляться «импортные» вещи из посылок с фронта, и дело в конце концов закончилось не совсем выгодным натуральным обменом с кем-то из колхозников. Но один момент заслуживает внимания. Пока бабушка отлучалась, изучая конъюнктуру в рядах и развалах, мама купила мне стакан варенца с коричневой пенкой. Разве сейчас есть такой варенец! Я очень переволновался из-за сложной ситуации, в которую попал: с одной стороны,

следовало съесть варенец быстро, пока из инспекционного похода не вернулась бабушка, с другой — потянуть редкостное по своей эмоциональной силе удовольствие.

Мы возвращались с мамой домой в Москву нагруженные подсолнечным маслом, яйцами, антоновскими яблоками из сада моей тетки, помидорами и морковкой.

Дома, в Померанцевом переулке, все было по-старому, то есть как и когда мы уехали. В кухне стояли два стола — наш и новых соседей. И сразу же по приезде мама поставила на соседский стол тарелку с самым крупным яблоком, огромным помидором, восхитительной головкой лука и одной, самой ровной и крупной, морковкой. То же самое молча делали и соседи, если им чем-нибудь удавалось разжиться. С соседями мама только здоровалась, разговоров никаких не было. С соседями мы судились.

Мама была ответчиком, соседи — истцами.

Отсутствие отца и сам унижительный для меня характер этого отсутствия я ощутил лишь два раза в жизни.

В тот день, когда два молодых следователя покинули наш дом с портфелями, набитыми документами, прихватив с собой кавалерийскую шашку, вернее, в то утро, мама накормила меня и отправила гулять во двор.

Была ранняя весна, снежок. Я примкнул к моим сверстникам, копошащимся у котельной, как вдруг один из таких же, как я, пацанов, один из близнецов Егоровых задал мне вопрос:

— А где твой папа?

— Мой папа уехал в командировку, — ответил я так, как мне объяснила ночное происшествие мама. Не верить же мне болтовне старшего брата! — За папой пришли два дяди, и папа срочно уехал в командировку.

— Твоего папу посадили, посадили! — закричали оба сытенки, одетые в одинаковые коричневые детские пальто из распределителя близнецы Егоровы.

Я заплакал и пошел домой, не понимая, что же такое означает это «посадили», но догадываясь — это что-то ужасное, нехорошее и, конечно, унижительное.

Второй раз я почувствовал себя «подпорченным», владеющим каким-то тайным дурным качеством, когда вступал в комсомол.

Бюро собралось в небольшой комнате. Ребята все были значительно старше меня. Многих из них я знал. Меня характеризовали хорошо; наконец последовала традиционная просьба: расскажи биографию, и я ее рассказал. И тут кто-то лениво и небрежно, совсем не придавая своему вопросу того значения, которое мог придать ему я, спросил: «А где отец?» Я не знаю, что случилось раньше: брызнули ли у меня из глаз слезы или я ответил: «Отец сидит». Все кинулись ко мне. Кто-то сказал: «Парень ожидал, что у него спросят об отце, поэтому такая реакция».

Не знаю, слышал ли кто-нибудь из моих товарищей по комсомолу в то время известную формулу: «Сын за отца не отвечает».

Думаю, что нет. Им всем хватило своего понимания человечности, истины и честности: в тот день меня единогласно на комсомольском бюро приняли в комсомол.

В партию меня принимали через восемнадцать лет. В 1968 году, накануне моего отъезда в воевавший тогда, вернее, защищающийся Вьетнам. Но это другой рассказ.

Совершенно справедливо отмечено классиками, что счастье всегда на одно лицо, а вот образ несчастья в семьях так многоликий.

Как только исчез из моей детской жизни отец, сразу же на нас обрушились неприятности. И началось все с квартиры.

Квартиру в Померанцевом отец получил где-то в середине сорок второго года. Тогда вышел закон, смысл которого сводился к тому, чтобы более полно использовать небольшой жилой фонд, который имелся в стране. В законе говорилось приблизительно так: если ты не платишь за квартиру, в которой не живешь шесть месяцев, даже находясь в эвакуации, — подразумевалось, что за шесть месяцев людей могло и вовсе не быть в живых, человек мог погибнуть, умереть, — то квартира распределялась в обычном порядке. Бывший квартиросъемщик терял на нее право.

Мама, даже с ее мягким характером, потом в сердцах обвиняла отца: ведь сидел практически на контроле жилищной площади в Москве, мог бы точнее узнать всю историю квартиры, взять наконец для семьи квартиру какую-нибудь выморочную. А он по легкомыслию ничего не проверил, не узнал и перевез семью из своей — перед войной родители выстроили кооператив — в эту злополучную квартиру, у которой сразу же после ареста отца нашелся хозяин.

Наверное, легкомыслие — свойство и моего характера: оглядываясь сейчас на то, что пережила мама и моя семья, я понимаю невыносимость этих несчастий, вижу тупое упорство судьбы в охоте на мою маму, но тогда все как-то шло мимо меня, жить было сравнительно легко, детство торопливо катилось своей дорогой, и я не могу сказать, что меня его лишили, что перечеркнула его война, материальное неблагополучие, черствость людей. А может быть, сама мама сделала все, чтобы удары падали лишь на нее?

Квартирная тяжба началась в самом начале сентября сорок третьего года, и почувствовал я ее следующим образом: первого сентября утром я сам в первый раз пошел в первый класс.

Мама в то утро к девяти часам пошла в народный суд.

Осень прошла в новых впечатлениях: у меня — в школьных, у мамы — в судебных. Я уже догадался — происходит что-то с нашей квартирой, но мне это даже нравилось. Я всегда был за перемены. Наконец к концу осени у многочисленных инстанций вышло решение: нас из квартиры выселить — а квартира была большая, двухкомнатная, с роскошной по тем временам кухней и ванной комнатой — и предоставить равноценную. Но какой же жилотдел в Москве тех лет мог найти и сыскать равноценную квартиру, особенно семье, глава которой попал в такое своеобразное положение? Только благодаря энергии и воле мамы мы вообще остались в Москве. Я помню, как мои тетки писали матери, одна из Калуги, другая из Таганрога: «Нина, бросай эту мифическую московскую квартиру, из которой тебя гонят, и приезжай с детшками к нам». К зиме проблема для нас встала так: не равноценную, а хоть какую-нибудь площадь. Пока мама бегала по инстанциям и бывшим друзьям отца в надежде найти хоть какую-нибудь жилплощадь, положение осложнилось, и по решению суда истец въехал в квартиру ответчика.

Сегодняшнее поколение и отдаленно не представляет те условия, в которых жило, вернее, начинало жить наше.

Мне показалось даже интересным, когда мамы и

брат стали сдвигать мебель из двух комнат в одну. Проходная комната сразу стала таинственной и запутанной, как замок Синей Бороды. Наискосок, вроде перегородки, встали платяной шкаф (тогда чаще шкаф называли шифоньером) и буфет, между ними натянули бечевку, на которой повесили занавеску. У окна письменный стол — огромный старый канцелярский, двухтумбовый — отец привез его из прокуратуры, из списанного имущества. Между этим столом и этажеркой я тут же организовал себе уголок. На пол поставил настольную лампу, кнопками прикрепил репродукции из «Огонька», затащил из ванной низенькую скамеечку и чувствовал себя неизменно счастливым. Я не понимал, что трагичного в том, если с нами будут жить какие-то люди. У меня не было тайн, плохого настроения, собственных конфликтов с миром, и потом, куда ни помотришь, везде жили так: в каждой квартире в Москве, в каждом подвале.

Это только наш дом в Померанцевом переулке был чуть лучше остальных.

Мама и отец

История моей матери и отца, наверно, одна из самых поразительных любовных историй двадцатого века. Здесь было все: похищение из дома, несогласие родителей, плохие и, к сожалению, осуществившиеся предсказания! Здесь были материнская верность, отцовский разгул и ревность, его измены, и тем не менее страстная, до гроба любовь.

Когда два года назад мама умерла поздней ночью, то утром первым пришел проститься с покойной отец. Лицо у мамы было суровое. Губы крепко сжаты. Всю жизнь всех прощая, копя всю горечь в себе, тут, мертвая, она уже не в силах была ничего скрыть. Лежала со всеми примиренная, но ничего не забывшая. Когда отец увидел ее лицо, он зарыдал. Несколько часов он провел у ее тела, вглядываясь в ее лицо. Он успокаивался, потом вновь по его строгому лицу текли слезы, и вновь, склоняя голову на руки покойной, он начинал рыдать. Что вспоминал он? О чем думал? Какие припоминал обиды, которые нанес ей? Простила ли его мама?..

...После того, как мы стали жить в проходной комнате за занавеской и привыкли, что говорить надо тихо, шепотом, чтобы не беспокоить соседей и чтобы не посвящать их в свои дела, к этому времени от отца стали приходиться письма. Мама с жадностью их читала и перечитывала и никогда с письмами не расставалась. Иногда эти письма приходили каким-то таинственным путем и тогда становились откровеннее и подробнее. И мама, вздыхая, говорила: «Он там по крайней мере не голодает». Глядя на фотографии, которые иногда были вложены в эти письма, я невольно с матерью соглашался. На одной отец был в одних трусах, стоял на солнышке, и я удивлялся широте огромных плеч, обтянутых сильным не без жира мясом. Это была фотография борца из цирка!..

Другая фотография удивила меня еще больше. Отец, плечистый, с сильным волевым лицом, сидел за письменным столом, покрытым стеклом, а на краю стоял букет цветов. Отец был одет в военный китель, но без погон, и, если бы не эта деталь, фотография ничем бы не отличалась от тех, что хра-

нили у нас в альбоме. Цветы на этой фотографии своим штатским, неказарменным видом удивляли меня больше всего. В моем детском сознании они не монтировались с понятиями: «тюрьма», «зона», «лишение свободы». Удивило меня и то, что с общих работ его перевели и теперь он работает юристом. Потом на наш адрес пришла посылка из Грузии. Но сначала через нашу квартиру, через комнату с занавеской прошел грузин.

Теперь я не вспомню ни его имени, ни фамилии. Кажется, все-таки его звали Василий. Для точности я все же буду называть его Грузин.

Поздно вечером в квартире раздался робкий, осторожный звонок. По счастливой случайности дверь открыла мама. Она что-то шепотом, через цепочку, выпрашивала у ночного гостя. А потом щелкнул входной замок, и, откинув занавеску, в комнату вошел человек. Был он худ, плохо выбрит. Без вещей. Черная щетина обметала подбородок и щеки до самых глаз. По лицу мамы я сразу понял: радость и боязнь борются в ней. Мужчина, не раздеваясь, сел за стол и, покопавшись, откуда-то из-за пазухи достал запечатанное в самодельный конверт из серой бумаги письмо. Мама быстро разорвала конверт, и ее глаза лихорадочно забегали по строчкам. Она плакала и улыбалась одновременно.

Грузин снова покопался у себя в карманах и вынул четвёртинку с подсолнечным маслом: «Это он прислал вам и детям».

— Как он там? — спросила она, складывая лист бумаги. И, нагнувшись к нам с братом, шепотом же сказала: — Это оттуда, товарищ папы.

Мама быстро уложила нас с братом спать на диване. Толя, когда мы раздевались, ткнул меня кулаком в бок — ложись к стенке. Я было заверещал. Тогда Толя мне шепотом сказал: «Мне надо послушать».

— А ты мне расскажешь?

— Расскажу, если не будешь хныкать.

Несколько раз ночью я просыпался. На письменном столе чуть тлела лампочка, затененная поставленной стоя книгой, мама и Грузин сидели за обеденным столом перед стаканами с остывшим чаем, и Грузин, наклонившись к маме, что-то ей говорил. Потом я проснулся под утро, когда, сидя уже у письменного стола, Грузин со скрипом брил щетину, склонившись над зеркальцем маминной пудреницы. Сквозь сон я видел, как совсем утром — сквозь окна проступал мутноватый рассвет — Грузин, одетый в парадную, без погон, шинель отца — я хорошо помню, что как раз в этот день мама хотела везти ее на Перовский рынок, где в то время собиралась самая большая в Москве барахолка, — прощалась с мамой. На плечах у мамы был темный пуховый платок. Они стояли у самой занавески, и мама говорила ему, как дойти до метро. Я толкнул брата. Он заворочался во сне. Потом во входных дверях чуть слышно прошестел язычок замка. Вошла мама. Выдернула штепсель из розетки, разделась и легла к нам на диван. Засыпая, я обнял ее и поцеловал в плечо.

Через месяц мы получили посылку из Грузии.

Мама принесла с почты обычную, даже без объявленной ценности, посылку, срезала ножницами веревочки сургучные печати, брат вооружился отверткой. Наконец крышка слетела, мы сняли несколько слоев газеты и вдруг увидели...

Деньги тогда ничего не стоили. Поэтому зрелище посылочного ящика с уложенными в нем столками кусками пахучего деревянного сала нас потрясло больше, чем если бы этот ящик был набит пачками красных тридцаток и серых сотенных билетов.

От изумления никто не смог вымолвить ни слова. Первой пришла в себя мама. Она по очереди посмотрела нам обоим в глаза, приложила палец к губам и начала говорить что-то о школе, об артели вязальщиц-надомниц, в которой работала в то время, о том, чья сегодня очередь помогать ей мыть посуду.

В это время отношения с соседями — вернее, деловая, официальная линия этих отношений — были напряжены; оставаясь истцами, они никак не могли выселить ответчицу из квартиры, потому что той некуда было вселяться и потому что ответчица, пробегав две-три недели по приемным и кабинетам, каждый раз приносила новую отсрочку, — итак, отношения были натянуты, и предосторожность не мешала. Откуда посылка? Что за посылка? В битве за квартиру даже наши интеллигентные соседи могли применить какие-нибудь экстремальные меры, хотя, честно сказать, им это было несвойственно. Люди были порядочные. Но квартирный вопрос, по меткому замечанию Михаила Булгакова, испортил человечество.

(Забегая вперед, должен сказать, что этой еды могло бы хватить надолго, но буквально через несколько дней брат заболел менингитом, мы уже жили у двоюродной тетки мамы, и все запасы рухнули на врачебных светилах, сиделках, американские, купленные на черном рынке, медикаменты. Когда дело касалось ее детей, мама, скромный и тихий человек, превращалась в тигрицу.)

Через пять минут после вскрытия фанерной сокровищницы Анатолий был брошен сменять у ближайшей булочной кусочек сала на буханку хлеба. Он изловчился и наменял каких-то пирожков. В то время у булочных и на рынках иногда продавали и аппетитные с виду пирожки с ливером или мясом с луком. Про пирожки эти рассказывали разные легенды... Но на этот раз все сомнения относительно начинки были опущены, мы дружно уплетали эти пирожки с огромными ломтями сала, и здесь, уловив паузу, мама негромко и внушительно нам сказала:

— Помните, дети, ваш отец честный и порядочный человек. Ничего плохого он сделать не мог.

Много позже я до конца узнал историю этого сала и этой посылки.

При всем моем всегдашнем раздражении против отца, человеком он был незаурядным. В нем было много порыва, энтузиазма, стихийной талантливости. В первые годы революции он, с его красивой фразой и темпераментом, был кумиром митингов и собраний. На митингах он легко требовал крайних мер, но ведь и свою жизнь он не щадил. По юношеской ли нераздумчивости? По твердому ли убеждению?

Как жаль, что нет у нас сейчас культуры семейных архивов! С каким наслаждением подержал бы я семейные документы. Но даже биографии дедов — по крайней мере одного, отцовского — остались лишь в семейных преданиях. Мой дед с отцовской стороны был человек богатый. Где-то в районе Пятигорска вроде бы он имел хлебные ссypки. Лабаз или ссыпки?

Сейчас, когда у всех у нас за плечами революционная и гражданская деятельность наших отцов, мы склонны преувеличивать их бывшие богатства, дабы мучительнее становился выбор, через который прошли наши родители. У отца тоже был такой выбор. Документально подтверждено, что пятнадцати лет он был сотрудником ЧК. Известно, что его портрет висит в местном краеведческом музее. Скандал в

доме, конфликт до топоров (отцовская родня — люди необузданные), отцовское проклятие, конфискация семейного имущества, в которой принимал участие сын, — это все из семейных преданий. Красная гвардия, руководящая работа по линии юстиции, руководящая хозяйственная работа, Московский университет — это документы. Огромные ценности прошли через руки моего отца при различных обысках и арестах, еще в период гражданской войны — честности он кристальной, беспроблемной, — и рассказывал отец об этом так живо и увлекательно, с такими деталями, что я в это верю, а вот пятнадцатилетний мальчишка, участвовавший в расстрелах врагов революции, — в этом я сомневался. Может быть, отсюда, из-за двух войн, в которых он участвовал и за которые у него есть награды, удивительная издерганность и нервозность отца?

Довольно глухи рассказы об университете. Почти нет имен профессуры, товарищей по учебе, отец не знает ни одного современного иностранного языка, почти не имеет представления об языке законов и самых знаменитых кодексов — латыни. В конце концов семья не дворянская с тремя поколениями культуры и образованности, а купеческая. В университете отец, видимо, больше митинговал, чем учился. Но, судя по всему, профессура, так незаметно прошедшая через короткую студенческую жизнь отца, тихими интеллигентными голосами крепко вбила в бесшабашную, не загроможденную строгим домашним воспитанием и гимназическими премудростями голову красногвардейца и кавалериста жесткие основы юридической науки. На девственных полях, на целине лучше всего родится пшеница. Знания пошли впрок. Это наложило на природное витийство, жизненный опыт, социальное чутье и бестрепетность в отношении врагов революции. Отец вырос в одного из самых известных цивилистов — специалистов по гражданским делам. Правда, читая его жалобы и заявления в официальные инстанции, я всегда раздражался на несколько ложной патетики, от излишних призывов к гуманности, человечности, от слишком громоздких ссылок и пространных психологических мотивировок, от неуловимого запаха старинного адвокательства и красноречия. Но здесь ничего не поделаешь, старая интеллигентная профессура, видимо, умела исподволь захватывать воображение своих студентов.

Позднее, когда я стал взрослым, меня удивило, как отец, вчерашний прокурор, несколько лет отбывший в лагерях бок о бок с уголовниками — а для них прокурор всегда враг, — сумел выжить.

В барак в первый же день, узнав, кто перед ними, несколько уроков с ножами пошли на отца. Тогда отец, бросившись им под ноги, сумел схватить одного за лодыжки, рванул, поднялся с пола и, раскрутив бандита, словно куля, бросил его на горящую печку. Незадачливый драчун оказался с перебитыми ребрами и сломанным основанием черепа. Сказалась-таки сытая купеческая кровь... Желающих тут же немедленно наказать прокурора больше не нашлось. Силу уважают везде. Отец две недели просидел в камере, но зачинщиков и коноводов драки не выдал. В барак он уже вернулся своим. И в знак вечного мира написал кассационную жалобу от имени одного из признанных «лидеров» барака. Через полгода «лидеру» скостили полсрока. После этого отец стал писать по одной жалобе в год. Сало в посылке и оказалось добровольным гонораром родителей бедолаги Грузина, одного из товарищей по несчастью моего отца.

И еще одно удивительное воспоминание. Поездка к отцу. Только энергия мамы смогла пробить все кордоны, трудности, собрать какие-то средства, по-

лучше одеть нас — «чтобы отец не переживал» — и отправить в дальний путь. Впрочем, путь был не совсем дальний: в небольшой старинный верхневолжский город, где в то время строили плотину и где, естественно, нужна была рабочая сила. Если бы не грустный повод нашего путешествия — ехали мы прекрасно. Сейчас бы сказали: по туристскому маршруту — пароходом по каналу и дальше по Волге.

Была ранняя весна. Зелень еще не поднялась стеною вдоль обеих сторон канала. Но поражали свинцовые просторы воды и огромные, как бы из другой жизни, величественные здания шлюзовых надстроек. Наверное, соблазнительно было бы описать верхнюю и нижнюю палубы нашего парохода. Промозглую сырость, баб, одетых в телогрейки и довоенные плюшовки, голодный блеск глаз. Однако боюсь, что если и гнездятся у меня в уголках памяти эти картины, то это уже воспоминания из кинофильмов. Но как же поразила церковная колокольня, стоящая посреди одного из плесов водохранилища. Как же удивительно было подумать, что там, в холодной воде, сомы бродят вдоль брошенных домов, всплывает плотва в оконные проемы, и щуки боязливо заходят под алтарные своды, блестящие сусальным золотом. Долго я глядел на шпиль колокольни с причаленным к ней бакеном. И какие-то очень новые для меня мысли возникли в моем детском сознании. Об огромности работ, которые может свершать человек, о том, что и стихия — долгие месяцы волной бившая в камень, — не разрушила плоды человеческого труда. И память и человеческое дело — очень крепкий материал.

Стоит сказать, что мы ехали не только нашей семьей. Ехал и Николай Константинович, Никстиныч.

Пожалуй, три черты я сразу же отметил в поведении Никстиныча. Внутреннее смущение от своей поездки — он ехал к сыну, у которого во время войны случилась какая-то история. Впрочем, история такова: он оказался отрезанным от своих, раненого его спрятали в какой-то подвал, там за ним ухаживала девушка, в которую он, несмотря на войну и тревоги, влюбился; потом фашисты вытащили его из подвала; к несчастью, Левушка — так звали сына Никстиныча — знал немецкий. Когда вернулись наши войска, он оказался под трибуналом, и в конце концов — вины вроде большой даже серьезный трибунал не нашел — он очутился в тех же печальных местах, где и мой отец. Никстиныч, видимо, очень стеснялся этого поступка сына, ему, старому интеллигенту, привыкшему всех в доме звать на «вы» — он так всю жизнь звал и мою маму, даже когда отношения стали у них близкими, — претил поступок сына, у него к этому поступку было свое, скрываемое, но жесткое отношение, однако что было делать, как отец он должен был до конца испытать свою чашу.

Меня также удивило обращение Никстиныча со мной. Впервые взрослый мужчина — это составило такой контраст с моим отцом, из всего детства я помню лишь один поход в зоопарк с отцом и покупку зсимио (как памятьливы и как отчетливо чулки дети, как точно они понимают искреннее отношение к ним и как злопамятны они на бездушный формализм) — впервые взрослый мужчина был внимателен к моей внутренней духовной работе и к моему мнению. Никстиныч — он мне казался тогда таким старым со своим большим носом, усеянным прожилками, и со старомодными, несколько смешными манерами и словами — замечательно рассказывал мне о местах, по которым мы проплывали, о природе, о своей профессии геодезиста, о книгах, которые я, естественно, не читал.

И поразительно было отношение Никстиныча к маме — тридцатилетней женщине с двумя детьми — в толчее старого парохода. Как же эти люди умудрялись сохранить чувство достоинства и благородства в любых условиях! Из галюна, находящегося на палубе, тянуло крепким запахом мочи. Мама сидела на мешке с барахлом, которое она взяла с собой в надежде поменять на продукты, брат пристроился рядом с нею, притулившись к ее плечу, матом бранились мужики, пищали грудные младенцы, вдоль обогревательной трубы висели мокрые детские пеленки. И в этой атмосфере Никстиныч, несмотря на свой немолодой возраст, сидел с прямой гвардейской спиной и немедленно срывался с места, если брат просил пить, и шел добывать кружку или чайник кипятку из титана, выгуливал меня по верхней палубе, если меня укачивало. И как он глядел на маму!

Новый дом

Я не понимал, чем же новое наше жилье хуже старого? По своей природе я всегда остро чувствую добро и быстро забываю плохое. Я уже и не помнил, как расставались мы с двухкомнатной квартирой. Но мне стало ясно, что наша новая — назовем условно — квартира, конечно, просторнее, светлее и даже удобнее, чем проходная комната и смирная жизнь за занавеской.

Меня просто очаровали дощатые, некрашенные и такие непривычные после паркета, пахнущие свежим деревом полы. И какой из окон открывался вид: огромный двор, залитый асфальтом! На другом конце асфальтового поля стоял маленький двухэтажный особнячок, окруженный палисадниками; справа от асфальтовой нивы высился многоэтажный гигант, из окон которого раздавались музыка, громкая речь и другие радиощумы. Между домами, большими и маленькими, стояли ворота. Но ведь были еще и разные закоулки, в которых стояли роскошные, слепленные из старого дерева и огрызков досок сараи — немалое подспорье в решении жилищной проблемы того времени. Забегая вперед, должен сказать, что в начале лета многие семьи, вернее, молодая их часть, с энтузиазмом переезжали в эти сараи, оборудуя их электричеством, радио, обставляя салфеточками, вязаными подзорами, покрывальцами, и наслаждались не коммунальным, а индивидуальным семейным счастьем.

Как меня интересовал прохладный и таинственный мир этих сараев! Помню, как выходила замуж наша молодая дворничиха Аля, старшая сестра моего друга Абдуллы. Дворовые легенды передавали удивительно романтизированные подробности знакомства жениха и невесты. Невеста, дворничиха Аля, будто бы разрядившись в пух и прах, оставив в служебном сарае орудия своего производства — совок и метлу, — вместе с подружкой поехала в Центральный парк на танцы. И вот на танцах, будто бы лицом к лицу, Аля встретила с татаринком Колькой. Только что демобилизовавшийся Колька взглянул в лицо Али, и обомлел, и не посмел приблизиться, а, придерживая дыхание, онемевший, неотступно ходил за двумя весело чирикающими татарскими девушками. Потом Колька так же молча проводил девиц до троллейбуса, испепеляюще глядя на Алю в городском транспорте, перепугал прекрасную дворничиху, когда, топая сапожками, перелезая вслед за нею двор, не отступил на лестни-

це, ведущей в подвал, ворвался в комнату, где жило огромное, многочадное татарское семейство, и уже в недрах оторопевшей от ночного визита семьи бросился в ноги поднявшемуся в одних кальсонах от сна отцу крутобровый Али.

Через неделю в подвале зарыдала зурна, забил бубен и запела гармошка: выдавали Алю замуж. Тогда невеста совсем не казалась мне такой уж молодой и прекрасной. Глядя на грубоватое лицо и тяжелые, привыкшие к мужской работе руки Али, я вообще думал: можно ли в нее влюбиться? Но в день свадьбы в красивом платье из довоенного еще крепдешина, в цветастом полушалке и с монистом на груди она казалась мне прекрасной, как райская птица. И праздник казался мне прекрасным. Сначала на асфальтовом пятке выплеснувшаяся из подвала свадьба поплясала и попела татарские песни, потом под военные песни танцевал весь дом, а затем молодые, тихо отрешившись от всех, не держась за руки, придерживаясь затененных углов, прокрались в свой сарай. Господи, как билось мое сердце, когда из кустов я увидел, как тихо за ними закрылась обитая жестью дверь. Что же там? Какие же божественные прикосновения творились за закрытой дверью? О чем шептались влюбленные? Какими прекрасными словами наградили молодожены темный сарай, сумевший подарить им тишину и одиночество в перепаханной коммуналками Москве...

Был еще длинный гараж на шесть или семь машин и между гаражом и сараями — чудесная свалка. По переулку, на который выходил фасадом наш новый дом, стоял еще один — небольшой, деревянный. Между этим домом и нашим шел деревянный забор, с которого однажды я очень неудачно прыгнул, играя в казаки-разбойники, на нашего участкового. А в деревянном доме жила тогда молодая женщина, которая отчаянно драла меня за юношеские проделки. Через тридцать лет мы встретились с нею в одном учреждении. Принимая у меня пальто, она каждый раз отчаянно хихикала:

— А ты помнишь, как я тебя жучила?

— После этого, тетя Груша, я и поумнел. Видишь, какой я теперь важный.

— Только почему ты всегда лазил на крышу и подглядывал за девочками?

— Тише, тетя Груша, не роняй авторитет руководства.

Со многими жителями нашего дома и двора позже меня сталкивала жизнь. Парень, с которым некогда я снимался в массовке на «Мосфильме», как-то принес мне для постановки пьесу. Честно говоря, парень этот был в те дальние времена выскочкой. Воспитанный в почти писательской среде — мама у него была сценаристкой, — он, по-моему, не кончал института, а, понадеявшись на свой домашний талант, рано пошел по пути человека свободной профессии: пока был молод и свеж, снимался в кино, потом начал пописывать, стругал репризы для цирка, скетчи для эстрады и самодеятельности. Когда мы встретились, он писал по заказу какого-то зарубежного издательства книгу с рецептами русской кухни. Моя месть выразилась лишь в том, что по телефону я не сказал, с кем он разговаривает, и встретил его в кабинете, полном всяких административных игрушек: диктофонов, селекторов, шумящих телетайпов. В кабинете приглушенно сопели два телевизора, установленные на разные программы.

В этом и выразилась моя мальчишеская месть. К чести гостя, должен отметить, он ни ухом ни рылом не повел, встретившись с такою административной роскошью, и пьеса у него была очень приличная.

Но вернемся к пейзажу из полукруглых окон.

Через неделю после того, как мы въехали в этот дом, на полукруглых окнах висели белые крахмальные занавесочки, и, ах, как хорошо, уютно и чисто было в нашей восемнадцатиметровой комнате, названной почему-то квартирой.

Вся разномасштабная мебель из прежней двухкомнатной квартиры перебазировалась сюда. И огромный обеденный стол на толстых квадратных ножках, и шифоньер, и панцирная кровать — мамина! — с белыми эмалированными шариками, и этажерка с книгами, и буфет с наборными из граненого стекла дверцами, и диван — все переехало сюда и уместилось в одной комнате, сделав ее родной и уютной.

Но и сам дом — он тоже поражал воображение.

Так уж повелось, что пока существовал проходной двор, почти все жители ходили от городского транспорта через него, а значит, через черный ход.

Меня сначала обрадовало множество дверей «квартир». Пишу в кавычках потому, что, как правило, «квартира» — это лишь одна или две комнаты без кухни и, конечно, без ванны, без туалета, в редких счастливых случаях с раковиной.

Было весело взбегать вверх по узкой лестнице. Лестница коротким маршем, правда, шла и в подвал, и там тоже был целый мир, потому что в подвале, строенном безо всяких ухищрений — посередине коридор, а справа и слева от него множество, как в душем павильоне, дверей, — потому что в подвале жило семей, наверно, больше, чем во всем доме. И все же моим миром были верхние этажи. Пока бежишь, сколько новой информации западает в цепкую юношескую душу: на первом этаже от Перлиных валит столб сизого чада — жарят на керосинках рыбу; у Сбруевых — три дочери, живущие вместе с пьяницей-отцом, — ругаются; у Панских лает собака. Уже на втором этаже, пробежав коротким аппендиксом к нашей квартире, встречаешь сухонькую Елену Павловну, в коричневой шляпке с блеклым цветком — идет на фабрику сдавать работу, расписные платки, она художница-надомница. На площадке узкой лесенки, которая ведет от большой площадки на втором этаже к двухкомнатным апартаментам Телекевичей, Раиса Михайловна жарит на постном масле мои любимые картофельные оладьи. Честно говоря, я и позже не едал яства вкуснее. «Здравствуйте, Дима, — во весь свой командирский голос кричит Раиса Михайловна, — хотите оладушек?» Но тут звонит телефон. Второй на весь дом. Один висит на стене в подвале, а второй у нас, на втором этаже. «Алло, алло, кого вам? Ах, Сильвию Карловну?» Я стучу в дверь, самой, видимо, лучшей и самой удобной квартиры в доме. Я никогда в ней не был. О расположении комнат и убранстве я могу судить лишь приблизительно, высчитав окна покоев Сильвии Карловны по фасаду и прикинув по той части вестибюля, отгороженного капитальной оштукатуренной стенкой, которую Сильвия Карловна оттягала году в сорок втором — сорок третьем, когда дом был почти пустой. У Сильвии Карловны единственный в доме балкон. Он расположен как раз над парадным входом, даже не балкон — лоджия с целой стеклянной стеной. За этой стеклянной стеной и расположена комната Сильвии Карловны и ее мужа, тоже тихого и деликатного человека. Они жили без детей. Муж уходил рано на работу и поздно возвращался в неизменном коричневом драповом пальто и с коричневым портфелем. Сильвия Карловна выходила к телефону, а муж никогда. И в моей



памяти только и осталась неприметная фигура с коричневым портфелем. Ни лица, ни имени я не помню. Как-то они исхитрились и за капитальной перегородкой устроили себе и прихожую, и небольшую кухню, и уборную, о которой я догадываюсь потому, что даже из-за капитальной перегородки — а телефон, запакетованный в ящик с английским замком, правда, редко запиравшийся, висел как раз на ней, — так вот из-за этой перегородки изредка доносилось иерихонское рычание спускового устройства. А потом, они никогда не посещали скромной клетушки, находившейся как раз возле нашей двери. Но что же было за дверью Сильвии Карловны? Каждый раз, подзывая ее к телефону, я видел лишь краешек чистенькой вылизанной кухни и аккуратно закрытую белую высокую двустороннюю дверь в комнату. Мне почему-то казалось, что там, за закрытой дверью, в комнате, утопающей в коврах, с тропическими растениями, выющимися вдоль стеклянной стены, в свободное от кухни и телефонных разговоров время Сильвия Карловна возлежит на тахте в роскошных, как Шах-Разада, шальварах, курит кальян и полной горстью ест восточные сладости.

...Я не успеваю взять оладушек и стучу в квартиру. Снова кусочек чистенькой кухни, белые прикрытые створки двери! А я уже бегу дальше, мелко замечая, что ближайшая к телефону дверь Анны Григорьевны чуть приотворилась — не шире, чем всунуть в щель ухо.

Со стороны подъезда, с переуллка, дом наш поража́л своим величием. Мраморные ступени через нишу, прикрытую раздвигающейся решеткой, вели в вестибюль.

Глядя на огромный, похожий на теннисный корт вестибюль, я, воспитанный в функциональной тесноте московских коммуналок, невольно поража́лся нерасчетливости владельцев: сколько же площади пропадает! Мысленно я уже прикидывал, что четыре комнаты, вернее, четыре апартаменты, выходявшие дверями на это щедрое пространство, по площади были меньше, наверное, огромного вестибюля.

В эти комнаты, даст бог, нам еще удастся заглянуть, а пока стоит полюбоваться на вестибюль.

Уже за мою жизнь в этом доме исчезла кованая раздвижная решетка, охраняющая вход в дверь снаружи. Кто-то отломал и, видимо, сдал в утильсырьё бронзовых грифонов, стороживших три ступеньки перед парадными просторами вестибюля. Высвобождая заклинившую втулку велосипеда, я собственноручно расколол мраморный подоконник на лестничной площадке. А сколько и чего только не было вырезано на широких — формата энциклопедии — перилах. Как же быстро человек освобождается от «нетленных» примет времени! Как же, в сущности, мало оседает этих примет по берегам быстротечной реки дней, месяцев и лет... Даже совсем близкие от нас эпохи уходят, оставляя лишь скудные черты. Было вчера, казалось бы, неколебимо, вечно, недвижно, а сегодня? Где оно сегодня? Лишь веселый бульдозер ровняет последние штрихи.

В конце вестибюля плавным изгибом на второй этаж, к нам, к Раисе Михайловне и Сильвии Карловне вливалась роскошная лестница. Ее портила только наша квартира, потому что совсем еще недавно дальний конец вестибюля, его полукруглый эркер простреливался на всю высоту здания. Военное время и здесь отыскало ресурсы: какой-то предприимчивый начальник расклинил тавровыми балками вестибюль, отделил его часть, сузил «воздух» над лестницей — так и образовалась висятая

квартира. Из трех окон вестибюля, длинных, по конфигурации похожих на церковные витражи, в квартиру попадали два, вернее, их закругленные верхние части.

В самом куполе, завершающем вестибюль, наша комната оказалась ломтем, вырезанным на пробу. Новая квартира сильно испортила парадную лестницу. Но и такой я ее преданно и сильно любил. Впрочем, так же, как и черную, с бетонными ступенями и железными прутьями доручней лестницу для прислуги!

Я очень любил изредка, входя в дом с переуллка, представлять, как же все было в доме раньше. Я входил в подъезд, чопорно, по-хозяйски стуча каблуками, проходил через вестибюль и, фантазируя, что на локте левой согнутой руки я несу треугольную шляпу с петушиным пером, не спеша поднимался по мраморным ступеням. В эти минуты сердце начинало биться, я ждал, что откроется одна из высоких дверей и выйдет... Но тут звонил телефон, и Раиса Михайловна, оторвавшись от керосинки, кричала мне со своей верхотуры:

— Дима, кого там требуют?

Но я чаще бегал по черной лестнице, заплеванной, грязной, похожей на каменную трубу. А эта лестница вела в голубятню Макара Девушкина и в тесные комнаты Мармеладовых. Тем более, что лет в двенадцать, наверное, раньше, чем кому бы то ни было из моих сверстников, мне повезло встретиться со страницами книг Достоевского. Но это другая история.

Граммoфонные пластинки

В ровное и беззаботное житье в новом доме иногда врывались события, навеки врезавшиеся в молодую память.

Постепенно мы с братом начали осваиваться в гуще старинных арбатских переулков, среди новых знакомых, наших сверстников.

Интересы брата витали где-то в серьезных сферах. Внезапно появилась у него накладка на руке; он скрывал от меня, что у него водятся денюжки, которые он тщательно складывал под матрац, ложась спать. Но только скроешь ли что-нибудь от молодого пытливого глаза? Хотя мои интересы были ближе — во дворе, в доме, на свалке, куда из радиодома выбрасывали увлекательнейшие металлические и деревянные разности.

По субботним дням и летом устраивались казачьи-разбойники. Многочисленные тонкости игры сводились в конечном счете к простенькому принципу: одни убегают — естественно, разбойники; казачьи преследуют. Разбойником, как всегда, быть легче и приятнее. Что за раздолье прятаться среди ящиков, в закоулках подвалов, перепрыгивать через заборы. Вот тут-то я и спрыгнул как-то раз на бравого усатого участкового Семенова. Одной правой рукой он снял меня со своего загривка, приподняв за шиворот, а левой, еще плохо двигающейся после фронта, выхватил у меня из-за пояса деревянный самопал, стреляющий спичечными головками, — какой же разбойник без нагана! — и, дав легкого пенделя, снова выпустил меня на маршрут. Кстати, года через три мы с ним встретились в седьмом классе школы рабочей молодежи. Расчувствовав-

шись после того, как я проверил ему изложение на экзаменах («Эх, Семенов, Семенов, пишешь ты, словно составляешь протокол. Это же Раймонда Дьен, сторонника мира. Она на рельсы легла, чтобы не пропустить поезд с военными грузами, а ты ее описываешь как нарушителя уличного движения!» «Но тройку, Дима, поставят!» «Тебе за старание даже четверку поставят», «Неохота учиться. Заставляют». Но Семенов, как я потом понял, врал. Он только входил во вкус учебы. В десятом классе он на выпускном экзамене решил за меня тригонометрическую задачу. А еще через десять, уже в солидном возрасте, защитил кандидатскую диссертацию. «Зачем тебе это, Семенов, у тебя пятеро детей»,— говорил я ему после защиты, наливая вино. «Для самоутверждения, Дима. Для красоты жизни. Очень ты меня с Раймондой Дьен разозлил»,— так вот, расчувствовавшись, Семенов сказал: «Спасибо, Дима. Твой самопол у меня до сих пор валяется в отделении в столе. Хочешь, верну?» Я ответил: «Спасибо, Семенов, сдай его лучше в музей детских игрушек. У меня уже другие интересы. Я уже не разбойник».

Проекция из моего времени: написано мне на роду всю жизнь ходить по одним и тем же маршрутам.

Значительно памятнее оказался случай с пластинками.

Огромный дом, стоящий против нашего особняка, был весь начинен разнообразными организациями, связанными с радио. Одно время здесь шла, видимо, и большая работа по звукозаписи на пластинки. Это и понятно, магнитофоны только появлялись, а вся звукозапись велась на разнообразные граммофонные диски. Пишу «разнообразные», потому что тот «случай» как раз был связан со стеклянными дисками. Это были действительно стеклянные диски, чуть политые с двух сторон специальным покрытием, на которое и велась звукозапись.

Видимо, сразу после войны импортные шеллачные материалы, из которых штамповали граммофонные пластинки, стали большим дефицитом. В преискусурате всех лавочек по покупке у населения утильсырья, а по Москве их тогда ютилось много, значился и бой грампластинок, стоил который тогда довольно изрядную сумму, рублей что-то пять. И поэтому все мы, дворовые пацаны, наряду с медными и латунными поделками, дырявыми медными котлами, текущими водопроводными кранами, латунными старомодными люстрами, которые в те времена нерасчетливо шли на помойки, а теперь в комиссионные магазины,— и поэтому все мы, дворовые пацаны, наряду с металлоломом старательно выглядывали на своих помойках и пластиночный бой. В этом отношении наша помойка была урожайная!

По осколочку пластинки мы создавали в своих потаенных уголках запасы, а потом тасили все это в ближайшую к нам, у Тишинского рынка, палатку по сбору утильсырья. Опытный и ласковый дядя Гриша, вечно мерзший в этой палатке, быстро сортировывал нашу добычу, для вида бросал на весы и потом молниеносно все сосчитывал на счетах. Мы получали по небольшой толике денег и, радостные, подхлестнутые этим стимулом, разбегались для новых поисков. Так создавались ребячьи запасы. Каждый на что-нибудь копил. На что-то копил и я. И вот по мере того, как усюпная сумма у каждого росла, приближаясь к заветной, поиски новых источников обогащения или интенсивность в разработке старых увеличивались. Мы просто

зыркали глазами по сторонам. И вот однажды была получена информация: за забором, ограждавшим нашу «штатскую» часть двора от служебной, за большим забором, подсвеченным фонарями и разукрашенным поверху колючей проволокой, хранится под навесом большой ящик с пластиночным боем.

Я никогда не забуду того жуткого вечера, когда мое испуганное и робкое сердце вынесло мне приговор на кражу. Чего я боялся? Скандала, поимки с криками, милиции? Стыда, пересудов по дому, слез мамы? В разъяренном сознании я уже прокрутил все: и крики во дворе, и яркий свет лампы в караулке, при свете которой татарин-охранник вызывает милицию, и себя, стриженного, с землистым цветом лица где-нибудь за колючей проволокой. И все-таки— может быть, все же это лишь жажда события, приключения?— я полез за этот проклятый забор.

До сих пор помню и наш темный осенний двор с мотающейся на столбе лампочкой, и стук своего разбойного сердца, и каждую мысль, проносившуюся тогда в моей преступной голове.

Несмотря на страх, я продумал все: еще днем присмотрел местечко моего «прорыва» к социалистической собственности—там, где к забору примыкали груды битого кирпича,—и вышел из дома около десяти, когда во дворе никого не было, надев старую куртку.

Свою добычу я каким-то образом умудрился пронести незамеченной к нам в комнату и ящик с пластиночным боем засунуть под кровать брата, стоящую возле двери.

Всю ночь я почти не спал. Мозг уже пережил все: страхи, позор и разоблачения. Что-то более властное, нежели раздумья о физических ущемлениях, тревожило меня. Душа была беспокойна.

Всегда—и окончив школу, и учась в университете, и уже работая,—я производил впечатление очень ухоженного домашнего ребенка. Всем казалось, что я вырос в семье, которая не знала лишений. В среде, где детей с пяти лет учат английскому языку и музыке. Но все это было совсем не так. С пяти лет, когда началась война и мы были эвакуированы в деревню, я был предоставлен самому себе. Мать никогда не имела времени, чтобы проверять наши домашние уроки, читать с нами книги, ходить в театр или на елки. Она неукосноительно следила только за тем, чтобы мы были чисто одеты, залатаны, чистили по утрам зубы. И все-таки мама находила время для одного—с детства внушила нам: дурно воровать, нельзя лгать, нечестно обижать младшего, у каждого человека должна быть совесть. Какая совесть? Что за совесть, в раннем детстве переживав я. И вот эта невидимая и таинственная совесть отплатила мне в темную осеннюю ночь.

Этой ночью я все решил, решил отнести эти проклятые пластинки обратно, понял, что я не создан, чтобы противостоять разрушительной работе пресловутой совести. Я дал себе слово не делать в жизни чего-нибудь подобного. Утром обнаружилось, что не только моя совесть против меня, но и судьба: пластинки оказались из стекла, то есть не имеющие в палатке утильсырья никакой цены.

И все же—во имя искренности—надо продолжить мой рассказ.

Через тридцать с лишним лет я испытал тот же страх, те же мучения и так же, как много лет назад, решил: не гоюсь я для разворотливой деятельности добытчика и стяжателя. Увы, мне шустрость «дельца» приносит, видно, лишь мучительнейшие угрызения совести и разочарование в себе.

Я даже не знаю, почему я взял дачный участок за сто километров от Москвы. Скорее всего сработала нелепая мечта: когда-нибудь я уйду с работы на «свободные хлеба», и вот тут мне потребуются моя «башня из слоновой кости», мое «монрепо», убежище, где я, отгороженный от суеты повседневности, еще, может быть, напишу главный труд — о, неосуществимая мечта! — удивительную «Песнь песней» моей жизни. Напишу такой труд, что все восхитятся, труд, который оправдает мою жизнь, оправдает аскетичность в юности, когда я во имя работы, сидения за столом лишал себя радости общения с друзьями, радости от просто «легкой», не обязательной для меня книги, лишал себя неповторимой и золотой юности.

Наш дачный поселок, где предстояло подняться моему «монрепо», рос как на дрожжах. Вставали рубленые избы, затейливые мансарды, появлялись роскошные заборы с боярскими воротами. И только мой участок зарастал бурьяном, и через него во время распутицы уже начали ездить на машинах соседи. У меня не было ничего. Ни досок для сарая, ни кирпича, чтобы поставить фундамент под финский домик, ни слуги, чтобы перегородить дорогу наглым автомобилям. И самое главное, я, казалось, мог бы все достать — договориться, попросить мне помочь друзей — и имел деньги (я как раз получил гонорар за книгу), чтобы за все с лихвой заплатить. Еще с вечера я внутренне планировал: позвонить туда, сделать то-то, но уже утром волна рабочих дел, конечно, более интересных для меня, нежели строительные, «подсебашные» проблемы, захлестывала меня, и я откладывал на завтра решение проблем личных. Бог с ними, завтра успею...

Но раздражение против своей неразворотливости у меня росло. Я размышлял: почему все так складывается у меня? Может быть, потому, что не было помощника? Жена твердо сказала, что заниматься строительными заботами не станет. Она человек урбанистского склада, и дача ей не нужна. Как же строят мои соседи? И в один прекрасный день я понял: мои сослуживцы два дня в неделю — в субботу и в воскресенье — вкалывали на своих участках, переворачивая горы земли и поднимая кверху стропила, но зато всю рабочую часть недели, четко отодвигая в сторону свою службу и заботы в учреждениях, с энтузиазмом сидели на телефонах, связываясь с лесоторговыми базами и кирпичными заводами, смыслились на полдня, заказывая машины и разбирая на вывоз бревенчатые дома, предназначенные к сносу. Я же в это время сидел за письменным столом, отвечая на телефонные звонки и подписывая бумаги. Не мог я отложить нужные дела ради собственных. Я понял, что надо оторваться от службы, взять два дня отпуска за свой счет и постараться завезти стройматериалы, а там уже найду шабашников, и дела у меня пойдут.

За эти два дня, объездив на машине пол Московской области, я сделал многое. Там сунешь в карман чужого пиджака завернутую в газету бутылку коньяка, в другом месте два часа прстоишь в очереди, в третьем ничего не получается, и, главное, не знаешь, как подойти к начальственному лицу. В эти критические для «собственника» моменты выход один: искать уже не самого большого начальника, а самого маленького. Вот этот самый маленький начальник — рабочий с пиломатериала — и сказал: «Ты здесь долго еще будешь мыкаться? Давай десять рублей задатка и подъезжай к одиннадцати ночи к забору, я тебе перекину твой штакетник».

К одиннадцати вечера я уже весь изнервничался. Как тать в ночи, на машине я подкрался к базе. В душе стоял стыдливый холодок. Я боялся попасться? Вряд ли. Ну, перекинут мне, согласно договоренности, перевязанные пакки штакетника. Я брошу все это в багажник и — ищи ветра в поле. Логика говорила: все здесь будет в полном порядке. По дороге я думал, что когда-нибудь напишу статью, как честный человек в силу обстоятельств стал почти жуликом. Как стыдно, думал я, что мне приходится ловчить, пользоваться всякими жуками, ставить под удар свою репутацию. На душе становилось все мерзостней. В темной ночной дороге, казалось, прятались наблюдающие за мной люди. В каждой проезжающей машине мне мерещился человек в форме. И повторяю: я прекрасно понимал, что все обойдется, никому нет дела до десятка пачек струганных палок, которые перебросят через забор. Ни одной душе. От базы до моей дачи всего тридцать минут езды по проселку. А уже на своем участке мне ничего не страшно: купил у соседа или сосед мне нарезал циркуляркой. И все же — какая грязь! Значит, кроме этого часа или двух, пока я буду крутиться со штакетником, я буду еще нервничать завтра и послезавтра? Думать и переживать целую неделю? Нет, это не по мне. И тут я вспомнил о своем детском воровстве. Жутком накале детских переживаний. Как все оказалось это похоже! Боже мой, ведь еще тридцать лет назад я сказал себе: никогда не прикаснусь к чужому. Еще попадет мое «дело о хищении» в руки комиссару Семенову... Ведь под суд не отдаст, но засрамит, выпишет мой пример — «мутация личности под воздействием частнособственных инстинктов» — в свою докторскую диссертацию! Никогда. К чертям собачьим этот штакетник, идею хозрасчетного накопления, долгой деловую дошлость. Да здравствует спокойная совесть!

Моя тайна

Даже в самые лучшие дни я никогда не чувствовал себя раскованным в компании сверстников. Будто надо мною висела порча, обвинение в легкомыслии. Как-то снисходительно, из дружбы принимались все мои объяснения: ушел из школы, не поступил в институт, снимается без образования в кино. Все это было очень зыбко, непривычно, не поддавалось знакомому стереотипу, не несло на себе социального ярлыка. Я понимал это и со своей стороны тоже был снисходителен к своим друзьям. Даже мои самые удачные стихи они принимали с одобрением, как десерт после обеда, но без внутренней веры в них и меня. Однако я знал, чего я хочу и чего добиваюсь, и, рискуя сожалеть о бессмысленно протраченной молодости и юности, исподволь делал свое дело.

Очень трудно было противиться искушениям удачи. Жизнь поворачивалась светлым крылом, появлялся маянший покой и сладостное благополучие, новые пути открывались, и казалось только — иди, вот шоссе, на котором твоя судьба расставила знаки дорожного движения и прикатала асфальт. Но во имя задуманного, во имя глубинного ощущения правоты и непоколебимой веры в путеводную приходилось говорить: нет, нет, нет. Победствуем, на ринге жизни будем подставлять свои плечи под удары. Вперед! «Чтоб не смутить риторикой потомка и современность выразить верней».

Самое сильное искушение было, когда я начал сниматься в кино. Что могло быть престижнее и значительнее, чем если бы соседи и друзья могли бы увидеть твою рожу на экране? В то время выходило лишь несколько фильмов в год, и появление хоть бы половины твоего плеча на экране свидетельствовало о приобщенности к какому-то высшему и очень красивому миру. А сама жизнь артиста в народном представлении тех лет? Лицо на весь фасад кинотеатра «Центральный», который прежде стоял на Пушкинской площади в Москве на месте, где ныне вход в метро. Оvation возле артистического подъезда, когда ты с нарочитой скромностью, стремясь быть якобы незамеченным, выходишь из театра. Иностранцы премьеры и гастроль. А это значит чужие, знакомые по Драйзеру и Бальзаку города — об этом только можно было мечтать! В своем воображении я знал все: как раскланяться, что сказать репортерам, как заискивать перед поклонниками и организовать себе цветы и славу, но я вовремя понял, что играть-то ни в кино, ни в театре я по-настоящему не могу и никогда бы не смог.

Когда кривая вывезла меня на один сезон в далекий провинциальный театр, я весьма убедительно поболтался на сцене, но это был ад, потому что приходилось математически высчитывать, когда надо подавать свою реплику, чтобы быть правдивым, думать, как повернуться, и вспоминать, как есть. Из этого пустого года я вынес огромное уважение к актерам как к представителям самой необъяснимой на земле профессии. Но лишь раз почувствовал, что такое их работа, которая всегда должна быть игрой.

В какой-то военной пьесе у меня был диалог с одним пожилым актером, играющим моего отца, и вот во время этого диалога я встретил его взгляд и в нем вдруг прочел, что он по роли хочет от меня, своего сына, не произнесенное вслух, и вдруг я, каким-то несвойственным мне, но пленительным своей новизной чувством понял, что сын, которого я представлял, должен был ответить отцу. И я ответил. И в глазах актера, которые оставались в то же время глазами моего отца, в мгновенном сужении зрачков я прочел одобрение. «Молодец, Дима, так и шпарь дальше». Мне стало легко. Моя утомительная кибернетика представления куда-то стинула, и я опять ответил актеру. И сам почувствовал себя одновременно и сыном его и лицедеем и оставался самим собой.

Публика не взорвалась аплодисментами. Такое поведение актера на сцене должно быть нормой. Но у меня это чувство легкости и игры никогда больше на сцене не появлялось, хотя считал я здорово, и еще много лет этого никто бы не заметил.

Однако судьба сталкивала меня с лицедейством и раньше.

Я оказался в массовке на «Мосфильме», когда только что окончил восемь классов. Случайно попало известие о «ничего неделании» на студии, когда толпу, одетую в лохмотья или в придворное платье, перегоняют из одного павильона в другой и за это каждой особи толпы к тому же платят. А тут еще подоспел паспорт. Два необходимых условия были соблюдены: имелось свободное время (я учился в школе рабочей молодежи) и был в наличии паспорт. На «Мосфильме» несколько побавились мои восторги по поводу блестящей жизни возле кухни грез, но прибавилось самоуважение — в то время доход для семьи это был немалый.

Труд в массовке — особая статья и, быть может, особая повесть, где будут и хорошие отношения с ассистентами актерского отдела и дружба с бригадирами массовок — среднее между капо и ветераном, за свою жизнь под юпитерами кинофабрик износивших не один атласный камзол и изведших не один килограмм шеллачного лака, которым обычно гримеры приклеивали усы и бороду. Массовка — это целый мир со своими примадоннами, склоками, хулиганами, сумасшедшими. Есть категория людей, которые здесь постоянно живут: престарелые актрисы, смазливые девочки, не поступившие в театральные училища, вертлявые парни, общающиеся к искусству, сумасшедшие старухи. Здесь надеются на чудо, на ослепительную, как у Золушки, карьеру. Какие бросаются здесь взоры, как тщательно подбираются туалеты, как продумываются небрежные челки и вьющиеся на висках пряди!

И, однако, в этом мире мне повезло. Я находился в самом расхожем для кино возрасте: юн и не занят постоянно школой.

Я кочевал из массовки в массовку, бессловесной тенью принимал разные позы, смеялся, аплодировал или негодовал по требованию режиссера. Помрежи как-то засунули меня даже в «окружение» — есть такой термин, означающий постоянный человеческий фон героев, — фильма «Аттестат зрелости», и с тех пор я знаю ребят, сделавшихся впоследствии известными, даже знаменитыми актерами. Моя фамилия стала появляться в титрах, и вот постепенно коварная мысль начала закрадываться в сознание: а может быть, это и есть мой путь? Может быть, стоит спроектировать его так: ГИТИС, театральное училище либо Институт кинематографии?

«Артистическая карьера» уже начала приносить маленькие дивиденды. Когда пришла повестка в армию, знающие друзья из массовки сказали: устраивайся в военный театр — получишь отсрочку. Я поболтался на «актерской бирже», стихийно, в межсезонье собирающейся в Москве, и меня «зафрахтовали» в театр, который давал отсрочку. Но уже осенью этого же года я поступил на заочное отделение в университет.

Год в театре был годом потерянным. Нечего в жизни хитрить. Еще раз я убедился в необходимости следовать призванию. Я пришел к директору театра крутобровому капитану Шустину и сказал, что подаю заявление об уходе.

— А я пишу письмо с отзывом твоей брони. Придется, дружок, послужить. Ты у нас в театре все молоденьких офицеров играл, суворовцев. А здесь придется поиграть в солдатики. Не хочешь солдатиком-то?

— Хочется. Служу Советскому Союзу.

— Ладно, валяй. Подпишу я тебе заявление.

Я отслужил в армии положенное.

Второй раз серьезное искушение изменить призванию возникло, когда я оканчивал университет.

Меня всегда и губило и спасало незнание правил игры. Поступая на филфак, я не представлял, как писать сочинение на приемных экзаменах. В скитаниях по киносьемкам я не очень баловал школу своим посещением. Но школьное сочинение, как и любой вид работы, требовал навыка. В этом смысле опыт у меня был один: на аттестат зрелости сочинение я списал. В университете это оказалось невозможным. И я написал первый в своей жизни рассказ. Только сама форма спасла меня от двойки; аспирантки, принимавшие экзамены, именно за содержание, пренебрегая количеством грамматических ошибок, поставили мне проходную тройку и

после совместными усилиями тянули меня по всем устным предметам.

Приблизительно такая же петрушка произошла у меня с дипломом. Я несколько обалдел от четырехмесячного отпуска, который мне дали на госэкзамены и дипломную работу, и так увлекся другими разнообразными и часто для меня более приятными делами, что пришел на кафедру за темой для дипломной работы, когда ничего путевого, легкого в списках уже не было. Разобравшись в этих гранитных глыбах, я выбрал западноевропейские заимствования в лексике десятилетнего архива князя А. Б. Куракина, чей звездный портрет кисти Боровиковского висит в Третьяковке.

Сгубили меня добросовестность и незнание правил... Вместо дипломной работы я сделал словарь заимствованных слов на 300 страницах и узнал, что это лишь блестящее приложение к моей дипломной работе, только за десять дней до защиты. Еще неделю я употребил на написание тридцати страниц самой работы и в результате получил рекомендацию ученого совета в аспирантуру. Единственный. На огромном, в 150 человек, потоке. Тут-то меня и замучили сомнения. Может быть, пуститься в науку? Разве плохо быть профессором? Большая зарплата. Огромная квартира в профессорском доме. Почтительные до приторности ученики. А главное, все это без нервов: сиди дома почитывай, пописывай, съезди в университет, почитал лекции нерадивым студентам. Можно ли отыскать лучшее?

А если нет, надо возвращаться в газету — в это время я уже работал корреспондентом, — опять бедня, дежурства допоздна, жалобы на каждую твою корреспонденцию и сто рублей в месяц, аспирантская-то стипендия больше. И, как надпись в самолете «Пристегните ремни», всплыло перед глазами: помни о призвании!

Друзьям не принесешь устное высказывание оппонента: «Эта дипломная работа может лечь в основу кандидатской диссертации». Все, что я успел, было случайным. Для них я не был человеком одной темы. Все не как у людей: школу вечером, университет заочно, в газете работаю — так, областной, пишу статьи — так, небольшие. О сладостный реванш у близких друзей! Пушкина из меня не получилась. А Эдька Перлин был уже кандидатом биологических наук и первоурядником по шахматам, Юрка Шлялев окончил военное училище и носил лейтенантские погоны, Гарик Опенченко работал синхронным переводчиком в ООН, Татьяна училась в Институте имени Гнесиных, и ей пророчили карьеру великой оперной певицы, ее брат Витька работал начальником радиостанции в Антарктиде. В Антарктиде! И обехал уже полмира! А я еще только собирался стать...

Я всегда знал, кем я хочу стать. Откуда взялось это желание? Было ли оно очень самонадеянным? Я и сам иногда пугался его определенности, но что делать, если с детства я хотел стать... писателем. И никем иным. Только.

Помню лет в семь, когда я поступил в школу, каким-то образом мне в руки попали десять рублей. Сумма небольшая по тем временам, кто-то подарил мне эти десять рублей, как «сиротке». Что должен был сделать с этими деньгами любой нормальный ребенок? Что угодно, только не то, что сделал я, ваш покорный слуга, читатель! Я купил каких-то два чахлых цветочка в горшочках. Придя домой (мы еще жили в двухкомнатной квартире и, значит, непрошенные жильцы еще не стали нашими соседями), мама увидела, что маленький

столик, мой детский, выдвинут в середину комнаты, а на нем стоят по краям два горшочка с цветами, чистый лист бумаги, карандаш и канцелярские скрепки. Я играл в писателя.

— Что ты тут делаешь, Дима? — спросила мама.

— Я играю.

Что означала моя «игра», я не признался бы ни за что в мире.

Мамина тайна

В октябре 1954 года неожиданно вернулся отец. Он приехал ночью. Утром я проснулся, а напротив меня на стуле сидел незнакомый мужчина. Я почти сразу догадался, что это отец, хотя последний раз видел его еще молодым. Только густые волосы остались отцовскими, но поседели. Лицо приобрело бурю окраску. Морщины закаменели, выделялись скулы. Надо ртом, между худыми щеками, треугольником опускался нос.

В зрачках у сидящего напротив меня мужчины что-то дрогнуло, как несработавшая шторка в фотоаппарате. И тут же мама сказала:

— Это твой отец, Дима.

Я уже был довольно взрослым и знал, как положено встречать отца, возвратившегося после многих лет отсутствия. Но в сердце у меня ничего не произошло. Это был чужой мне человек. Тем не менее я потянулся к нему и, когда он склонился над диваном, поцеловал его в чужую, пахнущую дешевым одеколоном щеку.

Отца определили жить не ближе 100 километров от Москвы. И хотя документы на право ношения прежних орденов и восстановление его в партии были посланы, ответа еще не было. Отец жил у нас как бы нелегально.

Это были тягостные для меня дни. Все время я старался проводить на «Мосфильме» и с нежеланием шел домой, где поселился непривычный для меня человек.

Никто из соседей, кроме Раисы Михайловны, о возвращении отца не знал. Но она была человеком верный. Она даже нажарила ему целую тарелку моих любимых картофельных оладий. Они пили с отцом чай на краешке стола, и Раиса Михайловна во время чаепития все расспрашивала отца:

— А профессора Мишу Лазовича вы не встречали?

— Нет, не встречал.

— Он когда-то ухаживал за мною в юности.

— Может быть, встречал, но забыл. Невысокого роста такой?

— Нет, Миша был высокого роста. А Константина Сониная, гомеопат?..

— Нет, Сонина не встречал...

— А Семена Керкина?

— Также не помню, — краснел отец, и мне казалось, что он переживал свою непамятливость и что ему не удалось встретиться с этими людьми.

Из комнаты отец никуда не выходил. Ему, наверное, было безумно стыдно жить вот так, на иждивении жены и детей, но он отогревался в обстановке семьи, от которой отвык. Ведь впереди у него лежала тяжелая физическая работа и ожидание бумаг о пересмотре дела.

В отношениях моих родителей что-то происходило, я долго не мог понять, что именно. Тайна, которую я узнал, меня огорошила. Как же мама так

долго могла все носить в себе, не проговориться и воспитывать в нас любовь, уважение и почитание по отношению к отцу?! Сама она его не уважала. Еще любила, наверное, но не уважала, а может быть, и презирала за предательство.

Дело оказалось вот в чем. В заключении, в свой лучший период, когда отец работал юрисконсультом, он познакомился и сблизился с одной женщиной, тоже заключенной. У женщины родился ребенок. Согласно правилам, этого ребенка должны были устроить в детский дом. И вот, оказывается, еще лет пять назад, в самое тяжелое для нашей семьи время, отец написал маме письмо и, зная ее великодушные, призывал ее взять на воспитание, пока не освобождена мать ребенка, его нового сына.

Я только отдаленно могу себе представить, какие муки перенесла в то время мама, получив это письмо. В те годы, когда она сохраняла ему верность, отец, как говорила мама, «искал себе удовольствия». Ее отчаянию не было предела. И все это она перенесла молча, ни с кем не делилась, и заставляла нас с братом еженедельно писать ему письма. (Всю эту историю я узнавал по частям много лет, и окончательное подтверждение нашел в переписке с отцом, которую она разрешила посмотреть мне перед самой своей смертью.)

Мама ответила моему отцу, что во имя спасения своих детей она не может принять ребенка чужой женщины, она ответила и что думает о его поступке. Она не могла простить измены, но не хотела, чтобы кто-нибудь мог подумать, будто этой изменой она воспользовалась как предлогом бросить отца. Она написала отцу, что разведется с ним в день его выхода на свободу.

Мы говорили с мамой об этом почти накануне ее смерти. Она рассказывала мне и то, о чем я уже забыл, а когда заговорила об отце, заплакала.

— Мама, почему ты плачешь?

— Я любила его всю жизнь.

— И когда разводилась с ним?

— И тогда...

— Но ты же вскоре вышла замуж за Николая Константиновича.

— Только он один мог довести твоего брата до института и сдечь из него человека. У меня перед Николаем Константиновичем был долг.

— Мамочка, но ведь и перед собой у тебя тоже были долги — быть хоть немножко счастливой. Она внезапно тяжело, сквозь боть, улыбнулась.

— Очень мы думаем о долге быть счастливыми... Это видно по тебе: что ты видишь, кроме своих бумаг?..

...Через месяц пребывания отца в Москве маму встретил на улице участковый Семенов и наемнул, что дней через пять собирается навестить нас — ему что-то стало известно.

Мама заторопилась провожать отца. Пришло несколько сослуживцев с его бывшей работы, другие нашли причину, чтобы не прийти. Мама продала какие-то вещи, брат прислал из Сибири, где он работал, перевод, мы отдали отцу мое новое пальто и проводили его поздно ночью на вокзал. Он уехал под Брянск, где районным прокурором работал его друг юности. На первое же письмо тот ответил ему: «Приезжай, устрою».

Я поцеловал отца на вокзале. Он прижал меня к себе, и я вдруг почувствовал, что он родной, близкий мне человек. Но я отогнал от себя это чувство: я знал, что никогда не забуду маминой обиды.

Каждый день, глядя из окна своего кабинета на маленький особнячок, я всегда думаю, скольким для меня памятным событиям он стал свидетелем. Сюда впервые пришла моя девушка и стала моей женой. Еще раньше здесь мы праздновали получение моего аттестата зрелости и диплома об окончании университета. А сколько других, может, более мелких, но не менее памятных случаев, эпизодов, моментов! Первую напечатанную мою статью я принес сюда, в эту маленькую комнату. Получив ордер на новую квартиру, здесь мы мечтали о замечательной новой жизни. В том особнячке я впервые надел костюм, сшитый для меня портным. И здесь же пережил первое страшное разочарование. И все же маленький особнячок с пестрой судьбой в первую очередь запомнился мне другим. Воспоминаниями об изнурительной, каторжной работе. Разве запомнил я только, как, лежа на диване, читал я эту свою первую статью? Нет! Я помню, и как я ее писал, сбивал варианты, помню физическую усталость от напряжения мысли. Я вообще помню, как все я писал. Могу запоминать сюжет, имена героев или персонажей, но где это написано и само мое состояние в этот момент не забудется никогда. Ведь мой старый дорогой дом, в котором я жил, забит этими воспоминаниями.

За свою жизнь я грузил вагоны, копал землю, красил заборы, стоял в карауле, бегал с автоматом по полю, снимался в кино, служил лесником, водил машину, служил библиотекарем, искусствоведам, репортером, помогал в партии геологам, был артистом, разносил телеграммы и газеты, но я не знаю труда изнурительнее, чем труд думать и писать. Не верьте представлению о легкой жизни под сводами, о писательстве как о процессе писания. Это процесс самоистязания и самоуничтожения. Соблюдение своего нравственного долга перед событиями, которым стал ты свидетелем, перед рано умершими друзьями, перед хорошим и плохим, что ты встретил в жизни.

Я всю жизнь, с детства знал, что буду писателем, но почему же так долго шел к этой цели? Почему так быстро обгоняли меня мои сверстники? Они так бойко выражали свой двадцатилетний мир. А меня он не интересовал. Я искал каких-то других, подземных жизненных поворотов и постоянно воспитывал себя, зная: кто же захочет читать необразованного и неинтересного человека.

В стареньком особнячке я никогда не читал книг про шпионов, дешевой фантастики, сентиментальных историй «про любовь». А приключения мысли, бесмертные истории ушедших веков — это тяжелая, но благородная работа. Твой труд окупается здесь чувством самоуважения, растущим — без пользования сносками — пониманием трудных авторов, той медленной работой ума, которая формирует душу. Писать, читать, думать. Это каторга, но сладкая каторга.

Глядя на особняк из окон моего кабинета, я думаю: мог бы я сейчас повторить этот труд? И отвечаю: нет, не мог. Это труд юности. Он не поддается ни в каком другом возрасте. И как хватило у меня терпения «ждать»? Что это было — расчеловечность или вера в свои силы? Как я смог пережить легкую иронию людей, немного посвященных в мои планы? Вот вышла, например, новая повесть в «Юности». Автору — двадцать лет, вот появилась

и еще новая юная звезда!.. А что ты в двадцать лет?

Может быть, в поисках близкого результата я и стал журналистом.

В 1959 году, весной, вместе с одним юным и веселым существом, получающим стипендию на факультете журналистики — то есть в положении с точки зрения реальных ценностей явно неравном: очаровательная студентка-отличница и парень-заочник, — мы вместе шли по весенней, неповторимой, как она бывает только весной, Москве.

Это была Москва новой эры. Впервые мы вошли в легендарный Кремль, в который раньше вход был только по пропускам, увидели соборы, о которых много читали, походили по брусчатке возле Ивана Великого. Каждый дотронулся пальцем до меди Царя-колокола. В бывшем Манеже, где долгое время был гараж, открылся Центральный выставочный зал. Гремели вечера в Политехническом. Уже стояли университет, гостиница «Украина», высотное здание на площади Восстания. Выросли Черемушки... Мы шли весенним маршрутом: Красная площадь, Александровский сад, Библиотека имени Ленина. Стояли длинные, теплые, весенние сумерки. Только что зажглись огни. И вот, когда мы проходили мимо Александровского сада — тогда было меньше машин и меньше шума, — из его таинственной благоухающей прохлады вдруг раздалось тугое прищелкивание и пробная, пристрелочная трель соловья.

Юное существо не зря получало повышенную стипендию.

— Боже мой, — воскликнуло юное существо, — из этого можно сделать информацию для «Московской правды», ведь из-за загрязнения воздуха — слова «окружающая среда» заявили себя лишь два десятилетия спустя, — из-за загрязнения воздуха, — трепетала очаровательная отличница факультета журналистики, — соловьи давно из Александровского сада улетели, а теперь, значит, вернулись. «Соловьи в центре Москвы» — так я назову эту информацию.

Я был потрясен тем, что, оказывается, столь просто решается святая святых газетного творчества. Не озарение, не шелест хитона музы, а лишь факт и его осмысление. А главное, это осмысление доступно, оказывается, и мне. На это не нужен специальный патент. Нужно только стремление. А музыка, если хорошо посидеть за столом, она, музыка, придет, прилетит. Куда ей деться...

— А разве можно прийти в газету и просто так принести заметку?

— Можно даже прийти и сказать: я бы хотел у вас внештатно поработать, не дадите ли вы мне тему?

Какое сладостное чувство зарабатывать деньги трудом, к которому ты готов и который ты любишь! Но сколько надо было испытать, чтобы так просто прийти в редакцию и сказать: «Я бы хотел что-нибудь для вас написать». Надо было отринуть стеснительность, робость, внутренне быть готовым к вопросу: «А кто вы, собственно, такой, чтобы писать для нас?»

У меня все обошлось более-менее гладко. На первый раз мне поручили объехать полтора десятка райкомов комсомола и выписать строки из заявлений ребят и девчат, отъезжавших на целину.

Но какое чувство радости видеть в газете восемь строк, даже без твоей подписи, но которые подготовил ты!

Газетная карусель закрутилась: первая информация, первая корреспонденция, первый очерк, первый материал, отмеченный как лучший на редакционной летучке, первая командировка, первый

перелет на самолете. Здесь все и всю жизнь впервые, но это при условии, если каждый раз ты ищешь единственный необходимый ракурс материала, если не используешь уже нажитых тобой приемов.

Журналистика не отпускает тебя ни на минуту. Ты чистишь картошку и думаешь, читаешь учебник и думаешь о своем герое, разговариваешь с друзьями и ищешь единственное, точное и неповторимое слово.

Моя бывшая комната полна этих бесконечных, до отчаяния, размышлений. Она полна бессонных ночей и вариантов статей.

Но труднее всего было думать: может быть, все это зря? Может быть, ты бесцельно тратишь золотые дни юности? Может быть, лучше становиться не зеркалом жизни, а самой жизнью?

А кругом все кипело. Я выписывал строки из заявлений ребят, отъезжающих на целину, а эти ребята ехали. И как было завидно глядеть на них! Их ждала настоящая жизнь: со свистом ветра, с усталостью после работы, с конкретными делами, которые они оставят после себя. Эти ребята уже завоевали себе право в старости, через много лет, сказать: я поднял это поле и посадил это дерево.

А потом пошли Братская ГЭС, Красноярская ГЭС и другие знаменитые и громкие стройки. В 1961-м взлетел Гагарин. Все мои сверстники занимались нормальными, земными и осязаемыми делами. Приносили реальную пользу. Они летали, перевозили грузы и пассажиров, строили. После них что-то оставалось, реальное и долговечное.

Густая и жгучая зависть к их труду — под просторами неба, среди вольных степей и в распадах гор. Зависть по мужской, тяжелой работе, зависть к их загару, упорной основательности. Ведь такой большой и разнообразный мир вокруг, а я сузил его листком бумаги. Столько всевозможных инструментов от лопаты до скальпеля и микроскопа существует в обиходе человечества, а ты пользуешься лишь одним — автоматической ручкой. И сейчас, до сих пор сама жизнь, густой ее замес, волнует меня больше, чем ярчайшие описания. Еще до сих пор в минуты слабости подкрадывается мысль: «Вот начался БАМ. Ведь в конце концов мне не восемьдесят лет. Брошу-ка все ко всем чертям. Хоть учетчиком, хоть шофером, но туда, в пылающее горнило жизни».

При взгляде на окна своей комнаты я вспоминаю и ту работу, которую я, как углекоп, прикованный цепью в шахте, делал, не ожидая никакой награды и славы. (Пробиться, напечататься — это лишь счастливый вариант завершения. Один из многих.)

В тесной комнате впервые увидел я лица вымышленных мною героев. Здесь они заговорили и сгрудились возле моего стола, требуя труда и жизни. Это была бескомпромиссная стража, полосовавшая меня и принуждавшая работать. Постепенно эта компания подчинила меня себе, отбирая воскресные дни, отпуск, часто время для сна. Я записывал их речи, и интерьеры, и пейзажи, в которых они хотели существовать, искал для них девушек, которых они хотели бы любить, и посылал их в давно задуманные путешествия. Папки с протоколами их жизней копились одна возле другой по книжным модельным полкам.

«Может быть!» — вот был мой девиз. Если я уж без этого не могу — написать. С печатанием — как повезет. В конце концов при недостатке свободного времени была только одна альтернатива: или писать, или бегать с рукописями по редакциям. Но

писать было интереснее. Я писал в стол. И все-таки однажды я предпринял смелую попытку: пять экземпляров своей первой повести разослал в адреса пяти журналов. «Москва» ответила хорошей, положительной рецензией и не напечатала. В «Новом мире» представление на редколлегиям сделал Ефим Дорош — и не напечатали; в «Знамени» рецензию написали кислую — и не напечатали; в «Звезде» — разгромную — и не напечатали; из провинциальной «Волги» пришло доброе письмо.

...Состоялось «может быть». Я не был тщеславным. После тридцати мне не доставляло радости видеть свои фотографии и имя на журнальных страницах. Но мне так хотелось дать жизнь своим героям! Придутся ли они по душе людям? Хотелось узнать, чего же я стою сам. Я готов был бы отдать свою первую повесть любому, безвозмездно, лишь бы увидеть ее напечатанной. Не тщеславие! Мне хотелось увидеть мою работу законченной до конца. Работу, и только.

Неожиданные удачи

Несмотря на скученность, в доме жили дружно, секретов друг от друга ни у кого не было. Если в кастрюле у кого-то варились курица, об этом становилось известно всем. Целым домом обряжали на свадьбу невест и провожали покойников. Оценки поступающих в вузы ребят становились известны всем. Во время вечеринок соседи занимали друг у друга стулья и посуду. Мама консультировала всех по юридическим вопросам. Елена Павловна для девочек была главным законодателем художественного вкуса. У Раисы Михайловны всегда можно было перехватить денюжку. Я чинил всему дому пробки. Аняка с нижнего этажа перелицовывала и ушивала брюки, куртки и рубашки. Дом жил общими интересами и радостями. И только иногда (сугубо на принципиальной основе) вспыхивали, как мировые войны, конфликты. Поводы их были почти всегда известны: поквартирно или «подушно» платить за свет, принадлежит ли телефон, стоящий на втором этаже, и жителям первого. И более локально: можно ли Эдкю Перлина впускать в туалет с книгой. Во время конфликтов дом делился на партии, на телефоне второго этажа вешался ящик с запором; в ответ на первом этаже на парадном подъезде врезался замок: пусть второй этаж ходит только через черный ход. Таинственная рука ночью выворачивала лампочку перед дверью многодетной Марии Туранюк, сторонницы поквартирной оплаты за электричество, тогда Мария подводила в коридор собственную проводку с выключателем в комнате, но ослепительная сорокасвечевая лампочка неизменно гасла, когда старая восторженная дева Елена Павловна наливала из бутылки керосин в керосинку или кто-нибудь из соседей тащил через закуток Марии Туранюк ведро с помоями. Но все это были досадные эпизоды, лишь прерывавшие общее умиротворенное и заинтересованное житье-бытье. И лишь единожды дом распался не на партии, а на «каждый за себя». Единожды вместо дипломатических манипуляций с электролампочкой были высказаны резкие слова и проделаны пиратские акции.

Мы как-то все привыкли к суровым условиям керосинок и электроплиток. Все знали, что где-то в городе проживают счастливицы, под кастрюлями которых бьется синенькое некопящее газовое пламя, да мало ли у кого чего есть, только не про

нашу честь. Дом не роптал, не требовал перемен, а дружно и безответно терпел. И вдруг, как удар молнии, разнесся слух: будут проводить газ!

Волнение вызвала сама эта пьянящая новость, но слухи по дому уже гуляли, обещая такие конфетные доли, что дух захватывало. То дом забирали под посольство, то научно-исследовательский институт собирался устроить здесь конструкторское бюро, то вроде бы особняк облюбовывала другая могущественная организация. Но, поциркулировав, слух этот — дыхание людских надежд — увядал, делался слабее и, наконец, испускал дух, переходя в ранг домовых мифов: «Вот в одна тысяча таком-то году, когда дом собирались забрать под посольство...» Да и все реально понимали, что не нашлось еще такой могучей организации, которая способна была расселить наш многосемейный муравейник.

Поначалу к этому «газовому» сообщению скептики и реалисты отнеслись настороженно. Подумаешь, газ! Может быть, еще квас из кранов будет течь? Это что — жизненно важно, чтобы был газ? Да зачем же этот газ, когда у каждого и керогаз и керосинка, а кое у кого, например, у Сильвии Карловны, есть и примус. Но слухи не слабели, а даже густели, обрастая немыслимыми подробностями о газовых духовках и конкретизируя предмет: в какие квартиры газ подводить будут, а в какие нет. Но самое удивительное, что слухи подтверждались.

В доме стали появляться разнообразные личности, осматривающие, выстукивающие и обнюхивающие все апартаменты. Личности лазали по этажам и что-то записывали в свои блокнотики. На попытки завести с ними более лирические отношения, выяснить, что думает проектная организация, отвечали решительно и кратко: «Чего беспокоитесь, всем достанется!»

К этому времени в умонастроении жильцов наступили существенные изменения. О, благословенный газ! Ты будешь кипятить чайник за пять минут! Если нагреть чайник и две большие кастрюли, то можно помыться и дома в корыте, а не тащиться в баню. Обед варить за два часа. Пол мыть горячей водой. О приди, благословенный и давно ожидаемый газ! Жизнь без тебя уже невыносима, невозможна, лишена значения и смысла.

И вот в один прекрасный день в дом, вернее, в огромный купеческо-дворянский вестибюль завезли газовые плиты. Пока одной машиной восемь плит. Первыми об этом узнали неработающие старухи, и дело закипело. Вцепившись своими морщинистыми ручонками в чугун и эмалированное железо, объединившись по пять-шесть человек, как муравьи, они тянули сверкающие новизной плиты по дальним углам. Гром, гам, грохот стоял на ступеньках. По вестибюлю плиты волокли на полочках, на лестнице подкладывали дощечки, молодцам из гаража во дворе сулилось по паре пива за помощь. Все вошло в высшее напряжение человеческого духа и физических усилий.

К пяти часам, когда весь основной контингент возвращался с работы, когда, как вулканы, разгорались керосинки и беспрестанно начинала хлопать дверь в туалет, вся газовая аппаратура была разнесена, а кое-где уже и прикрыта от глаза мешковиной, тряпьем. В вестибюле осталась только единственная плита, вокруг которой легкой рысью семенила бабка Серафима Феоктистовна, с утра занятая неотложнейшими делами по спасению собственной души в Елоховском храме.

Полшестого в вестибюль к сиротливой плите стал подходить народ. Собирался грозный домовый

сход. Все с удивлением глядели на единственную плиту. Раздавались призывы к самосуду и кличи к перераспределению. Начинаясь бой за последнюю плиту: кому?

Сильвия Карловна пискнула, что в своей, отторгнутой от коридора кухне она смогла бы создать для плиты хорошие условия.

С сочувствием было принято заявление Раисы Михайловны, что ее Даня женится, ей придется кормить и его и жену, а будущая жена у Дани слабенькая. Даню любили. Даня был фронтовик.

Протиснувшись через частокол спин, выступила художница Елена Павловна: дескать, если кому и следует уступить единственную плиту, так ей, как художнице и старухе.

— Ах, старухе,— завывала уборщица тетя Паша,— значит, теперь она старуха! А как кто-нибудь из мужиков пройдет перед сном мимо ее керосинки в кальсонах... Она, видите ли, себе по ночам кофей варит, без кофея художества ей в голову не лезут. Кто-нибудь из мужиков спяну ночью мимо ее, холеры, керосинки в кальсонах пройдет в туалет, так она ох, ах и кричит, что она девица! А когда плита ей нужна, так она старуха!

— Чего спорить,— раздался внезапно глухой бас Марии Туранюк,— и чего разоспорились? Моя эта плита, как детной матери и одиночки.

И все здесь примолкли. С Марией не поспоришь.

— Берите-ка, пацаны,— махнула Мария своей ребятне,— ставьте возле двери. Баста!

Конечно, уже на следующий день все образовалось. Пришла еще одна машина. Плиты перестали быть дефицитом, а потому вызывать интерес. Но машина, кроме плит, привезла и разбитного красавца прораба. Прораб за дело принялся хватко. Первым делом все плиты, разнесенные по разным углам, были возвращены на прежнее место.

Женщины окружили его тесным кольцом. Прорабатывался главный вопрос: где будут стоять плиты. Опять Сильвия Карловна настаивала на сепаратных переговорах за закрытыми дверями. Мария Туранюк удостоверялась, что ее, детную мать, не обидят, и ушла. Из своих дверей вышла портниха Анька в коротеньком халатике.

— А в нашей квартире можно установить газ?

— Для вас плиту можно установить в любом месте.

— А все же? — переспросила Анька.

— По проекту,— прораб развернул небольшую тетрадку,— по проекту в коридорчике перед вашей квартиркой не хватает кубатуры, поэтому плита у вас будет общая в вестибюле.

— Это кто эту кубатуру мерил? — надвигалась на прораба Анька, ослепляя его сверкающими коленками.— А ну-ка пойдем со мной, померяем вместе!

— С удовольствием, отказывать женщине в чем бы то ни было — не в моих правилах.

Мы всей гурьбой двинулись было за прорабом, но Анька, уперев руки в бока, как полководец оробевшую гвардию, грозно спросила:

— А вас кто звал? Нам понятия не нужны. Сами справимся.

Через пять минут несколько задущенный прораб выскользнул из Анькиного закутка, выкрикивая на ходу:

— Хорошо! Я разве против вашего счастья? Все сделаю к вашему удовольствию.

— Давно бы так,— говорила, выходя вслед и небрежно потягиваясь, Анька,— а то какую-то кубатуру придумал. А она, кубатура, вся при мне, и, если кому-нибудь недостает, могу одолжить.

— Прикройся, бесстыдница, креста на тебе нет,— прошамкала бабка Серафима Феоктистовна,— ишь растелешилась. Детей бы постеснялась...

— А чего их стесняться,— сладко, как кошка, улыбалась Анька,— пусть любят и учатся. А насчет креста, старая калбша, ты права. Не только креста нет, а даже и комбинации. Так вольготней.

...Нам плиту поставили в коридорчике, ведущем на черную лестницу. Четырехконфорочную плиту с духовкой. И какая же у нас была радость, когда включили газ! Радость во всем доме. Ведь никто, главное, не просил, никто не требовал у депутата этого газа, а вот некий неизвестный дядя подумал о нашем доме, а о Марии Туранюк, и о тете Паше, и о Елене Павловне, и о том, что Даня собирается жениться.

Вспоминая этот эпизод из нашей жизни, я всегда думаю: как умели мы тогда радоваться маленьким удачам жизни, как умели их ценить! Вот это умение ценить осталось, наверное, у всего моего поколения. Мы радуемся санаторию, в который приезжаем, новой квартире, которая безусловно лучше старой, импортному венгерскому костюму. Никому из нас не придет в голову травить себе душу, что санатории есть и лучше, квартиры строят и в центре, а кроме венгерских костюмов, в магазинах бывают и французские и финские.

Какое счастье, что это суровое время выучило нас ценить доброту. Ценить труд и заботу о нас. Ах, как не хватает этого дня сегодняшнему...

Почти двадцать лет назад, в конце 50-х годов, мы с моей будущей женой получили свою первую штатную работу. Редактор газеты нашел, что единство стиля двух молодых журналистов бросается в глаза, здесь не миновать слияния и жизненных устремлений, и сделал нам свадебный подарок: разделил одну ставку в восемьдесят восемь рублей на две — половину жениху и половину невесте. И как же мы были рады этим деньгам! Какими казались они нам огромными и, честно говоря, даровыми! Ведь мы получали гонорар за каждую мелочь, сделанную для газетных полос, нам стремились приплачивать, так что вроде зарплату выдавали за красивые глаза. И мы уж старались эти деньги отработывать. Мы готовы были лететь на любое задание, писать по первому зову, дежурить вне очереди, мы вообще проводили на работе весь день — с утра и до вечера. Потому что газета была самым интересным, самым значительным в наших жизнях...

Ну, вот я и превратился в сорокалетнего брюзжащего старца, хочу написать, что раньше все было лучше: каша гуще, сметана слаще и молодежь вежливее. Но сметана и в наше время сладкая, молодежь такая, что начинаешь побаиваться ее интеллектуального превосходства. Знают они больше нас, в поступках дерзостнее, в любви искреннее, в жизни бойчее. Но и наше время кое-что значило. Оно быстро формировало людей, ставило перед нами невыполнимые задачи, и мы их выполняли. Нам, правда, всегда было наплевать на наши пиджачки, рубашки и галстуки. Лучше, конечно, поновее, но коли нет, и так сойдет. И что-то из нас всех получилось. Кто, например, мог подумать, что этот сонливый и вечно голодный мальчик из комнаты с полукруглыми окнами мог превратиться в самостоятельного человека! Я всегда вспоминаю бабушку: взглянула бы старушка, как безукоризненно вежлива, просто на уровне мировых стандартов, ее безалаберный внучок, которому она давала первые уроки вежливости и нравственности. Просто в наше время в быту мы заботились о другом.

Один раз я был в недорогой туристской поездке по Индии. На самых современных машинах мы ездили и летали по стране, жили в добротных отелях, нас хорошо кормили. Нас, естественно, обслуживали по туристскому классу. Я чувствовал себя в чужих отелях, в окружении состоятельных иностранных господ и дам совсем не парией. Я понимал, что в пересчете на их свободно конвертируемую валюту наше путешествие стоит в несколько раз дороже, чем мы заплатили, потому что советскому туристу, уезжающему за рубеж, льготы дают профсоюз, «Аэрофлот», «Интурист». Мы только об этом редко задумываемся. И, видимо, мои спутники об этом не думали совершенно: через неделю началось некоторое раздражение потому, что американцев отправили на семи легковых автомобилях, а нас на автобусе с кондиционером, потому что... Было много этиж возможностей к раздражению еще у сравнительно молодых людей. И я все время думал: что это? Отсутствие достоинства, стремление к компенсации своей социальной роли, неумение мыслить широко или просто привычка требовать. Мелкая привычка требовать на всякий случай — а вдруг дадут. И что тебе положено и что нет. А вдруг мама купит французские сапоги, о которых и сама-то не мечтала? А вдруг папа три раза не поедет в отпуск, возьмет на работе компенсацию и подарит мотоцикл? К окончанию десятого класса. А почему папа должен платить сыну за то, что тот хорошо учится? Почему?

Вот такие соображения возникли у меня, когда перебирал я счастливые события своей юности, — в наш дом провели газ.

Даня женится

Даня вернулся с фронта — он служил на флоте, — наверное, за год до того, как мы все уехали в особняк. Мне казался он таким взрослым, что я рассматривал его как следует, лишь когда самому мне исполнилось семнадцать. Даня уходил из дома рано утром, а приходил вечером. Он никогда не останавливался в коридоре; в исключительных случаях выходил звонить по телефону, а когда с кем-нибудь здоровался, старался не поворачивать головы.

После возвращения с фронта Даня не носил шинели, кителя, а сразу надел пиджак, пальто и мягкую шляпу, которую, поднимаясь по черной лестнице, всегда старательно натягивал на глаза.

Собственно говоря, глаз у него было только один. Второй — неживой, стеклянный, с пронзительным немигающим взглядом. И все лицо Дани без привычки казалось демоническим: оно было покрыто синими вставшимися точками сгоревшего пороха. Постепенно я узнал, что в руках у Дани на фронте взорвалась мина. Но зло, которое мина причинила человеку, на этом не кончилось. Правой руки у Дани тоже не было. Вместо нее был протез, одетый в тонкую черную перчатку. И я всегда удивлялся: кто же снабжает Даню такими прекрасными перчатками?

К тому времени, когда я наконец-то рассмотрел Даню, он уже окончил юридический факультет университета и года два работал судьей где-то в другом районе Москвы. Мне всегда хотелось поехать посмотреть, как же он судит и как сидит в большом дубовом кресле с гербом на спинке.

Перед Даниным приходом часа за три Раиса Михайловна, его мать, становилась к плите и что-то стряпала, изобретая различные блюда из моркови, картошки, а когда отменили карточки и жить стали лучше, то и из мяса. Запахи носились по всем нашим этажам, выделяясь необыкновенным ароматом и тонкостью. По длительности витания этих запахов можно было определить: задерживается Даня или нет, потому что года за два до женитьбы он стал задерживаться.

Настоящих причин этих задержек долгое время не знала даже Раиса Михайловна, но однажды рано утром она постучала к нам в комнату и принялась шептаться с мамой. Из бурного шепота обеих женщин я понял, что у Дани появилась девушка.

Интересно, подумалось мне, какая из себя? Тоже какая-нибудь черненькая, хромает, наверное, или немножко кособочит. Какая же другая пойдет за Даню?

В тот период я еще считал, что все разговоры о духовности, трепете чувств, слитности душ — это своеобразные литературные фигуры, которые мне нужно освоить, но жизнь-то идет по-простому. Если на тебе белый плащ с белым шарфом и брюки дудочкой — тогда почти одновременно появились своеобразные эти брюки, слово «стиляга» и, с легкой руки фельетониста Ильи Шатуновского, родовое обозначение и для брюк и для всего стиля, которого придерживались эти узкобрючки: «плесень», — то ты король. А у Дани ни белого плаща, ни белого шарфа, ни — судя по скромной гастрономии Раисы Михайловны — больших денег нет. Даню могла полюбить только какая-нибудь чернавка.

В этой мысли — о необходимости красивой одежды для успешного чарования — меня утвердила одна голубоглазая девочка из соседнего, предвоенной постройки, дома.

Мне было уже лет четырнадцать, и одет я, скорее оборван, был бесцветно, страшно, а тут приближались майские праздники. Мама как-то изловчилась, отыскала старинную, из шерстяной ткани нижнюю рубашку деда, распоролла ее, покрасила и за ночь сшила мне дивную тужурку с фигурной, зубцами кокеткой. Такие куртки только-только входили в моду. И вот, когда хорошо воспитанная, с бантом в русых волосах девочка увидела меня в новой куртке, она сказала: «Если бы ты всегда, Дима, был так красиво одет, я бы с тобой дружила».

Меня очень интересовало, как Даня прогуливался со своей девушкой: с какой стороны идет — с той, где у него нет руки, или с той, где нет глаза. И как объясняется, смотрит ли он ей в глаза?

Одна деталь, впрочем, прояснилась: левая рука у Дани была очень крепка. Как-то я стоял в коридоре и на столе, где до «эры газа» жила наша керосинка, гладил брюки. Я гладил их по нашей семейной технологии: крепко выжимая в тазике с мыльной водой тряпку. И тут проходит Даня.

— Не так ты делаешь, Дима, — сказал он. — Тащи парочку старых газет.

На сложенных по складкам брюках Даня развернул газету, сбрызнул ее водой из кружки и, внешне схватив левой здоровой рукою раскаленный утюг, мощно ударил по газете. Из-под утюга хлынул пар.

— Вот и действуй дальше, — сказал Даня, — у нас на флоте брюки гладили так.

Мы еще не видели Данину невесту, но все были очень, как тогда говорили, заинтригованы. Какая из себя? Сколько лет? Блондинка или брюнетка? И главное: хорошенькая?

Раиса Михайловна жаловалась маме: «Данечка такой скрытный, от него ничего не узнаешь. Я только один раз поговорила с ней по телефону, когда Данечки не было».

Постепенно, однако, кое-что выяснялось. Девушку звали Машенька. Она была на два года моложе Дани и проходила у него практику, а до института еще окончила музыкальное училище.

— Вот и прекрасно, — сказала мама, — значит, Данечка и вся ваша семья должны полюбить музыку.

— Мы купим патефон, — сказала Раиса Михайловна.

— Это хорошо, но лучше займитесь билетами в театр, — посоветовала мама, — на Лемешева и Уланову ни одна девушка пойти не откажется.

Какая здесь началась кутерьма! С утра и до ночи раздавался громкий, на весь дом, клекот:

— Соня, это ты, Соня? Это я, Рая. Ты знаешь, мой Данечка женится...

Дальше шло полное описание всех сложностей Даниного положения, музыкальное образование невесты и ее непреодолимое желание посетить с Даней Большой театр.

— Ах, это не ты, Соня, распространяешь билеты? Не ты? А я думала, ты. Но кто же тогда из нашего класса распространяет? Ах, Беллочка? Это какая же Беллочка? Которая вышла замуж за зубного врача или которая до войны работала в аэроклубе?

Ликующий голос нашей соседки уже заполняет собой все закоулки. Тихая Раиса Михайловна вообще не могла говорить по телефону спокойно, она принимала только одну форму — форте.

— Ах, боже мой, — кричит Раиса Михайловна, — а я и не знала, позор на мою старую седую голову, а я и не знала, что Беллочка из аэроклуба стала Героем Советского Союза. Боже мой, в гимназии она была совсем тихой девочкой. Что? Она еще и полковник? Да, да, мне теперь совершенно ясно, что билетами занимается Беллочка, которая замужем за стоматологом. Она еще играла на виолончели. Давай мне скорее ее телефон.

Раиса Михайловна размахистым почерком быстро записывала на стене телефон Беллочки и бежала к себе на верхотуру переворачивать морковные котлеты.

На мгновенис ароматная волна ударяла по всему дому, жильцы сглатывали слюну, и наступало новое антре.

— Беллочка, это ты, Беллочка? Это Рая. Какая Рая? Ах, боже мой, какая Рая! Твоя лучшая подруга, с которой ты сидела почти за одной партой. Беллочка, я к тебе с просьбой. Мой Даня женится...

Я прикрывал дверь и стремительно — вполуха, впрочем, контролируя разговор, дабы не пропустить следующего антре, — повторял неправильные глаголы: в год Даниной женитьбы я поступал в университет.

Наконец уже знакомые мне новости иссякали, Раиса Михайловна в своем материнском радении входила в новый виток.

— Нет, нет, никакого Большакова. Лично я против Большакова ничего не имею, но мне нужен спектакль только с Лемешевым. И за Викторину Кригера тебя благодарю, но необходима Уланова. Я верю, что Кригер — прекрасная балерина, но, ты сама понимаешь, Уланова — это Уланова.

Дальше начиналось самое захватывающее: торговля из-за мест, из-за яруса и, самое главное, из-за стороны в зрительном зале — «правой» и «левой».

Я долго не мог понять, здесь-то уж чего спорит Раиса Михайловна со своей школьной подругой, и только потом мне все разъяснила мама.

— Ты не думай, Дима, — говорила мама, — что Раиса Михайловна, если даже она кричит по телефону, — женщина такая простая. Она подыскивает такие места, чтобы Даня сидел рядом с Машенькой с той стороны, с которой у него здоровый глаз. Понял?

Постепенно при помощи дневных бесед Раисы Михайловны с подругами и друзьями — а кто только не числился, оказывается, в ее записной книжке — отношения у Дани с Машенькой наладились. Наконец стала даже известна дата, когда Машенька должна была прийти с официальным визитом, чтобы познакомиться с Даниными мамой, бабушкой и бабушкой.

Подготовку Раиса Михайловна начала с самого раннего утра. Даня запретил Раисе Михайловне готовить всякие кнедлики, печенье с корицей и прочий кулинарный шурум-бурум. Раиса Михайловна испекла торт из геркулеса по рецепту Елены Павловны, а Маша Туранюк проконсультировала соседку по части украинского борща, потому что молодые должны были прийти с работы.

Весь наш второй этаж принял посильное участие во встрече. Хозяйки, будто сами по себе, выдраили до блеска газовые плиты в коридоре, по возможности замаскировали помойные ведра, а тетя Паша вне графика вымыла лестницу на черном ходу и туалет. Необычную щедрость, ко всеобщему удивлению, проявила всегда сторонящаяся общественных движений Сильвия Карловна. Наверное, после долгих раздумий она подошла к Раисе Михайловне и сказала:

— Я слышала, что ваша будущая невестка — музыкантша. Если вы захотите, то вечером можно сервировать чай у меня. У нас стоит пианино, очень дорогой марки «Шредер», и, если девочке захочется показать себя, она смогла бы поиграть.

После пяти весь дом занял позиции. На лавочках у черного хода — тетя Паша, Мария Туранюк, бабушка Серафима Феоктистовна, Люди более тонкой организации — Елена Павловна, Сильвия Карловна — устроились у окон. Анька из вестибюля, не желая смешиваться с непросвещенной толпой на лавочке — окна ее выходили не во двор, — попросила разрешения наблюдать церемонию из окон нашей комнаты.

Наконец какой-то доброволец из мальцов вбежал с улицы в ворота и махнул рукой: идут!

Дом принимал торжественный парад. Дом всегда знал момент, когда надо выслать караул и устроить боевой смотр. По какой-то только ему ведомой команде он так же собрался, когда мой брат привез со своей дипломной практики жену. В том же почти неизменном составе дом выставил почетный караул из всех родов войск, когда я впервые привел показывать маме свою невесту. Только тогда Анька наблюдала за происходившим из окна Елены Павловны. Не избежал общей участи ни Эдька Перлин, ни Витька, никто из моих сверстников. Этот святой обряд — все-таки наш мальчик (девочка) женится (выходит замуж)! — продолжался до самых последних дней совместной жизни в коммунальных квартирах этого столь симпатичного мне дома. До тех пор, пока машины, нагруженные ужасным скarbом, рожденным теснотой и скученностью, не развезли нас по однокомнатным, двухкомнатным и трехкомнатным квартирам новых районов Москвы.

...Сразу же за сигнальщиком-добровольцем в воротах показались Даня с Машей.



Тетя Паша перестала лузгать семечки, бабушка Серафима Феоктистовна отложила носки, которые она штопала для вдового дьякона из Елоховского собора, Елена Павловна поднесла к глазам театральный бинокль на перламутровой ручке, мама отошла немножко от окна, чтобы с улицы не была столь явной ее заинтересованная позиция, Анька же, наоборот, высунулась из окна, свесив вниз огромные груди: дескать, и мы не лыком шиты.

Ко всеобщему удивлению, Маша оказалась крепенькой, как морковка, рыжеватой девушкой. Она уверенно семенила возле сумрачного Дани и щебетала, не закрывая рта. Ее каблучки цокали по асфальту в ритме мендельсоновского марша, и всем стало ясно, что дело сделано и, как бы Дания ни рефлексировал, жениться ему на Машеньке, потому что Машенька его любит и уже не видит, есть у него рука или нет, а любит целиком и таким, каким его подарила ей судьба.

Во время торжественного ужина у Раисы Михайловны даже по телефону в доме никто не разговаривал. Особо смелые люди, вроде тети Паши и бабушки Серафимы Феоктистовны, на цыпочках поднимались к дверям Раисы Михайловны и тревожно прислушивались. Вниз они сходили совершенно успокоенные, потому что, по их мнению, все шло прекрасно: за дверью раздавалось веселое щебетание и смех Машеньки, бормотание о будущих правнуках почти парализованной Даниной бабушки и под сурдинку романс «Записка» в исполнении Клавдии Ивановны Шульженко — с пластинки, которая крутилась на новом, только что купленном патефоне.

Так Дания женился. Через две недели мы его нафранченного, в белой рубашке, с цветком в петлице и в черных, несмотря на летнее время, удивительного качества перчатках, сажали в автомобиль, присланный ему из прокуратуры. Дания ехал за невестой.

Потом была свадьба, на которую набилось много парней с орденскими планками и совсем молоденьких девушек. Танцевали все в вестибюле, на нашей плите варили глинтвейн, а под утро Раиса Михайловна вместе с каким-то хлопцем из Даниных товарищей станцевала под баян веселый танец казачок.

Дания с Машенькой первыми выехали из нашего дома. Через две недели после свадьбы им дали новую квартиру, жизнь к этому времени стала уже полегче.

Дядя Коля

Меня всегда поражала духовная общность между моей мамой и ее сестрами, глубина понимания ими трудностей друг друга. Это единство, так непохожее на мои отношения с братом, видимо, выросло на традициях воспитания в большой семье, где младший донашивал одежду старшего, а старший был младшему нянькой, воспитателем, товарищем. Сегодня, в век приходящего достатка, все это обстоит, наверное, по-другому. Младший не надеет «обносок» старшего. И старший не только к своему внутреннему миру, но и к своей компании не подпустит младшего. Мои тетки и мама понимали друг друга. Умели поступиться и своими личными интересами и даже интересами семей, чтобы помочь друг другу. И такая помощь впервые пришла к маме от тети Нюры из Калуги сразу же, как из нашей жизни выпал отец. Письмо от тети Нюры и приезд дяди Коли,

младшего маминого брата, почти совпали по времени — зима 44—45 года.

Первый раз за нашей занавеской мы заговорили громко, мама рассмеялась, позволила себе, накрывая на стол, звякать посудой, когда вечером неожиданно раздался звонок. Как же, приехал брат, раненый фронтовик.

Дядя Коля казался мне, мальчишке, тогда пожилым, даже старым, а было ему, как я понимаю сейчас, всего лет двадцать восемь — тридцать. Он скитался после ранения, полученного, когда торпедный катер тонул у дядю Колю, полуживого, обмороженного, все же сумели выудить из не самого гостеприимного Баренцева моря. Он тогда скитался по госпиталям, а потом долго ехал в Москву, по дороге распродавая все с себя, лишаясь шинели, кителя, шапки, даже белья: дядя Коля после фронта стал горячайшим пьяницей. Он был человеком красивым, щедрым и талантливым. До войны он успел окончить институт и был по образованию экономистом. Уже на моей памяти он пять или шесть раз блестяще начинал. В разных городах Союза: и в Калуге, и Владивостоке, и Уссурийске, и Свердловске, и Новосибирске. Каждый раз он начинал с нуля, с рядового бухгалтера или экономиста, быстро становился главбухом, начальником планового отдела. Дирекции мирились с его мелкими выпивками, а потом в один не прекрасный день начинался большой запой. Он пропивал с себя все, бросал очередную женщину, с которой собирался жить до старости, и, еще как следует не протрезвев, оказывался где-нибудь в иной точке нашей Родины.

При первом знакомстве дядя Коля мне не понравился отчаянно. Он был грязный, оборванный, небритый. А мама сразу захлопотала над этим неопрятным мужиком. Стала вытаскивать из чемоданов отцовские вещи, рубашки, галстук, белье. Мне это не нравилось, особенно потому, что раньше мама все это берегла, аккуратно складывала и внушала нам мысль: выяснится недоразумение с отцом, он вернется, и вещи снова ему будут нужны. И в тот момент, когда она щедро одаривала дядю Колю, мне казалось, что совершается какое-то предательство. Я вообще ревновал маму ко всем — к отцу, к брату, к любым нашим знакомым. Я даже был рад, что отца нет с нами, потому что вся любовь мамы достанется мне. А тут приехал какой-то оборванный человек, и я уже на заднем плане, все в доме закрутилось вокруг него. Я не мог спокойно наблюдать эту сцену, ушел в свой разукрашенный уголок и горько плакал от собственного несовершенства, от чувства ревности, которое, я понимал, гадкое и недостойное чувство, но оно жило тогда во мне, и я не мог его погасить и плакал от собственного бессилия. Однако не такой простой был и мой дядя. Он вытащил меня из угла, «не заметил», что я плачу, затормошил, закричал, чтобы мама собирала белье не только ему, но и мне, и что сейчас же мы с ним вдвоем отправляемся в Центральные бани, где есть парилка и даже бассейны, в котором можно плавать.

— Неужели можно плавать?!

— Можно плавать! — закричал дядя. — И мы будем там плавать, и мама даст нам еще красненькую на пиво, и мы попьем пивка.

Мама казалась такой счастливой, какой я ее помнил до войны. Она смеялась. Зубы у нее были ровные, белоснежные, на левой щеке при улыбке появлялась ямочка.

— Только, пожалуйста, Николай, — говорила она, внезапно посерьезнев, — не давай ребенку алкоголя.

Мы ехали с дядей Колей на трамвае и на метро, и я немножко стыдился его оборванного вида. Я отстранялся от него, будто бы еду сам по себе, а он, напротив, ничуть не тушевался. Потом мы с ним парились в бане, он мне дап отхлебнуть из кружки пива. Сидя в предбаннике на сложенном полотенце, дядя Коля рассказывал сгрудившимся вокруг него мужикам что-то военное, а когда он оделся в костюм отца, то превратился в совсем ладного парня.

Дома я уже не отходил от дяди Коли ни на минуту. Я даже сказал, что буду с ним спать, и, лежа на «гостевом матрасе» на полу, на теплой руке дяди Коли, уже засыпая, слышал, как мама и дядя Коля шептались через комнату о бабушке, о тете Нюре, о какой-то родне, которую я и не знал, а если и видел когда-нибудь, то не помнил.

На следующий день вечером мы с мамой провожали дядю Колю в Калугу. На вокзале он уговаривал маму: «Пусти со мной Диму. Ты сама мне читала письмо Нюры — пусть поживет у нее, она же согласна взять его на зиму. Ты пропадешь с двумя ребятами. А маму,— продолжал дядя Коля,— я, как приеду в Калугу и устройусь на работу, возьму к себе. Она всегда мечтала жить не с вами, дочками, а со мною, с младшеньким. Нюре будет легче... Давай я заберу Диму».

Мне и с дядей Колей хотелось поехать, и маму оставить было жалко. Но мне так хотелось проехаться на поезде!

— Нет, Николай, сейчас это невозможно,— говорила мама.— У Нюры самой трое девок, мать живет... Они только что вернулись из эвакуации. Дмитрия я не пушу.

...Мы посматривали на часы. Дядя Коля стоял на подножке вагона ладный, в отцовской парадной шинели, в каракулевой серой шапке. Наконец паровоз гуднул, вагоны, залязгав, чуть тронулись. Дядя Коля поцеловал маму, нагнулся ко мне, и я почувствовал, что взлетаю!

— Не волнуйся,— кричал дядя Коля маме, держа меня под мышкой.

— Дима,— кричала, смеясь и плача, мама,— ты уже большой, пиши мне письма.

Поезд вышел из-под вокзального ангара и пробирался через стрелки. Падал легкий снежок. Из вагона раздавались трели гармошки.

Шипучие змеи

Если задуматься, как все же цивилизация сумела сохранить себя, несмотря на войны, разрушения, непонимание одного народа другим и смертельную неприязнь классов; если задуматься, как даже в огненные лихолетья, когда народ напрягал все силы, отстаивая само свое физическое существование, и, казалось бы, в тот период на что-либо другое, чем на борьбу и самосохранение, сил и не было, если задумаешься над этим, то приходишь к интересному ответу: в ответственности быта, умении удерживать навыки семьи, в поддержке каждой особи, чтобы она в голод и бездомии не опустилась до животного дремучего уровня,— в этом огромная заслуга женщин. С каким муравьиным упорством стремились они поддерживать хотя бы внешне привычный быт семьи. Будто бы в этом ритуальном постоянстве — залог возвращения в дом мужа или сына. Когда буквально нет крыши над головой, женщины так же методично заставляют детей чистить зубы, мыть руки перед едой, мыть в ледяной воде ноги перед

сном, аккуратно, на тарелке, резать хлеб, даже если это всего-навсего скромная пайка. В этом их поддерживает инстинкт и консерватизм женских привычек, но оборачивается все крепкими навыками, закладываемыми, несмотря ни на что, в следующее поколение, в их детей.

Сейчас уже взрослыми, пожилыми людьми встречаю дочерей тети Нюры из Калуги, я поражаюсь той закатке, которую они получили от матери — тихой и незаметной женщины. Ее в доме-то не было видно, но она крепко держала дом своей мягкостью и терпением.

Калужский дом стоял на самой окраине, на берегу реки. На другом берегу виднелась деревенька с красивой церковью. Слева от дома, километрах в двух, был тогда наплавной мост, к которому меня раз принесло на лодке. Я отвязал соседскую лодку, желая немножко покатайся по заводи, отталкиваясь шестом. Но шест оказался коротким и не доставал дна. Я долго боролся с судьбой в протоке, но все же лодку вынесло на стремнину и потянуло на глубину к мосту. К этому времени у моста оказалась бабушка (она уже всю зиму прожила с дядей Колей на снятой квартире, но дядя Коля запил, промотал последние вещи бабушки, и она вернулась к тете Нюре). В руках бабушки на этот раз почему-то оказался прут, и этим прутком она гнала меня по дороге, ревущего, к дому. Справа от дома, через реку были набиты сваи, доходившие до фарватера, — остатки военного моста. Между двумя этими мостами находилась акватория моего детства. Самых счастливых, самых безмятежных дней в жизни.

Какой внезапной бомбой оказался я в небольшом бревенчатом доме на берегу! Меня надо было и положить куда-то, и накормить, и вымыть, и сходить со мною в школу. Наверное, дочери тети Нюры шипели на свою мать, что та согласилась взять меня к себе — по тем временам это был поступок грандиозного великодушия. Но меня сейчас поражает то, что этих подспудных девичьих неудовольствий я совсем не замечал. Я прекрасно и свободно чувствовал себя и дома, и на огороде, и в саду, и за столом. Только один раз тетя Нюра внезапно стукнула деревянной ложкой о столешницу:

— Молчать, змеи шипучие. Я здесь хозяйка. Сироту обижать не дам.

«Шипучие змеи» все вместе сделали для меня много добра, за которое я им, конечно, не отплатил. Каждая из них меня чему-нибудь научила или пыталась научить. Веселая и «подковыристая» Тамара — жалеть детей. В то время она только начинала свою работу воспитательницы в детском доме и рассказывала мне обо всех своих питомцах. Кого бросили матери. У кого нашлись родители. Все это было очень интересно, и через нее я впервые учился сострадать.

Нина — терпению и самоограничению. Из разных обмолвок я понял, что у нее на фронте убили жениха. Нина работала в финотделе и, по-моему, уже тогда начинала учиться в институте. Ее зарплата и рабочая хлебная карточка имели для семьи очень большое значение. Ее всегда нагружали всякими поручениями. Если болела бабушка, вызвать врача, сходить в аптеку. Вечерами Нина, если не занималась, то шила на семью. Несколько раз заходил кто-то из ее сверстников, уже вернувшихся по болезни с фронта, но у Нины никогда не было времени с ними поболтать: или корпела над тетрадками, или строила на швейной машинке. Мать ее, тетя Нюра, часто пыталась как-то помочь ее встречам с парнями. Говорила, что доделает, дошьет за нее. Но у

Нины было свое понятие долга. Этому терпению и чувству долга она учила и меня.

Валентина — меньшая — была из сестер самая незаметная. Да ее и трудно было заметить: целый день она в своем ремесленном училище. Она ходила в больших бутсах и телогрейке. Валя научила меня копать огород, держать в руке молоток и пилить дрова. Я не любил ни копать землю, ни пилить дрова. Валя говорила: ты только поддержи-вай пилу, я буду ее тянуть. Я жаловался, что устал, и Валя старательно объясняла мне: что как бы ни скучна была тебе работа, а она всегда работа, от нее хочется отделаться, но ее надо делать, от работы всегда устаешь, но отдыхать можешь, только когда совсем сил нет.

Три сестры наградили меня, как добрые феи, каждая своим, самым дорогим.

И все же не сложилась судьба у трех добрых фей. Нина вышла замуж только после сорока, за вдовца намного старше ее, со взрослыми детьми. Тамара родила ребенка и развелась с мужем-пьяницей. До сих пор она то сходится со своим Жорой, то расходится. А тем временем в этой личной неустроенности уже выросла у нее дочь, и стала Тамара бабушкой, а все мыкается, ходит с чмоданчиком из одного дома в другой и думает, что по-прежнему молода. Заметил я даже закономерность: чем раньше на переломе юности застала человека война, чем больше он принимал участия в делах взрослых, тем меньше счастья дала ему судьба. Что-то обгорало у выходящих из юности людей, чем ближе они были к войне. В этом смысле самой младшей дочери тети Нюры повезло больше всех — хотя какое, казалось, в то время везение! После ремесленного ее «распределили» куда-то под Москву, на завод, и она уехала в своей телогрейке и тяжелых башмаках. Через несколько месяцев, когда я уже был в Москве, она позвонила нам. Дома был только я и тут же отправился на встречу сестры. Боясь Москвы, она с подружками сидела на каменной балюстраде возле кассы на станции метро «Парк культуры».

— Здравствуй, Валя, — закричал я, — как я рад тебя видеть! Смори, что у меня есть! — и показал ей маленький браунинг, который я выменял у ребят во дворе на компас.

Валя сказала, что живет в общежитии, из метро они с девушками решили не выходить, боятся. Спросила, ел ли я сегодня. Потом достала из авоськи ломоть хлеба с салом и половину дала мне.

Лет через семь Валя выходила замуж, мы ездили к ней на свадьбу с мамой. Свадьба проходила в небольшом рубленом доме, возле нынешней окружной дороги. Женихом у Вали был огромный, мощный парень, шофер Леня. На свадебном столе стоял самогон и много студня. Чадно, бедно, неуютно. И ничего, казалось бы, не предвещало хорошей жизни. А повернулось по-другому.

Через год у них прибавлялось по дочке, пока не родился мальчишечка Сергей. Не так было просторно семье из шестерых человек в старом доме.

Леня оказался малым надежным, заботливым к семье. Деревянная халупка расширилась за счет пристройки. Жилось семье очень трудно. Валентине пришлось уйти с работы, чтобы управляться со своей армией, но к зарплате Лени она прикладывала свой приработок. Возле дома был построен сарай, и там откармливались огромные свиньи. Одновременно пять штук. Раз в неделю Валентина привозила из столовой отходы. Мясо этих свиней не шло на стол семьи — слишком дорого. Осенью,

когда свиней забивали, Валентина отвозила все на рынок. Девочки подрастали, требовали модную одежду. Честно говоря, прежде, глядя на Валентину и ее семью, я всегда думал о социальной предопределенности. Но все повернулось несколько неожиданно. Старшая девочка Валентины поступила в институт, средняя начала работать наладчицей радиоаппаратуры и вскоре вышла замуж, младшая окончила медучилище и твердо решила стать врачом. А тут в их маленьком деревянном поселке, который давно обтекала Москва, ушла из хлева корова. Она побродила по оживленным окрестностям и вышла на центральную магистраль. Сразу же последовал приказ: в неделю жителей переселить, а поселок сровнять с землей. Валентина на свою большую трудолюбивую семью получила две трехкомнатные квартиры, и, когда я приехал на новоселье, вдруг обратил внимание, что нашлись деньжонки и на стенку, и на ковры, и на приличную посуду. Девушки и их парни были хорошо воспитаны, тактичны в разговоре, по-хорошему услужливы. Чувствовалось добротное домашнее воспитание, о преимуществах которого писал еще Чернышевский. Ну кто же этим девочкам, родившимся на окраине, среди шоферни и самогона, привил все это? И тогда я вспомнил ремесленницу в грубых бутсах, учившую меня пилить дрова, и свою тихую, как мышь, тетю Нюру. У всех трех ее дочерей, наверное, не получились жизни: одна все время в детских пеленках и с бадьями корма для свиней, другая в бесконечных разводах, третьей судьба навязала чужих детей, — живут тяжело, но дети-то у всех троих, и свои и чужие, получились. Хорошие, настоящие, честные. Не зря прожила тетя Нюра свою жизнь.

А в 1944 году в бревенчатом доме на берегу Оки жили очень целеустремленно. С утра тетя Нюра надевала плюшевый, на вате зипун и несла на рынок молоко. Шла как молочница — бидон и корзинка через плечо. Почти сразу же за ней уходила в свою ремеслуху Валентина. Потом Нина будила меня и наливала в таз теплой воды для умывания. Валентина следила, чтобы после гулянья, перед сном я валенки положил на печку и вымыл ноги. А еще перед этим мы с тетей Нюрой ходили доить корову. Она несла подойник, а я — фонарь «летучая мышь». Подоив корову, она доставала из кармана граненый стакан, наливала мне молока потихоньку «от девок» — молоко продавалось, чтобы платить налоги, подсобить денег на дрова, на одежду. Когда я уже был в постели, из кино или со свидания прибегала Тамара и так же потихоньку давала мне кусок пирога или полконфетки — то, что оставляла от своего ужина в детском доме. А иногда бабушка, слив вечером все молоко из крынок в бидон, пальцем счищала с крошки крынок сливки и торжественно несла мне этот палец. Я облизывал его и удивлялся, какие у бабушки черные, с потрескавшейся кожей руки.

Так мы прожили всю зиму. Два раза Тамара водила меня в кино и один раз Нина на утринный спектакль гастролеравшего тогда Ивановского театра музкомедии — на оперетту. Помню щегольски подвернутые голенища на мягких сапогах главного героя, холод в театре и неестественность всего происходящего. Еще я очень любил бегать к нашей соседке Люде — женщине лет, наверное, тридцати, жившей с очень старенькой матерью в засыпном, продуваемом всеми ветрами домике. Там мне разрешали листать огромные, с картинками, старинные издания Жуковского, Шекспира, Пушкина.

Но за время жизни в Калуге произошли два огромных в моей жизни события.

Ранней весной приехал хозяин — дядя Федя, муж тети Нюры. Он постучал рано утром. Я слышал, как тетя Нюра пошла открывать и вдруг кричала. На ее крик сбежались «девки» в одних рубашках. Тогда и я решил выйти на кухню. Женское население дома облепило и целовало какого-то чужого небритого дядьку. Мне этот дядька не понравился, и я подумал, что кончилось мое привольное житье. Но все обернулось удачно.

В тот день в школу я, конечно, не пошел. Единственный раз Нина сжалась надо мною. Валентина тоже в ремеслу не явилась, Нина сбегала к телефону, позвонила своему начальнику и отпросилась, Тамару заменила ее подружка.

Сразу же утром, вскоре после приезда, дядя Федя начал резать телянку. Теленок родился на свое несчастье за несколько дней до возвращения дяди Феди с фронта. Рожки у него еще не пробились. На затылке красиво лежали мягкие завитки. После появления на свет он жил в кухне. Он будто тоже обрадовался, что приехал дядя Федя, тыкался мордочкой в общую кутерьму и даже пытался сжевать у тети Нюры подол. За эту радость он и попал под нож. В оппозицию к этой идее стала бабушка. «Через пузо можно спустить все», — говорила она. Я ныкал: «Теленочка жалко, он еще может вырасти, мы потом лучше целого быка съедим». Но тетя Нюра ополумела от радости: «Да он целый пришел, Федор-то, с такой войны пришел. А мы с вами для него, мама, куска пожалеем? Это надо отпраздновать, а уж как жить дальше, там будет видно. Проживем, не умрем».

По неизменной своей любви к новостям я взялся помогать дяде Феде. Тетка дала нам тазы, ведра, и тут же в кухне мы теляночка и порешили. Я только обратил внимание, с какой точностью и простотой действовал дядя Федя. Для него теленок не был наделен красотой, беспомощностью, пониманием, доверчивостью.

И вот живое существо, не лишенное даже некоторого разума, которое могло стать сильным и большим и принести потомство, превратилось в мясо, требуху, печень, бульонку, язык и сердце. Мне теперь кажется, что тогда у меня мелькнула совсем не детская мысль: до чего же хрупка жизнь! Наверное, так и человеку: хватает лишь одного удара ножа, укола в бок длинного шила, пули, воспаления легких...

Вечером мы сели за длинный стол. Все, что еще оставалось в загашниках, в погребе, в шкафах, было щедро выставлено; дымилась груды мяса, бывшие еще недавно теляночком, и тут дядя Федя потянулся за чемоданом, на который мы с утра жадно поглядывали. Наконец щелкнули расpirаемые изнутри застежки, и чего только не оказалось там! Голову и плечи тети Нюры покрыл огромный с белыми кистями шарф. Бабушка получила кружевную пеньюар. Потом пошли: штука плотного шелка, пробитая насквозь плоским штыком, красивая кофточка, два махровых полотенца. Тамара засияла над туфлями, Валентине достались шелковые чулки, а Нине с торжественностью был вручен атласный до полу халат. Но Нина и испортила праздник. Сначала она поцеловала отца, а потом сказала: «Спасибо, папочка, тебе за заботу. Ты на нас не сердись, но я не буду носить халат, а девочки не будут носить чулки и туфли. Ты помнишь, как у нас пропала корова? Мы ходили к людям, которые свели ее со двора. И люди что-то объясняли,

а мы хотя и радовались, что корова нашлась, но долгое время будто бы брезговали ею...»

За столом все замолчали. Дядя Федя сжался, тетя Нюра сняла шарф с плеч и аккуратно сложила его на коленях, а Тамара отставила свои туфли.

— Мы не будем, папочка, носить эти вещи, потому что они чужие... Пусть все носят, а мы носить не будем...

— Значит, я неправильно сделал, что привез себе двустволку, о которой мечтал всю жизнь? — спросил дядя Федя, и голос его задрожал.

— Ружье — это другое дело, — сказала Нина, — это оружие.

— Прекратите, негодяйки, учить отца! — закричала вдруг тетя Нюра и заплакала.

— Останешься ты, Нинка, вековухой, — вдруг улыбнулся, совсем не обидевшись, дядя Федя, — останешься вековухой из-за своей принципиальности. Давайте лучше выпьем со свиданьем, а после со всем и разберемся. Главное, мы все вместе.

Десять с лишним лет мучился я потом этим вопросом: почему Нина не хотела носить такой прекрасный халат?

А через два месяца случилось другое событие. Кончилась война. Под утро вдруг от соседей кто-то забарабанил в стенку. Все немедленно проснулись. Бабушка в одной рубашке вышла во двор и сразу же вернулась.

— Хазаровы говорят, — сказала она, — что по радио передали, будто война кончилась. Левитан объявлял.

— Дима, — сказал дядя Федя, — пойдй постучи к Людке, скажи, что война кончилась.

Я вырвался из дома, перелез через забор и забарабанил в насыпной дом:

— Люда, Люда, война кончилась!

В это время от наплавного моста раздался громкий и настойчивый гудок катера.

Наша окраина откликнулась немедленно. У Базаровых вдруг кто-то закричал «ура!». На горé заворачивали детишки и кто-то заплакал. Закричал петух. Испуганная шумом, вдруг долго и протяжно, изматывающе замычала корова. Наконец, из дома вышел в брюках и нижней миткалевой рубашке дядя Федор и шарахнул из двух стволов нового трофейного ружья. От церкви с противоположной стороны реки тоже раздался выстрел. Война кончилась.

Мне было грустно. Мы с мамой никогда с фронта не ждали никого. Но это было лишь минутное огорчение. Все радовались, и радовался я. Тут же я и смекнул, что в ближайший день-два можно будет по праздновать, и горечь от того, что в общей радости я оказался несколько обездоленным, рассеялась.

Бабушка

С годами мы все больше и больше начинаем уважать последний и невозвратный обряд смерти. Она все ближе к нам, и к ней мы относимся спокойнее и торжественнее. Острее и чувство последнего долга. Если совсем недавно видели мы в необходимости быть на похоронах или панихиде некоторую досадность, прерывающую запланированное течение наших дел, теперь осознаем это как сопричастность нравственным устремлениям усопшей личности, ее жизненному подвигу. К сорока все меняется: ты можешь не прийти на день рождения, но обязательно придешь на похороны. Ценность человеческой жизни с годами неизмеримо вырастает в наших глазах.

О, как я корю себя сейчас, что не смог проститься со многими близкими мне людьми! Не нашел времени, чтобы съездить в Калугу на похороны тети Нюры и ее мужа Федора, не слетал во Владивосток, чтобы проститься с бабушкой...

Мне было тогда, наверное, лет двадцать пять. Я написал телеграмму, послал на похороны деньги. Как говорится, исполнил свой долг. Совесть меня не мучила. Но вот с годами я вдруг понял, что личность бабушки, с которой встречался я, по существу, только в детстве, занимает все большее место в моем духовном мире. Я понял, что существует диспропорция между тем, что она дала мне для жизни, и той малой, часто корыстной любовью и привязанностью, которой я ей за это отплатил.

Я не был ее любимым внуком, а она неповторимой бабушкой, вроде лермонтовской Арсеньевой или няни Арины Родионовны. Но все же наступил в жизни момент, когда я побывал на ее могиле. Бабушка начала мне снится, слишком часто я о ней размышлял, вспоминал ее слова, походку, наши с ней разговоры. А тут как раз подвернулась командировка во Владивосток. В обычное время я бы постарался избежать этой поездки — все-таки не шутка на самолете пересечь весь Союз с запада на восток. Но я сказал себе: побываю на могиле бабушки.

Ее похоронили высоко на горе, на сопке. С изголовья ее могилы, лежащей в коммунальной тесноте кладбища — ограды, кресты, остроконечные обелиски, — видно море: низкое, бесконечное, полное скрытой энергии и жизни. Рядом с бабушкой лежат ее сыновья и внуки: дядя Коля, о котором я уже писал, его братья, их сыновья — и все это или детонирующая сила войны, или трагическая случайность жизни. И они все не пережили бабушку. Она легла уже к ним, последняя. Я подумал в тот момент: как тяжело ей было, наверное, умирать, имея такой итог жизни...

Бабушка была человеком своеобразным. Она вышла замуж пятнадцати лет и нарожала столько детей, что сама путалась в их возрасте. Некоторые, правда, не пережили младенчества. Я помню, моя мать и тетки, когда-то сумевшие, в дебрях прожитых лет, по паспортам несколько укоротить свой возраст, собираясь вместе, доказательно спорили не о записях дат в своих паспортах, а об истинно прожитых годах. Подсчеты шли приблизительно так: «За Васькой родилась Нюрка, за Нюрой — Тоська, за Тоськой — покойник Ванечка, а потом уже Зинка и Верка». И, оттягивая ближе к нашим дням дату своего рождения, кто-нибудь из спорящих вспоминал: «А между Нюрой и Тоськой был еще Гришка».

И бабушка согласно кивала: «Правильно, за Нюрой был и Гришка. Пятидневным скончался, я им не доходила».

— И еще была вторая Зинка.

— Правильно, была и вторая Зинка.

Как меня удивляла эта естественность бабушкиной жизни, принимавшая в себя и смерть, как диалектический поворот ее развития: «Бог дал, бог взял». С этой известной крестьянской формулировкой впервые познакомила меня именно бабушка — своей манерой думать, принимать судьбу.

В этом смысле судьба самой бабушки Евдокии поучительна как пример стойкого характера, всегда жертвенно-ровного и в моменты взлетов и в моменты падения. С моей точки зрения, возможно перенесение замечания Пушкина: «Она была нетороплива, не холодна, не говорлива, без взора нагло для всех, без притязания на успех», — на поч-

ти неграмотную старуху; они обе — дворянка Татьяна и ее крестьянская ровня — русские женщины, в их лучших и драгоценных качествах естественно-сти красоты.

Крестьянские семьи в далекие времена бабушкиной молодости связывались на всю жизнь. Так и бабушка всю жизнь прошла рядом с дедом, пока тот без вести не пропал в войну. Дед был до революции машинистом на железной дороге, принимал участие в революции, был членом ВЦИКа — так назывался раньше Верховный Совет, — был председателем исполкома одного из сибирских краев, равного, как раньше любили писать, Франции, Дании, Голландии, — большого края. Дед, как человек, преданный революции, рос до своих постов, учился, общаясь со своими товарищами по революции и работе. Бабушка всегда была с детьми и только с детьми. Лишь единожды дед взял ее с собой в Кисловодск, в санаторий, как тогда говорили — на курорт. И всегда бабушка оставалась естественной, не изменяла ни своим принципам, ни привычке изъясняться.

В ее характере уживались бескомпромиссность и вера в бога. Революция и «штунда» — так дедушка называл молитвенный дом баптистов, куда бабушка изредка ходила.

В «штунду» ходил с бабушкой и я. На меня не произвело большого впечатления совместное пение песен религиозного содержания, в церкви было богаче и интереснее. Бабушку, наверное, наоборот, привлекала спокойность, необязательность этого храма, молитва про себя, скромность. Когда я впервые в Калуге попал в «штунду», я подумал, что захожусь на каком-то тайном сборище. В небольшой комнате с комодом, столом, подзором на кровати, на лавках, установленных как в кинотеатре, сидели люди и слушали докладчика, а потом все вместе пели песни. Это мне показалось похожим на революционный кружок начала века. По урокам истории эти кружки я представлял себе именно так.

Бабушка была почти неграмотной. С трудом расписывалась, читала немножко по слогам. Она, по возможности, меня подкармливала, затаивая для меня в карманах фартука то кусочек сала, то орызок конфеты, то горсть черной смородины, а я ей читал вслух.

Вскоре после того, как я оказался в Калуге, бабушка повела меня на базар, и там мы купили «Библию». Книга была солидной, хорошо переплетенной, с красивым восьмиконечным крестом на твердой обложке. К моему удивлению, за такую толстую книгу заплачено было что-то совсем немного.

Книга мне очень понравилась. Я уже слышал такие слова, как «Библия», «Ветхий завет», «Новый завет», уже по разговорам и замечаниям взрослых знал, что в ней хранится много мудрости, но не предполагал, что мудрость эта сохраняется в каких-то притчах, вроде сказок Гауфа.

В первый же день после покупки я с ученым видом сел на завалинке, на солнышке и принялся читать. По привычке к целостности восприятия я начал книгу с начала и тут же утонул в именах, которые я не мог запомнить, в коленях Адамовых потомков, а до понятной мне мудрости так и не добрался. И тогда вбивать в меня эту мудрость принялась бабушка. Изредка я, правда, читал ей некоторые сюжеты и притчи, но бабушка шпарила наизусть. «Не солги, не укради, возлюби ближнего». И как же она втемяшила это в меня! С какой ожесточенностью, увещеваниями и лозой. Бабушка была крепкая старуха и не брезговала поднять тяжелую крестьянскую руку на плоть потомка.



С другой стороны, польза от наших с бабушкой совместных чтений открылась мне через много лет, когда я начал интересоваться живописью. Я научился получать от картин то высшее удовлетворение, которое складывается из возможности ухватить живописную форму выражения, сладость от понимания композиции, умение войти в эпоху художника, постигнуть иногда неброские реалии, которые он разбросал по полотну, но все это не существует без почти автоматического владения сюжетом. В те годы я гордился, что в Эрмитаже в залах Рембрандта я не прочел ни одного пояснительного текста к названию картины, развеивающего происходящее,—я все это помнил, пройдя с бабушкой в качестве внеклассного чтения сюжетику Нового и Ветхого заветов. А сколько сносок можно было не читать у Пушкина, Гете, Пруста! О, если бы такой домашний учитель в наши юные, сметливые лета проходил с нами и другие предметы, такие, как английский и французский языки, этика поведения за столом, культура письма! Но будем благодарить наших бабушек и за то, что они нам дали: за их умение величественно жить и незаметно и неназойливо отдавать те знания, которыми они владели, и даже за суровую лозу в их руках.

Бабушка не была лишена и крестьянского прагматизма. Помню, на Сенном рынке торговали мы с ней, вернее, всем нашим калужским «колхозом»: и бабушка, и я, и тетка Нюра, и шипучие змеи—воз сена для нашей Буренки. После переговоров и передачи определенных сумм из рук в руки воз сена был перевезен к нам во двор и свален. Но в сене нашелся и мешок, в котором оказались два каравай хлеба, кусок сала и несколько подовых пирогов. Бабушка обнаружила этот мешок и тут же сунула кусок пирога мне в рот. Остальное убрали на погребницу. Через несколько часов продавшие сено вернулись. И что же им ответила бабушка?.. Вместе с ними она копалась в сене, оглядывала двор, зачем-то заходила за поленницу, охала, сокрушалась, строила предположения, что мешок уронили где-то по дороге...

Когда продавцы ушли, я довольно ехидно спросил:

— Бабушка, ведь чужое брать не полагается, бог накажет.

Бабушка, возложив на меня подзатыльник, резонно ответила:

— Это не чужое, дурья твоя голова. Это нам бог послал на твое сиротское пропитание.

Прощай, бабушка, пусть земля тебе будет пухом! Как спится тебе там, на краю советской земли, у моря?

Знакомые брата

И у брата появились во дворе друзья. Это были его ровесники, и вели они жизнь какую-то таинственную, отличную от жизни моих сверстников с казаками-разбойниками, поездкой на купание в Серебряный бор и устройством внутреннего телефона между вторым этажом и подвалом, то есть между мной и Абдуллой. Товарищи брата, все, как один, ходили в белых пыльниках и белых же шарфах, умели сплевывать между зубов так, что слюна тонкой струйкой летела на несколько метров, курили папиросы, сверкали золотой или стальной коронкой на переднем резце, носили веселую кепку-восемиклинку с маленьким козырьком и кнопочкой на макушке.

У этих ребят были какие-то собственные дела и

развлечения. Но любимым было стоять возле ворот и разговаривать на своем, только им доступном языке. Целый ряд понятий и выражений здесь имел другие звуковые огласовки: справка называлась у них «ксивой», разговор — «феней», ботинки — «прохорями», девушка — «марухой», для слова «есть» нашелся глагол «рубать», а разговаривать значило «ботать».

В компании у ворот были и девушки. Девушки не стеснялись в выборе слов, пили, как и ребята, водку. Старшие ребята вместе с девушками часто уходили куда-нибудь на чердак или в сарай, выходили оттуда растрепанные, в пыли и паутине. По рассказам мы уже знали, что там происходит, и иногда мы, малышня, цинично об этом рассуждали, называя некрасивыми и грубыми словами. Но я думаю, что большинство моих сверстников не очень-то верили в то, что говорили, я даже считал, что это какая-то словесная формула и что взрослые ребята не могли делать такие некрасивые, смешные действия.

Компания вела какую-то веселую, похожую на взрослую жизнь. Один раз я даже приобщился к ней. Брат расщедрился и устроил мне праздник. Тогда я впервые узнал, что и в послевоенное время какие-то люди в Москве могли жить менее трудной и монотонной жизнью. Что существовали и тогда возможности, о которых я не мог и предположить.

Во-первых, брат впервые в жизни провез меня в такси. Это был большой легковой автомобиль «ЗИС», ходивший по Садовому кольцу. Потом я впервые попал в купеческую роскошь Сандуновских бань. Узнал, что не обязательно тащить с собой полотенце, а можно взять у банщика простыню, да не одну.

Потом брат предложил мне съесть мороженое, продаваемое по коммерческой цене, но, зная стоимость этого лакомства, я отказался. И, наконец, закончили мы этот сказочный день просмотром фильма Эйзенштейна «Александр Невский».

Все это стоило, с моей точки зрения, огромных денег и было вершиной роскоши. Я только не понимал, как брат может тратить такие деньги, когда мама ходит продавать пирожки, выдаваемые ей на работе, чтобы потом на эти деньги купить хлеба.

Знакомства брата неожиданно отразились и на нашей семье. Из дома начали пропадать вещи. Мама несколько раз говорила с братом. Но что она могла сделать? Чувствовалось, что дело приближалось к какому-то кризису. Иногда к нашей двери подходили его друзья и вызывали брата, он не шел, тогда эти ребята цедили угрозы и отходили.

Наконец брат заявил маме, что он уезжает в Мурманск поступать в матросы. Он бросает учиться и будет ловить рыбу. Мама плакала всю ночь. Я тоже не мог спать и плакал вместе с ней. Но брат уверенно посапывал на своей кровати.

— Ну, что я могу с ним сделать, Дима,—говорила мама.— Я не справлюсь с ним.

И все-таки мама, видимо, что-то предприняла. На следующий день у нас в доме появился Николай Константинович, тот наш спутник, который ездит когда-то вместе с нами на свидание с отцом.

Он мне показался еще более некрасивым, чем раньше. Большой нос как-то особенно выдавался, а светлые глаза жгуче горели в глубоких глазницах из-под густых пшеничных бровей. Как всегда, он был по-петербургски вежлив, сел только тогда, когда села за стол мама, и не притронулся к чашке чая, пока она не подняла своей. И я и брат ждали, что он пришел не случайно и будет говорить о ры-

бачкой службе брата, и предполагали, что будет он это делать со старомодной вежливостью. Вначале так и началось. Брат тут же засопел и сказал, а какое вам, дескать, собачье дело? Кто он, ему, брату? У него, у брата, дескать, есть еще отец. И он отцу напишет, что всякие посторонние люди приходят к нам в дом.

И тогда очень вежливый Николай Константинович вдруг протянул руку, схватил моего брата за ворот рубашки и, не вставая из-за стола, приподнял его. Мама закричала, а Николай Константинович наоборот, очень тихим, проникновенным голосом сказал:

— Вот что, молодой человек. Ни в какой Мурманск ты не поедешь, но из Москвы, от друзей, мы тебя уберем. Сегодня же вечером ты поедешь на поезде в Саратов. Мой друг — директор геодезического техникума, и ты будешь тоже учиться. Понял? А если еще раз... Ты ведь больше не будешь маму обижать? Ты меня понял? А сейчас мы с твоей мамой поедом на вокзал, за билетами, а ты пока соберись.

Из предосторожности взрослые закрыли нас в комнате. Я слышал, как ключ повернулся в замке.

Честно говоря, я удивился, как спокойно и даже с облегчением брат принял это пленение. Мы далеко не были любящими братьями, и от старшего мне частенько доставалось самым жестоким образом в ответ на мои попытки навести справедливость. Кроме того, я эгоистично ревновал маму ко всем, даже к брату. В обоих случаях отъезд, исчезновение брата облегчало мою жизнь, и маму делало только моей. Но я не хотел ждать ни минуты.

Оставшись с братом в квартире, я лицемерно посочувствовал ему и выдвинул такое предложение: очень спокойно можно вылезти из форточки и по карнизу дойти до окна вестибюля. К моему удивлению, брат не выказал желания спускаться по веревке из окна, как протестант Фельтон из «Трех мушкетеров». Брат, видно, и сам был очень напуган своей компанией.

А я до сих пор очень корю себя за это предложение: оно было одним из самых подлых, продиктованных чистым эгоизмом поступков в моей жизни.

Мои друзья

У меня тоже появилась своя компания. Как-то постепенно друзья, с которыми я вместе играл в казаки-разбойники и посещал палатку утильсырья возле Тишинского рынка, отошли в сторону, и открылись другие горизонты, появились другие друзья.

Собственно, школьных товарищей у меня никогда не было. Смириться с ролью школьного «середняка» я никогда не мог, а авторитет школьной личности всегда зиждется на двух моментах: или ты отличник, и в силу того авторитетен, потому что где-где, а уж в классе известно, как нелегко стать отличником, либо ты силач и бесшабашный парень, так сказать, свой авторитет утверждаешь кулаками и во имя его подставляешь дома задницу под ремень.

В школе меня недолюбливали. Я плохо учился, неохотно «стыкался» со сверстниками. Школьная наука мне казалась скучной, лишенной воображения. Подделка «под жизнь» арифметических задач с их бассейнами убивала меня бессмыслицей. Всего этого я не мог себе представить и скучнел перед этой арифметической гидравликой. Лишь алгебра восхищала меня логикой и отсутствием лицемерия.

Выдуманная игра с вымышленными же, но твердыми правилами.

Самым ужасным испытанием был русский язык и литература. Мы изучали «щик» и «чик» — суффиксы, похожие на птеродактилей; разбирали правила, у которых было исключений еще больше, чем «легитимных» моментов. А эти стишки из буквarei моего детства, написанные никому не известными, кроме кассы «Детгиза», поэтами, и примерчики вроде «Маша любит маму»!.. Ну и люби на здоровье, какого черта кричать об этом каждому первокласснику? Чья мама? Какая Маша? Сколько Маше лет?

Посмотрев как-то мой диктант, полный кровавых следов учительского карандаша, Николай Константинович сказал: «Этот мальчик оказался не по зубам академику Щербе. Пусть каждый день переписывает по страничке из «Записок охотника». «А можно из «Трех мушкетеров»? — спросил я. Николай Константинович ответил: «Ты слишком шустрый мальчик, чтобы быть отличником. Может быть, твоя стезя — самообразование?»

Как ни странно, Николай Константинович оказался прав. Даже в университете мне легче было прочесть десять томов рекомендованной, но не обязательной литературы, чем один обязательный учебник. Любая интеллектуальная унификация вызывала у меня сон и апатию. Я горжусь тем, что не открыл ни одной хрестоматии, ни одного учебника, кроме учебника по старославянскому языку, но должен сказать, что судьба меня миловала и подбрасывала мне только нужные книги. У меня сложилось впечатление, что вообще-то судьба заранее распланировала мне путешествие по жизни, составила точный маршрут и закупила билеты из пункта «А» в пункт «Б», потом в пункт «В» и т. д. Но в последний момент билеты посыпались у нее из рук. Она собрала их в колоду и кинула мне: так я до сих пор и езжу, не потрудившись как следует раздобыться в маршруте из пункта «А» в пункт «Д», из «Д» в «Б». Но и здесь она меня не оставляет...

Первой «толстой» книгой, которую я прочел и порекомендовал товарищу для внеклассного чтения, был «Милый друг» Мопассана с отчеркнутыми мною избранными страницами. Разгневанная интеллигентная мама моего товарища сделала моей маме серьезное предупреждение. В силу этого я внимательно перечел книгу. Но как же мне после этого было не верить в судьбу, когда через четырнадцать лет профессор Самарин потребовал от меня на экзамене доложить ему проблематику и художественные особенности этого произведения. Подумаешь! Когда знаешь текст, то и особенности с проблематикой — тьфу!

С любовью к самообразованию я не мог стать баловнем школы. Из всех школ, в которых я учился, я помню лишь одну учительницу — Серафиму Петровну, научившую меня читать, да Борю Глебо-спасского — прекрасного парня из генеральской семьи, дружившего со мною, неудачником и двоечником, с первого по четвертый класс, а потом после школы, — с перерывом на армию — и всю жизнь. Помню я также учительницу в восьмом классе школы рабочей молодежи Тамару Ивановну. Ей я тоже обязан тем, что пишу эти записки.

Мой восьмой класс школы рабочей молодежи был первым классом, который она получила после окончания университета, и, как преподается литература, она, по-моему, не имела ни малейшего представления. И вот с перепугу, а еще и потому, что у нее начинался роман со старшиной милиции из нашего же класса, она и начала нам тарабанить, как на университетских лекциях. Будто бы мы все знаем об этих «образах» и «образях», и она только

приводит нам все в систему. На такой безумный поступок я не мог не ответить доблестным трудом. Сердце мое забилось в унисон с великой русской классической литературой.

Вот, собственно, и все, что я помню о школе. Здесь и ответ — почему в школе не было у меня друзей.

...В друзья я выбирал людей, которые меня лучше знали, верили, надеялись на мое будущее. Я всегда был твердо уверен, что не способен сразу покорить человека, очаровать — свойству этому я всегда завидовал: моя сила — разделить с человеком духовный мир, доверить ему сомнения, планы. Так я всегда сам думал о себе, но очень удивился, когда подтверждение моей мысли услышал из уст старой журналистки: «Диму можно полюбить или с первого знакомства, или очень хорошо его узнать». А уж кто меня знал лучше моих сверстников по дому?

Постепенно и у меня в новом доме откристаллизовывалась своя компания. Главой ее оказался Витяка Милягин. Главой потому, что он был самый из нас блестящий, и потому, что он был хозяином «хаты».

Витяка появился в нашем доме даже позже, чем я, где-нибудь году в сорок восьмом. Он ходил (хоть и пацан!) в кожаном коричневом пальто, в прочных офицерских сапогах. Это вообще была униформа семьи: так же одеты были его мать, отец и сестренка. Вся семья была очень таинственная. Они отчужденно, в кожаных регланах, проходили нашими коридорами и исчезали в своей комнате на втором этаже. Там же за невысокой перегородкой находились у них раковина и кухонный стол с электроплитой и керосинкой. Когда семья возвращалась домой, никто из них почти не выходил из своей комнаты. У них даже был собственный телефон — третий в доме, а ведь телефона не было даже у Сильвии Карловны, сумевшей отгородить себе часть вестибюля.

К тому времени я узнал, что семья эта — старые жители дома, но несколько последних лет были в командировке в Туве — в те годы у черта на рогах, почти «за границей». У них оказалась зимняя дача под Москвой, и года два Милягины жили там, спасаясь от московской скученности. Я все время думал: такой же, как и я, по возрасту парень уже побывал в Туве. И еще я никак не мог забыть, как над отворотом кожаного пальто из-за стекол очков взглянули на меня огромные, неестественно синие, почти черного цвета, глаза Татьяны — сестры Вити Милягина.

Года через два или три, когда Тане и Виктору стало трудно учиться за городом, родители переселили их в Москву. И опять я был в восхищении — подумать только, мои сверстники, им всего лет по четырнадцать, и уже сами, одни живут в Москве.

Сначала в дом Милягиных втерся я, потом Эдька Перлин, умница, шахматист и скептик, потом появлялись друзья из Витякиного класса: Юрка Шмелев, Гарик Опенченко и Костя Тихоненко, житель высотного здания.

Появлялось много других ребят, но они как-то не выдерживали высокого и светлого духа компании, а эти остались, видимо, потому, что тоже разглядели темные, почти черного цвета глаза за стеклами очков. К этому времени мои бесконечные перемены школ превратили меня в окончательного двоечника, да и жить не становилось с каждым днем легче, и пришлось подрабатывать: разносить газеты по утрам, клеить бумажные цветы, заворачивать в целлофан этикетки — прибыль, исходивший от какой-то

недомницы-маклерши... Из-за всего этого я перешел в школу рабочей молодежи. Но мама все равно в меня верила, да и я верил в себя.

Но как трудно было эту веру отстаивать в моей компании!

Как восхищался я своими новыми друзьями и как им завидовал... Завидовал их здоровым семьям, тому, как многое они успели узнать, их занятиям спортом. Я смотрел на них, и каждый мне казался гением, способным украсить этот мир. Витяка к восьмому классу завоевал первое место на московской олимпиаде по математике. У Эдьки Перлина уже было авторское свидетельство по каким-то радиоделам, крепыш Юра Шмелев был перворазрядником по гимнастике, Гарик Опенченко, кроме немецкого, учил «для себя» еще и английский язык, а Костя Тихоненко, высокий, чуть угрюмый парень, был просто взрослым. Я завидовал его большим рукам с черными волосами на запястьях и тому, как он небрежно, не глядя, мог перебирать струны гитары. Что я мог противопоставить этим ребятам?

К Виктору все сбегались часов около семи. Никто никого не организовывал, и хозяин никого не занимал. Кто-то сразу вис на телефоне, кто-то читал, кто-то ловил зарубежную станцию на довоенном приемнике. Костя пощипывал у гитары струны.

Через часок появлялась Зойка, вооруженная цитатами из Достоевского. Она любила быть в центре внимания. Все тесно усаживались на маленьком диванчике с высокой кожаной спинкой и круглыми откидными валиками.

Какие прекрасные мгновения духа! Мы почти никогда не ходили вместе в походы, не сидели с обалдевшими рожами среди незнакомых чужих родственников на днях рождения друг у друга, но эти минуты на диванчике давали нам с избытком ощущение полного доверия, честности и счастья.

Я затрудняюсь рассказать, о чем же было переговорено. Обо всем, что успел узнать пятнадцатилетний ум и схватить цепкая и жадная память. Все вместе мы умудрялись пропустить через наши «семинары» даже те проблемы, о которых наши сверстники вряд ли имели представления. Мы говорили о Достоевском, о Фрейде, о Винере, которого в наше время ругали, о художниках-абстракционистах, о художниках-реалистах, о романе Дудинцева «Не хлебом единым», о стихах Ахматовой, которые осуждались, но при этом читались наизусть. Какая-то прелестная чертовщина царил в этих разговорах. Мы с остервенением бились за выводы, которые тут же оказывались никому не нужными, и победитель в споре говорил побежденному: «Ты знаешь, я, кажется, был не прав». Мы все любили друг друга, никого не боялись и доверяли друг другу. У каждого из нас в семьях произошли таинственные истории, но они духовно не коснулись нас. Мы верили в символы и слова, о которых нам говорили в детстве, и чувствовали себя чистыми, а значит, и невиновными.

Мне было труднее всех в этой компании. За каждым стояли общепризнанные результаты, победы и достижения. Каждый мог бросить на стол эквивалент своего социального авторитета. Виктор свои грамоты, Юрка свой значок перворазрядника, Гарик мог тут же перевести статью из «Дейли уоркер», Костя меланхолически перебирать струны, жить в пятикомнатной квартире в высотном здании и никогда не говорить о своем отце, известном авиаконструкторе и лауреате многих премий — мы и так об этом знали. Чем мог я отплатить своим друзьям?

Иногда я отдавал им на растерзание какое-нибудь стихотворение.

Я выбирал конец вечера, когда споры уже утихли, и доставал из кармашка курточки лист бумаги с написанным стихом. Что-нибудь близкое нашим сегодняшним настроениям, с узнаваемыми деталями.

Ребята по своему складу были техниками, не гуманитариями и поэтому все, что связано со словом, воспринимали трепетно, как чудо.

Иногда я творил для них импровизацию. Это несложно, если делаешь это заинтересованно, по-настоящему. Ты настроиваешься как бы на определенный транс и бросаешь в воздух слова, связанные общей идеей. Главное здесь идея. Если, начиная импровизацию, ты знаешь, чем она закончится, веди себя смело. Мне это всегда было несложно.

Я читал свои импровизации обычно под конец вечера. Меня хвалили. Татьяна уходила за перегородку ставить чайник. Потом за перегородку уходил Костя Тихоненко, помогать Татьяне. В комнате мы продолжали спорить о наших проблемах, а из-за перегородки доносились позвякивание чашек и рокоток Костиного баска. О чем они с Татьяной всегда так долго и таинственно говорили? Но тогда мы не могли и подумать, что Татьяна, которая всех нас могла, давно старше нас. Мы и представить не могли, что у них вдвоем есть какие-то более глубокие и серьезные разговоры, в которых затрагиваются вопросы жизни и смерти этих двоих людей. Кто же мог знать, что сжигающий Костин взгляд означал боль не юношеской влюбленности, а любовь. Любовь до последнего предела...

Потом мы все пили чай, и после чаепития Татьяна пела. Это был первый замечательный женский голос, услышанный мною не по радио.

То было время безоговорочного царствования не волнах зфира песенки Герцога, арии Жермона, каватины Розины, арии Ленского, полонеза Огиньского, хора «Славься» и полонеза из «Ивана Сусанина». Прекрасные, но привычные места мировой культуры. Изредка в этот традиционный набор вклинивался дивный густой голос Надежды Андреевны Обуховой, и тут мы что-то узнавали не только о герцогских, но и о наших сердцах. А наши юные сердца так страдали от невысказанного, так ждали простых и теплых слов о наших жизнях, чтобы, вкладывая в песни свое значение и свою боль, объясниться с любимыми и с сегодняшним миром.

Татьяна брала у Кости гитару, закидывала ногу на ногу и, глядя ему в глаза, начинала «Калитку». «Лишь только вечер опустится синий»... Ее низкий, бесконечно женственный голос будто бы обращался к каждому из нас. Но Татьяна знала, на ком пытаться свою силу. Пела она всегда Косте.

Что же произошло потом у них? Может быть, Костя был с нею груб однажды? Или сделал ей предложение, и она отказала? Или Татьяна сказала, что не полюбит его никогда? Мы так и не узнали. Но однажды летом услышали трагическую весть: Костя Тихоненко застрелился из охотничьего ружья. Дома. В высотном здании.

После этого целый год Татьяна не пела.

Смерть мамы

Мама заболела перед моим отъездом в командировку в Америку. Сначала у нее был грипп, воспаление легких. Через день я звезжал к ней, ходил в магазин, заезжали жена, брат. Потом дело пошло на поправку, мама стала выходить, и в поликлинике ее послали на рентген.

Я проплакал всю ночь, когда привез домой ее большие снимки. Так случилось, что накануне про-

ездом в санаторий у нее остановился племянник из Владивостока. Он посмотрел снимки и первым сказал: «Плохо». До этого все врачи оставляли мне надежду: атеросклероз. Маленькое беленькое пятнышко почти посредине снимка. Его можно было закрыть десятикопеечной монетой.

— Готовься к самому тяжелому, Дима,— говорил мне двоюродный брат,— если это центральный рак, он неоперабельный, не поддается химиотерапии. Будь мужественным...

— Но, помилуй бог, Слава,— говорил я, в своей аргументации пытаюсь связать трагический жребий болезни с логикой,— помилуй бог, откуда у нее взяться раку? Ты знаешь маму, за всю жизнь она не выпила и двух рюмок вина, не выкурила и одной сигареты. У нас ни у кого в роду рака не было. Ни у кого. Посмотри, Слава, на снимки еще раз, все-таки это атеросклероз. Ты же все знаешь о маме. Посмотри на косвенные признаки, симптомы, анамнез. Было воспаление легких, два за зиму, обривалась спайка, склера. Будь логичен.

— Это очень похоже на склеру, Дима. Я вижу у тебя на столе и справочник практического врача и популярную медицинскую энциклопедию. Ты хорошо, Дима, ко всему подготовился. Я тоже надеюсь, что это атеросклероз, но, думаю, это рак.

Я плакал всю ночь. Слава лежал на раскладушке в большой комнате, а я на диване. Мы погасили свет. Сознание судорожно прокручивало аргументы, подтасовывая желаемое решение: ну, есть слабость, ну, есть на рентгеновском снимке пятнышко неясной этиологии, но ведь мама ест мясо, черный хлеб, все делает по хозяйству — при раке у больного, говорят, бывает отвращение к мясу. Я вспоминал болезни всех родственников, линии наследственности маминных братьев и сестер. Все были сердечники, гипертоники.

Изредка за стеной у соседей слышался бой часов. Слава окликал меня:

— Ты спишь, Дима?

— Нет, не сплю.

— Ну, давай покурим.

В темноте мерцал уголек сигареты.

Видимо, мама чувствовала, что мы не спим. За тонкой перегородкой раздался щелчок: она зажгла свет, смотрела время, потом снова щелчок — гасила лампу.

В шесть часов я поднял задремавшего Славу. Он не стал завтракать, не стал прощаться с мамой, а на цыпочках прокрался в прихожую. Я открыл дверь. Он обнял меня и шепотом сказал: «До свидания, Дима. Будь мужчиной и будь мужественным. Не плачь. Береги себя. Тебе еще много придется испытать».

И я все-таки не поверил брату. Через несколько дней благодаря приятелю я устроил маму в клинику большого научного института. Я наивно думал, что энергия, приложенные усилия не должны пропасть зря: «лучшие» врачи, «лучшее» питание могут победить болезнь. И я надеялся на другой диагноз.

Я переволновался в день, когда маме делали бронхоскопию. В общем-то не очень трудное исследование, когда под наркозом больному вводят через горло особую подвижную трубку и через нее осматривают пораженный участок. Я представлял, как мама, собрав все свое мужество, идет через коридоры института, ждет своей очереди у кабинета, думает о том, чтобы это началось скорее и скорее закончилось, и одновременно мечтает отдалить этот миг. Совсем уже, в общем, немолодая женщина. Какие мысли, какие жуткие мысли проносились

у нее в сознании! Господи, что же крылось в этот момент за ее высоким, белым, почти без морщин лбом?

Уже позже я узнал, что мама отказалась от последнего, решающего этапа исследований.

Я сидел возле ее кровати в огромной общей палате и уговаривал ее. Она была слаба, но, как всегда, не показывала своего реального состояния. Она никогда не размягчалась. Просила подождать меня в коридоре и не входить, пока не причешется и не подкрасит губы. Лежала всегда в отглаженной кофточке. И, как всегда, пользовалась какой-то мистической властью над палатой, над окружающими.

— Ну, почему ты, мама, не хочешь делать эту чертову бронхографию?

Она улыбнулась. Взяла меня за руку, и в глазах у нее даже блеснула веселая искра.

— Я старая женщина. Хватит мне мучиться. Я в этих процедурах растеряю всю свою красоту. Нет у меня рака. Нет. И я убедилась: вот вчера съела сосиску, а сегодня женщины угостили меня селедкой, и врачи мне совершенно определенно заявили: нет у меня, дурачок, рака.

В больнице мама научилась вязать какие-то невысказанной тонкости платки. Возле нее на тумбочке лежали спицы с начатой на них кромочкой. Мама взглянула на свое рукоделие и сказала:

— И вообще, надоело мне видеть твоё постное лицо, сынок. Отправляйся-ка в командировку в свою Америку. Ты здесь и себе портишь настроение, куксишься, и мне. Езжай спокойно. А когда вернешься, я уже платок для твоей жены свяжу.

Прежде чем все же согласиться на эту командировку, я поговорил с врачом, делавшим исследование. Молодая женщина сказала мне, что, по ее мнению, в легких была определенная картина атеросклероза, но все же ей показалось, что бронхографию, подтверждающую окончательный диагноз, необходимо провести.

Мама была категорически против. Уже после ее смерти мне рассказал мой приятель-врач, через которого я и устроил маму в институт, что он часто заходил к ней в палату и они подолгу разговаривали. Ему мама призналась: «Я знаю, что Дима очень хотел побывать в Америке. А если результаты исследования оказались бы неблагоприятными или просто сомнительными, он бы не поехал. Он бы не поехал, я его знаю...»

Мне она в тот день сказала:

— Езжай спокойно! Ничего со мной страшного нет, а если бы и было, я даю слово, до твоего возвращения я не умру. Езжай спокойно в свою Америку, северную и южную. Твоя печальная рожа, — мама улыбнулась, — уже очень немолодая, но на которой с детства все было всегда видно, твоя дорогая, но немолодая рожа, сынок, мне уже надоела, она меня расстраивает, огорчает, езжай и скорей возвращайся, нам еще о многом надо сказать друг другу и многое сделать.

...Что меня таскает по всему миру? Жадность глаз, которая повелевает запечатлеть на сетчатке весь огромный божий мир? Да ведь мне уже легче сказать, где я не был, чем где я был! Ну не был в этой чертовой Америке, и черт с ней! Убедит ли меня от этого? Чего я ищу в этих передвижениях? На какой вопрос пытаюсь дать себе ответ? Ведь я уже знаю все эти ответы. Работать, работать, работать и чувствовать себя малой частичкой большого целого, которое называется Родиной. И притом любопытство, поиск новых обертонов, уточнений этому решению. Поиск нитей, протянутых искони, со дна минувших веков и культур.

Обходятся же все малым простым знанием о своем доме, соседях, ценах на рынке. Что из того, что я, задыхаясь в разреженном высокогорном воздухе, три квартала протащился от гостиницы в Куско, когда-то древней, а теперь выжженной дотла столицы сгинувших со света инков, чтобы поставить штемпель на только что вышедшую в Москве книгу «История древних инков». Книгу, изданную в Москве! Какое-нибудь ликование вызвало это на почтамте? Сухое равнодушие, отсутствие любопытства. Дескать, шальная прихоть туриста... А в центральном парке Нью-Йорка на озере плавали утки... Вот ступеньки лестницы Музея этнографии, на которой Холден Колфилд, герой Элинджера, встретил свою сестренку Фиби. Герои французской, немецкой, английской, японской, американской литературы — они же сроднились с нами, стали составными нашего духовного мира. Может быть, мы ездим на свидание к родственникам? Вот они, эти ступеньки... Ну и что?.. Передо мною центральный парк, в котором плавают утки...

Во время своего пребывания в Нью-Йорке я думал о маме. Вспоминал, как вместе с ней были в эвакуации в ее родной деревне. Ведь до сих пор в моем сознании картины зимы, осени, весны, лета — все из детства. Все помню. Как вместе с мамой дергали на поле жнивьё для топки. Помню, как мама умело ворочала в русской печи чугунами, мыла меня в ней, как вместе с нею мы зимой ехали в санях, и мама сама, оказывается, могла, ни разу не ошибась в сложной сбруе, запряхивала лошадей. И как умела она разговаривать с людьми! С писателями, артистами, учеными. Когда эти люди попадали в наш дом, то охотнее они говорили с мамой, нежели между собой: она всегда была приветлива, в меру откровенна, тактична и обладала редкой самостоятельностью мышления. Какой удивительный универсализм был заложен в ее характере. Я всегда подозревал, что мое знание людей, умение «выгнать» в них главное, основное — это от нее. От нее были взгляд на мир, многие мои сюжеты, мои герои. Я ведь думал, что еще много лет буду с нею, буду расти и совершенствоваться рядом с нею. О, эта вечная загадка жизни и смерти! Как велик умный и достойный человек своим опытом. Сколько много мог бы человек узнать в бессмертии. Боги, наверное, и стали богами потому, что они были бессмертны. И как неискупим грех живых перед мертвыми!

Я ездил на Очер-стрит — Орхидею улицу — в Нью-Йорке, улицу мелких лавочек и недорогих магазинов, покупал маме подарки. В этом было какое-то искупление, стремление задобрить судьбу, принести ей жертву.

Горькие мысли приходили мне в голову. Ну почему же я так мало сделал для мамы? Все ли сделал? Она уже никогда не увидит бетона и стекла небоскребов, о которых читала двум молодым военным ранним утром тридцать пять лет назад. Я мечтал отправить маму хотя бы в Болгарию. Ну разве так уж трудно было это сделать? Надо было как следует потопать, посуетиться. Посмотрела бы старушка сказочное награждение современных зданий на Золотом берегу, взглянула на зеленую ласковую Софию, свозили бы мои друзья ее на Витошу, в маленькое кафе. Поела бы она там шопского салата, острейших кебабчатых, выпила бы глоточек какого-нибудь экзотического болгарского вина, — а сколько разговоров дома, среди родственников, у соседей! И это оказалось только мечтой, только моей фантазией, нереализованной возможностью. Мог бы хоть в Таллин с нею съездить, показал бы город, сводил в музей, послушали бы с

нею музыку. Разве мне было это трудно? Надо было найти три дня на эту поездку. Оторвать от личных, якобы обязательных дел. Эх, мама, мама, как ты была права: «Когда меня не будет, будешь кусать себе локти».

Мы готовы жертвовать своими деньгами, вещами, но не своим временем, не своей личной жизнью. Времени у нас, своей собственной ласки, собственного внимания не хватает для близких. Два раза только отправлял маму в санаторий. Хороший. Дорогой. Истратил кучу денег. Но ведь сослал. Одну. Надолго. Далеко. Проводил с цветами, встретил с цветами. Но ведь целый месяц ключи от ее квартиры побрякивали у меня в кармане... Вот тебе и любящий бескорыстный сын!

...Мама все успела сделать до своей смерти. Сразу после моего возвращения диагноз мамы обнажился. Стало ясно, что надежды нет, и мама это, конечно, понимала. Я еще предпринимал последние попытки, метался между медицинскими светилами и легендарными знахарями, надеялся на чудо, а мама, которая уже не вставала с постели, методически и настойчиво проводила свою линию: «Ты должен свою квартиру отдать брату,— говорила она,— и съехаться со мною». «Мама,— говорил я,— пока ты больна, зачем заниматься этими проектами?» «Я знаю, что я говорю. Я должна быть спокойна. Я должна при жизни сделать для вас все, что могу».

И как часто мы с женой в нашей квартире вспоминаем сейчас ее! Видимо, она действительно понимала, что нам надо, лучше нас...

...Мама умерла ночью. В квартире мы были лишь вдвоем с братом. За час перед смертью она сказала мне: «Сожжешь все письма твоего отца ко мне. Они лежат в трельяже, перевязанные красной лентой. Не удивляйся— их много, он мне до сих пор пишет каждую неделю. Письма за сорок седьмой год можешь прочесть. Прощай, Дима, будь честным и добрым мальчиком».

Она лежала на большом дубовом столе с резными ножками, который переезжал с нами с квартиры на квартиру,— на столе, за которым мы пировали, когда я окончил университет, когда женился на Марине, когда выпустил первую книгу. Боже мой, как было сильно отчаяние! Утром пришел отец и долго, безутешно плакал. «Мама умерла, мама умерла»,— приговаривал он, и слезы текли по его уже старому лицу. Он сидел возле нее, положив на край стола руки, в парадном полковничьем кителе, при всех орденах, и его слезы, слезы много повидавшего в жизни, но не ожесточившегося человека падали на белую простыню. И в этот момент, плача вместе с ним, я так любил его... и понимал, что всю жизнь был не прав, вторгаясь со своими детскими представлениями и нетерпимостью в серьезную и трудную жизнь взрослых. И обнимая старого и плачущего отца, я впервые подумал: детство, юность, даже средние, самые спокойные годы окончились. Дальше уже не к кому прийти, чтобы тебя поняли, простили и защитили. Ты один и привыкай по-настоящему отвечать за себя и за тех, кто рядом с тобой. Ты уже безнадежно и безвозвратно взрослый...



МАРИНА МАКСИМИК

15 лет. Школьница.
Живет в г. Дрогобыче.



☆☆☆

Я живу! Ты слышишь, ветер!
Освежи мой долгий путь.
Что-то значу я на свете!
Счастье— значить что-нибудь.

☆☆☆

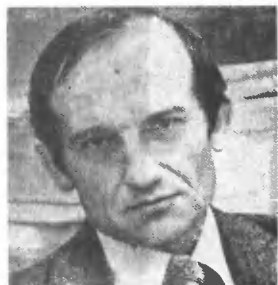
Все равнодушной прохожу у магазина
«Детский мир».
Гляжу бесстрастно на мячи, на все цвета.
За переключной сидит
все тот же ласковый кассир,
Вокруг все то же, только я совсем не та.
С витрины тихо, как всегда,
игрушки детства моего
С улыбкой смотрят на резвящихся детей.
Незнайке в шляпе голубой, медведь, царевна
и енот —
Кумиры всех моих безоблачных страстей.
Мне зайчик лапою махнул. Прощай, енот,
прощай, дружок!
Глядите грустно на меня из-за стекла.
Вокруг все то же, все, как встарь,
и тут, как прежде, хорошо.
Осталось детство здесь, а я совсем ушла.

☆☆☆

По карнизу гули, гули
Ходят гули-голуби,
Полушелки натянули от ночного холода.
И несется утром рано,
Пляшет и волнуется
Озорное воркованье над моею улицей.
Солнце ясное восходит
Девницей-невестою,
В синем небе хороводят голуби белесые.
По карнизу гули, гули
Ходят гули-голуби,
Полушелки натянули от ночного холода.

Птенец

В ладонях у меня комочек перьевой
Боюсь вздохнуть, боюсь пошевелиться.
С отчаянной мольбой встревоженная птица
Кружится над моею головой.
Метнулась в небеса ветвей густая сеть —
Чего-то испугались наши ивы.
А он мизинец мой исследует наивно,
Скворчонок, попытавшийся взлететь.



ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ

☆☆☆

И засмеялся он. И вдруг
увидел крылья вместо рук.
Взмахнул и в воздухе повис.
Внизу с рогатками друзья...
Он крикнул: — Что, достать нельзя! —
И под собой услышал визг.
Двор с лопухами накренился.
И что-то острое вошло
Как раз под левое крыло.
И на дрова летун свалился.
И кинулись друзья к нему.
— Ты не ушибся!

— Не разбился!

— И ни к чему! И ни к чему!
Они бегут, бегут, бегут.
А двор все шире, шире, шире.
И голоса зовут, зовут
Уже в необозримом мире.

Подросток

От почты иду к Днепру.
Долго стою на ветру.
Пахнет вином овраг.
Хлопает мокрый флаг.
Иду от Днепра до почты.
Холодно. Пусто. Май.
Обратно иду от почты,
Неба горелый край...
Куда идти! Кого полюбить!
Эх, высокая дрожь!
Крикну: — Дай закурить...
Вздвигнув, ты обойдешь.
Иду от Днепра до почты.
От почты иду к Днепру.
Скучно стоять на ветру.
Иду от Днепра до почты.
Ночь. Я один. Темно.
Хочется камень в окно
Кинуть и убежать...
Или весь мир обнять!

☆☆☆

Летом здесь птица пела.
Руку сунул в дупло,—
осталось ее тепло...
Только что упетела!

Брет! Где с тобой стоим,
злые после раздора,—
воздух остынет скоро,
и растворится дым...

Разве сюда вернемся!
Делим. Таим. Трясемся.
Просим. Берем. Хватаем.
Тута! — все оставляем.

Туточки! — все кубышки.
Туточки! — все излишки.
Таёт холодный дым,
брат, где с тобой стоим.

☆☆☆

В серой пыли ракиты.
Треск барабана... Зной.
В ногу шагает
сытый
детского дома строй.

Веселый у них поход!
А над равниной вод
чибис летит плаксивый
с криками: «Чьи вы! Чьи вы...»

☆☆☆

Продрогну в кустах от росы
и гляну в хоподное небо.
Там светятся Гончие Псы,
мерцает какая-то Вега...

Там дохлого кустика нет,
где хоть бы росли мухоморы!
— Эй,— крикну...

И голых планет
укопят равнинные взоры:

Пылят их остывшие мощи.
И светит не Землю Луна,
как смотрит больной из окна
в поля и зепеные рощи...

☆☆☆

Там, где моя зеленая могила,
вторую дату я не разглядел...
Худой старик на лавочке сидел.
Рука повисла, и набухла жила.
То был мой брат.

— Мой одинокий брат.

Последний вздох фамильного забвенья.
У нас живые мертвым говорят
слова особо тайного значенья.
Я в двух шагах невидимый стоял.
И брат шепнул:

— Ты спрятался, я знаю.

Ты от меня и раньше убегал.
Но я тебя люблю и все прощаю...

☆☆☆

Уходит последний паром.
Канат потонул золотой.
А солище уже за Днепром.
И ночь у меня за спиной.

Да разве же мне привыкать
ее под кустом коротать?
С чего же я так загрустил!
Я все до конца им простил...

Окликивать я их не могу.
Там женщины, кони, трава...
Стою на пустом берегу.
И холод ползет в рукава.

Черно-белое стадо

Солнце за лес упало.
Погасла в песке сплота.
— Ой! Погляди туда.
Черных коров не стало.

— Тише! И вправду, ой...
Белые все пасутся.
А черных нет ни одной.—
Два пастушка трясутся.

— Что ты дрожишь, Иван!
— От холод-дного молоко-ка.
— Сено подсунь в бока.
— Глянь-ка, уже т-т-туман.

А туман как нагрянет,
белых коров не станет.
А как солнце взойдет,
вместе всех соберет!

☆☆☆

Желтеет мокрая дорога.
В полях сквозит,
как из трубы.
Там одинокая сорока
меняет грустные столбы.

Идут из школы две подружки.
Озябли.
Впереди зима.
Прошли... И кажется с холма —
вдали плетутся две старушки...

☆☆☆

Что мне баба сказала с телеги!
Негде волю такую найти,
чтоб спросонок в дрожащие веки
срам вчерашнего дня не впустить.

Буйно хлопают ставни в ненастье,
Митингует рябинами бор.
Было счастье —
проснешься от счастья.
Был позор — и разбудит позор.

Гомель

Слепой туман.
Плывут плоты по Сожу.
И вдруг на мель налез передний плот.
Все проклинаят заспанную рожу.
А тот плывущим позади орет:
— Эй, ого-го-мель!

Эй, ого-го-мель!..» —
плоты трещат, как льдины в ледоход.

Поселок виден. Вот тебе и Гомель!
Прилипло слово.
Дальше лес плывет.
Дымят костры. Бурлит кулеш пахучий.
Плывут стога и меловые кручи.
Уже вода настолько глубока,
что шест с рукой уходит в облака!
Найдешь ветлу дуплистую у Сожа.
Там голоса забытые живут.
И твой остался, заспанная рожка.
Эй, ого-го-мель!

А плоты плывут...

☆☆☆

Какая сила тянет нас
к ночному зареву пожара!
Мы от горящего амбара,
как дети, не отводим глаз.
Горит амбар или скирда.
Озарены поля, могилы...
Из темноты глядим туда,
и оторваться нету силы.

☆☆☆

— Почему ты, ворон, черный! —
я у ворона спросил.
— Чтобы воздух этот синий
благодарней ты люби! —
Почему ты, ворон, вечно
возле кладбища живешь!
— Чтоб не очень одиноким
был и ты, когда умрешь.

Вдвоем

1

В канаве замерзла вода.
Не может напиться собака.
Скулит из осеннего мрака.
Идут на меня ходода!
И светятся угли в золе,
как город далекий во мгле...

2

Когда ночной костер гудит,
я знаю все, чего не знаю!
Звезду, березу понимаю.
Вот я собаку обнимаю.
Так на меня она глядит,
что вот сейчас — заговорит!
А я завою и залаю.

☆☆☆

Уезжаю на целое лето.
— Стой! — я дверь не закрыл.
Возвращаюсь. Дурная примета.
Дверь закрыта моя.
Дверь закрыта. А где сигарета!
— Стой! — я в доме ее позабыл.
Дверь открыл. Огляделся.
В горле холод тревожный такой,
словно снега наелся
и запил родниковой водой.
Все погашено! Все перекрыто!
Сигарета нигде не забыта.
Только угол газеты белеет.
Что ж так горло мое леденеет!



Проза

АГОНИЯ



НИКОЛАЙ ЛЕОНОВ



Глава I СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ

Начался сентябрь, но солнце палило нещадно, и Москва походила на Ялту в июле. На бульварном кольце деревья опустили пожухлые листья, пыль покрывала тротуары и булыжные мостовые. Люди старались не выходить на улицу и, затаившись в квартирах и учреждениях, бес- сильно обмахивались газетами и безрассудно пили теп- лую воду. Редкие прохожие перебежали залитую солн- цем улицу, будто она простреливалась, жались к сте- нам в поисках тени. Извозчики дремали в пролетках, лошади, широ- ко расставив ноги, спали, не в силах взмахнуть хвостами и про- гнать ленивых мух. Даже совбур, которому в эти годы нэпа надо было ловить счастливые мгновения, откладывал дела на вечер и ночь, а днем отсыпался.

Около трех часов, когда асфальт начал плавиться, а тени съежи- лись, в городе появился ветерок. Порой останавливаясь в нереши- тельности, он прошелся по городу, шмыгнул в подворотни, затаился, выскочил уже уверенный и нахальный, бумажно зашелестел листвою деревьев, на круглых тумбах дернул заскорузлые афиши и погнал по мостовой застоявшуюся пыль.

В это время по безлюдному переулку тяжело шагали трое муж- чин. Двое шли рядом, прижимаясь плечами друг к другу, третий, в промокшей от пота гимнастерке, с раскаленной кобурой на боку, держался на шаг позади. Идущие под руку выглядели странно: один в скромной пиджачной паре, в сапогах с обрезанными голенищами; второй во фраке и крахмальной манишке, в лакированных штибле- тах. Первый был смуглолиц, волосы короткие, черные и блестящие, скулы широкие, глаза под густыми бровями чуть раскосые, и не бы- ло ничего удивительного в том, что он носил кличку Хан. Его спут- ник казался моложе, хотя они были одногодки — ровесники века, то- же выше среднего роста, так же сух, жилист и широкоплеч, но бело- брыс и голубоглаз, с девичьим, даже сквозь пыль проступающим ру- мянцем. И кличку его — Сынок — придумал человек не очень ост- роумный.

— Что решил? — спросил он, облизнув рассеченную губу.

— На мокрое не пойду, — выдохнул Хан, глядя под ноги, словно потерял что-то.

— На своих двоих в академию, к дяде на поруки? — Сынок посмот- рел на выцветшее небо, по которому на город напознала брюхатая туча.

— У него же власть на боку, — имея в виду наган конвоира, отве- тил Хан. — Подзови его.

— Начальник, дай огоньку.

— Почему не дать? — Советуясь сам с собой, конвоир пожал пле- чами, похлопал по карманам, достал коробок.

Сынок нагнулся, прикуривая, шагнул вправо и ударил конвойного хлестко, словно циркнул кулаком по подбородку. Тот взглянул недо- умленно, опустил на колени, затем безвольно свалился на бок.

Сынок и Хан, тесно прижимаясь друг к другу, бросились в проход- ной двор, и в переулке стало пусто, лишь конвойный лежал, будто пьяный, и ветер припорашивал его пылью. Туча ползла; погромыхи- вая, несла с собой тьму, как бы пытаясь скрыть происшедшее в пе- реулке. Капли ударили по мостовой. Конвойный сел, держась за го- лову, поднялся с трудом, оглянулся.

Рисунки
П. Караченцова.

Когда туча накрыла город, ветер притих. Дождь упал отвесный, прямой, мгновенно вымыл окна, ручейками ринулся вдоль тротуаров, все шире разливаясь по мостовым. Туча, обрушившая потоп на Трубную, шла откуда-то с улицы Воровского. Здесь, у аристократических особняков, воды было еще не много, она медленно наплывала на Арбатскую площадь и дальше направлялась по линии трамвая «А», который москвичи звали «Аннушкой». У Никитских ворот образовалось целое озеро. Ливень шумел и над памятником Пушкину, что стоял на Тверском, захватил Страстную площадь и Страстной бульвар. Часть воды уходила направо по Тверской улице, а основной поток продолжал бег по трамвайным рельсам, пересекал Петровку и выливался на Трубную площадь.

— И настал конец света, — сказал Сынок философски, глядя на затопленный до подножки трамвай и накренившуюся и готовую вот-вот упасть афишную тумбу.

Беглецы сидели в небольшой закуской, двери которой распахнул нэп. Обычно полупустая, сейчас она была набита мокрой и шумной публикой. Люди, ничего не евшие в жару, жадно уничтожали сосиски и пиво. Хан и Сынок, попавшие сюда одними из первых, оказались зажатыми в самый дальний угол, у окна. Было душно и сыро, как в предбаннике, никто не обращал внимания на фрак Сынка и обтрепанный пиджачок его соседа. Правая рука одного была пристегнута к левой руке другого стальными наручниками. Скованные руки беглецы, естественно, держали под столом, Хан смотрел на окружающих угрюмо и настороженно, Сынок же, улыбаясь, зыркал голубыми глазами и по-детски шмыгал носом.

— Тебя как звать-то? — Он весело ткнул своей кружкой в кружку соседа. — Мы ведь теперь братья, даже ближе. — Сынок дернул под столом рукой, натянул цепь.

— Хан.

— Батый? — Сынок подмигнул. — Видать, что ты кому-то из татарской орды родственничек. Видать, твоя какая-то прабабка приглянулась татарину. — Он говорил быстро, блестя белыми зубами, глаза его, только что наивные и дурашливые, изучали соседа внимательно, чуть ли не царапали. Сынок неожиданно отставил кружку, распахнул Хану ворот рубашки, вытащил крестик на цепочке. — Хан, Хан, — повторил он, — а крестили как?

— Степаном. — Хан медленно улыбнулся, и лицо его просветлело, на щеке образовалась ямочка.

— А меня Николаем окрестили, среди своих Сыном кличут, — радостно сообщил Сынок, однако взгляда цепкого не опускал, разглядывал Степана и был осмотром явно недоволен. — Значит, Степан и Николай. Два брата-акробата. Тебя, что же, Степа, взяли от сохи на время?

— Что?

— По-свойски не кумекаешь? Я спрашиваю: мол, случайно погорел, не деловой? — Сынок выпил пиво, отставил пустую кружку.

Хан не ответил, лишь плечами пожал, разгрыз сушку, тоже допил пиво и спросил:

— Как расплачиваться будем? У меня в участке последний целковый отобрал.

— Это беда, так беда. — Сынок взял со стола вилку и сказал: — Придержи полу клифта. — И подпавывая полу, говорил: — Последнее только ты, Хан, от широты души отдать можешь. — Он справился с подкладкой и положил на стол два червонца — деньги по тем временам солидные. — А вот как мы браслетики сымем?

Хан осматривал вилку.

— Помоги, деловой.

Сынок держал вилку, а Хан начал откручивать у нее зубец, именно откручивать, будто тот и не был железным.

— Пальчики у тебя вроде стальные, — наблюдая за манипуляциями Хана, восхищенно сказал Сынок.

— Соху потаскаешь — обвыкнешься. — Хан отломал зубец и согнул об стол в крючок, затем опустил руку под стол и вставил крючок в замок наручника.

Глядя в потолок и шевеля губами, словно читая там какие-то заклинания, Хан через несколько минут вздохнул облегченно и положил на стол свободные руки.

Дождь кончился, разъяснило. Публика потянулась к дверям, некоторые разувались, подворачивали брюки. Хан поднялся, взял со стола червонец, другой подвинул Сынку и сказал:

— Бывай. — И шагнул к выходу. Сынок уцепился за его рукав:

— А я? Кореша бросаешь, подлюга? — Он брякнул цепью наручника, который охватывал его руку.

— Сунь в карман и топай себе — дружки тебе бранзулетку снимут, — безразлично ответил Хан. — Ты деловой, а я от сохи, нам не по дороге.

— Тебе лучше остаться, — медленно растягивая слова, сказал Сынок.

— Не пугай. — Хан улыбнулся, лицо его вновь просветлело, но глаза были нехороши, смотрели равнодушно.

Сынок его отпустил, взял со стола крючок, сделанный из вилки.

— Я к тебе предложение имею. Сядь. — Сынок ударил кружкой по столу. Когда мальчишка-половой подбежал, сказал: — Подотри, байстрюк, принеси что там из отравы имеется.

Мальчишка фартуком вытер осклизлый стол, схватил пустые кружки и исчез. Хан забрал крючок, опустил руки под стол, звякнул металлом и положил наручники Сынку на колени.

— Прибереги на память, деловой.

— Ты памятливей. — Сынок спрятал наручники в карман. — Не простой ты, мальчонка, совсем не простой. — Он рассмеялся.

Хан тоже улыбнулся.

— Простых либо схоронили, либо посадили. — Он замолчал, так как подошел хозяин заведения, который, поклонившись, спросил:

— Желаете покушать, господа хорошие? У нас не ресторация, но по-домашнему накормим отлично-с. Закусочная опустела, лишь за столиком у двери пил пиво какой-то оборванец. Фрак Сынка внушал хозяйчику уважение, и он смотрел на молодого человека подобострастно.

— Колбаса изготовлена по специальному рецепту, можно с лучком пожарить, грибочки, огурчики из подпола достанем-с...

— Смирновская имеется? — перебил Сынок и, поняв, что имеется, продолжал: — Корми, недорезанный. — Он рассмеялся собственной остроте. — Да не обижайся, мы с тобой элемент чуждый, на свободе временно. Вот кучера своего встретил. — Сынок указал на Хана. — Раньше-то он дальше кухни шагнуть не смел, теперь за одним столом сидим. Мы сейчас все у общего корыта, все равны.

Хозяин склонился еще ниже и доверительно зашептал:

— Этого, простите, никогда не будет. Можно у одного отнять, другому отдать. Так все равно-с, простите, один будет бедный, другой богатый.

Николай-Сынок взглянул на хозяйчика лукаво.

— А если поделить?

— На всех не хватит,—убежденно ответил хозяин.— Больно человек жаден, ему очень много нужно.— И развел руками, показывая, как много нужно жадному человеку.

Хан, сидевший все это время неподвижно, посмотрел на хозяина недобро, покосился на Сынка.

— Так что, барин, есть будем или разговаривать?

— Ишь,—Сынок покачал головой,—пролетариат свой кусок требует. Неси, любезный, и...— Он кивнул в сторону двери, у которой сидел оборванец.— Не сочти за труд.

— Сей минут, в лучшем виде!—Хозяинчик поклонился, подбежал к оборванцу, зашептал сердито.

Оборванец поддернул штаны, смачно сплюнул и, нахвистывая, вышел на улицу. Он задержался у стоявшего неподалеку от закусочной извозчика.

— Эх, ямщик, гони-ка к Яру!

Извозчик взглянул на рвущую тельняшку, чумазов лицо и нечесанные волосы и отвернулся.

— Я ушел, и мои плечики скрылись в какой-то тьме. Счастье свое не проспи, ямщик!—Оборванец вновь поддернул штаны и направился в сторону Тверской, свернул в Гнездиковский, вошел в здание Московского уголовного розыска, который большая часть москвичей называла МУРом, а меньшая часть — «конторой». Здесь оборванец заглянул в один из кабинетов, где за огромным столом, покрытым зеленым некогда сукном, сидел солидный пожилой мужчина в пенсне.

— Разрешите войти, товарищ субинспектор?—Оборванец щелкнул каблукками.

— Вы уже вошли, Пигалев.—Мелентьев снял пенсне и начал протирать его белоснежным платком.

Агент третьего класса Семен Пигалев работал в уголовном розыске пятый месяц и мог быть самым счастливым человеком на свете, если бы не фамилия.

Субинспектор Мелентьев же никогда не позволял себе шуток по этому поводу и произносил фамилию Семена уважительно. И хотя, по мнению Пигалева, дед (Мелентьеву весной исполнилось пятьдесят) был чужд классовой борьбы, Семен взглянул на него с благодарностью и доложил:

— Объекты,—Пигалева было хлебом не корми, дай ввернуть ученое слово,—ушли от конвоя, дождь переждали в закусочной на Трубной. Я оставил там Серегу Ткачева, велел глаз не спускать.

Мелентьев и бровью не повел, хотя знал, что кучером в пролетке сидел агент первого класса, работающий в угро шестой тод и не в пример Пигалеву человек опытный.

— Благодарю вас. Приведите себя в порядок и доложите Воронцову.

— Слушаюсь.—Пигалев распахнул дверь и чуть не столкнулся с входящим в кабинет сотрудником, который в форме рядового милиционера час назад конвоировал Сынка и Хана.

— Как здоровье, Василий?—с издевкой шепнул Пигалев.—Головушка бо-бо?

Василий Черняк, с выправкой кадрового военного, перетянутый ремнями, с влажными после дождя волосами, взглянул на Пигалева недоумленно и развел руками, как бы говоря: совсем обнаглел, братец. Семен понял товарища и поспешил убраться, а Черняк, плотно прикрыв дверь, сказал возмущенно:

— Мы так не договаривались, Иван Иванович! Я боевой командир Красной Армии, имею орден! Мелентьев надел сверкающее пенсне, оттянул пальцем крахмальный воротничок и вздохнул.

— У меня сын недавно родился.—Черняк осторожно дотронулся ладонями до головы, казалось, он сейчас ее снимет и поставит перед субинспек-

тором как вещественное доказательство творящихся безобразий.—Сын, Иван Иванович. Он маленький, ему отец нужен.

— И чем же это вас?—поинтересовался Мелентьев. Пенсне надежно скрывало его смеющиеся глаза, а тон был участлив безукоризненно.

— Чем, чем,—смутился Черняк,—кулаком. Меня в девятнадцатом один беляк рукояткой нагана шарахнул, я качнулся—и только... А тут...

— Так-с.—Мелентьев смотрел испытующе.—Значит, вас сбили с ног, и преступники скрылись?

— Вы сказали, в случае побега стрелять только в воздух, что бить будут, разговора не было.—Черняк хотел покачать головой, но не решился, в виске его тихонечко покачивало.

— Упустили, значит... Случается. На первый раз оставим без последствий. Надеюсь, в дальнейшем, Василий Петрович...

Черняк медленно поднялся, дважды открыл и закрыл рот, наконец, поборов обиду, сказал:

— Что же это? Как же такое получается? Нет,—он прижал руки к груди,—вы не говорили, что побег будет точно, но я так понял.

— И совершенно напрасно, уважаемый Василий Петрович.—Мелентьев встал и вышел из-за стола, намекая, что разговор окончен.—Мы не для того задерживаем преступников, чтобы вы их отпускали.

— Бросьте.—Черняк махнул рукой и сел на стуле удобнее.—А чего это меня в конвойные определили? И Сенька Пигалев, что вышел от вас, вчера мне калякал... который из беглецов наш-то?

— Товарищ Черняк...—прервал его Мелентьев. Он прошелся по кабинету, остановился около Черняка и молча на него смотрел до тех пор, пока молодой сотрудник не догадался встать. «Который из беглецов наш-то?»—вспомнил Мелентьев, и ворот крахмальной рубашки стал ему тесен. Раньше, в сыском, не то что такой вопрос задать, даже намякнуть начальству—мол, догадываюсь кое о чем—никто не посмел бы. Мелентьев взглянул на безразлично стоявшего Черняка, отпустил его и позвонил заместителю начальника «отдела б/б» — так сокращенно называли в МУРе отдел по борьбе с бандитизмом — Воронцову.

Начальник Мелентьева Воронцов был из матросов, работал в уголовном розыске с двадцатого года, Мелентьев же, хотя именовался «суб» (младший), занимался сыском уже четверть века, и Воронцов этого факта пока не забывал. Он учился у опытного сыщика азбуке розыска дела, порой был ему лучшим другом; когда происходил очередной конфликт, бывший матрос пытался с Мелентьевым не встречаться и не разговаривал с ним неделями. Затем все возвращалось на круги своя, и Воронцов прятался от подчиненных и начальников в этом кабинете, слушал, как субинспектор ведет допрос или просто беседует по душам с каким-нибудь старым уголовником. Мелентьев относился к Воронцову ровно, в периоды дружбы чуть иронически, во время ссор подчеркнуто официально.

Из Ленинграда в МУР поступили данные, что в Москве в ближайшие дни готовится ограбление банка и подозреваются в организации преступления рецидивист-медвежатник по кличке Корень.

Когда уточнялись детали предстоящей операции, Воронцов с Мелентьевым во мнениях не сошлись, бывший матрос кричал, а бывший царский сыщик, как обычно, молча смотрел в окно.

— Где готовится ограбление? Когда?—выложив Мелентьеву суть вопроса, спросил Воронцов.—Ты, субинспектор, главная наша мозга, думай.

— Ввести сотрудника в уголовную среду,—ответил Мелентьев.—Попросить человека из Питера,

чтобы его наша клиентура не знала, легендировать и ввести в среду. Надо искать Корня. Я его знаю, серьезный гражданин.

— В Питер я даже обращаться не буду. Стыдно! — Воронцов погрозил пальцем, потом загнул его, так она была его обычная манера счета. — Кто такой Корень? Где его искать? — Он загнул еще два пальца, затем распрямил пятерню, хлопнул по ней другой и начал потирать руки. Все это означало, что счет Воронцов окончил.

Константин Николаевич Воронцов был роста среднего, в плечах невелик, но фигурой крепок, волосы стриг коротко, был ширококул и сероглаз, нос у него торчал бульбочкой. Одевался Воронцов просто: швиотовый костюм неопределенного возраста, рубашка маркизетовая, из-под которой даже в немилую жару выглядывала тельняшка, брюки заправлял в сапоги, и походил заместитель начальника отдела МУРа на уголовного средней руки. Воронцов за двадцать пять лет сумел окончить семь классов гимназии, получить контузию, один орден, три ранения; был от природы упрям, стеснителен и влюбчив, прожив четверть века, стал неразумно смел, в меру умен и неприлично честен. О всех перечисленных качествах своего начальника субинспектор Мелентьев прекрасно знал, и если Воронцов от стеснительности хамил, терпел, а когда при встречах с машинисткой отдела Зиночкой он краснел, старый сыщик снимал пенсне, протирал его тщательно.

Пять лет назад, в двадцатом году, потряхивая чубом и натягивая на груди тельняшку, Воронцов пришел в уголовный розыск. Он обратился к субинспектору на «ты» с таким подтекстом: «Не бойся, сразу не расстреляю, может, ты полезный». Мелентьев согласился: «Возможно, я и полезный, вы со временем разберетесь, молодой человек». Отношения их с тех пор изменились, а «ты» и «вы» остались на своих местах. Изредка, когда они вдвоем пили чай или, ожидая важное донесение, играли в шашки, Воронцов тоскливо говорил:

— Иван, давай на «ты»? А? — Мелентьев молчал и улыбался. Воронцов тут же взрывался: — Не желайшь? И черт с тобой! Выкай до гробовой доски! — Остыв мгновенно, заканчивал: — Вот убьют меня твои бандюги, пожалейшь, да поздно будет.

Почему-то Воронцов считал всех воров и бандитов чуть ли не друзьями субинспектора. Возможно, оттого, что каждый задержанный если и не знал Мелентьева лично, то обязательно слышал о нем или находился у них общий знакомый.

— Так кто такой Корень? — спросил Воронцов.

— Долго рассказывать, Константин Николаевич, — ответил Мелентьев. — Однако если полученные данные верны и Корень в Москве, то нас ждут неприятности.

Старый уголовник и рецидивист, о котором шла речь, имел несметное количество фамилий, имен и кличек. Досье его, еле уместившееся в пяти папках, было уничтожено в феврале семнадцатого. Он освободился вчистую, имея документы на имя Корнеева Корнея Корнеевича, видимо, придумав себе фамилию, имя и отчество от последней клички Корень. В Москву не приехал, в Одессе, Киеве, Ростове, других больших городах тоже не появился, и, где находится в настоящее время Корнеев, никто не ведал.

Мелентьев сам выбрал сотрудника, взял его из района, чтобы хоть центральный аппарат не знал человека в лицо. Сам проинструктировал и разработал легенду, наконец вчера сообщил, что все готово.

— Ну, давай посидим, уточним, обмозгуем, — ска-

зал Воронцов. — Хочу взглянуть на твоего протеже. — И, гордясь выученным словом, усмехнулся.

— Протеже произносится через «э», Константин Николаевич. Если вы настаиваете, пожалуйста. Я вас сведу, но полагаю, это лишнее, — ответил Мелентьев.

Тут и разразился скандал. Воронцов и Мелентьев говорили на разных языках, что было понятно одному, другому было непонятно совершенно.

Воронцов не сомневался — каждый участник предстоящей операции должен знать о ней все, понимать ее важность и значение, конечную цель. Тогда человек не тупой исполнитель чужой воли, а работник творческий, вдохновленный идеей; зная начало и конец операции, он способен внести в нее необходимые коррективы на ходу. «Ум хорошо, а два лучше. Коллегиальность в нашем деле главное. И доверие. Человеку необходимо доверять, тогда он, гордый за идею, и на смерть пойдет».

Мелентьев полагал, что лучше без смерти. «В нашей работе чем меньше лишнего знаешь, тем труднее проговориться или наделать глупостей».

— Лишнего? — кипятился вчера Воронцов. — Ты считаешь, что знать, кого ты посылаешь к бандитам, для меня лишнее? Или ты, — он ткнул Мелентьева пальцем в грудь, — мне, — он расправил плечи, — не доверяешь?

Мелентьев отличался завидным терпением, он выдержал паузу и, когда Воронцов начал нехорошо бледнеть, спросил:

— Константин Николаевич, вы мне доверяете?

— Доверяю! Вот я тебе — доверяю!

— Благодарю, у вас маузер барахлит, давайте починю.

— Чего выдумал, именно оружие увечить.

— Серьезно? — Мелентьев смотрел участливо. — Не бойтесь, что я вам динамит в ствол засуну, боитесь — поломаю от неумелости своей?

— Так, так, с подходцем, значит, — протянул Воронцов. — Ни шиша я, значит, в работе не петрю. Ясно. Договорились.

Не находя нужных слов, Воронцов смешался, махнул рукой и вышел, так хлопнув дверью, что из-за дверного косяка выскочил кусочек штукатурки, потерянno закрутился у ног Мелентьева. Он проверил, открывается ли замок, не заклинило ли от удара, и, убедившись, что металл выдержал, вернулся к письменному столу.

За последние годы Воронцов в работе поднатрел, и Мелентьев лучше, чем кто-либо, знал это. Вчера он перегнул умышленно, пусть Костя — так субинспектор про себя называл Воронцова — разозлится, вводит сотрудника в среду уголовников — дело опасное. Казалось, все предусмотрел Мелентьев, и вот Черняк и даже Пигалев о чем-то догадываются. А может, знают?

..Воронцов быстро вошел в кабинет.

— Вызывали? — неожиданно обращаясь на «вы», он молодцевато щелкнул каблучками и вытянулся.

— Извините, что нарушаю субординацию, Константин Николаевич, и беспокою вас, — начал Мелентьев. — История произошла непонятная.

Выслушав деда (Мелентьев отлично знал, что его за глаза называют в розыске дедом), Воронцов резко сказал:

— Досекретничались, Иван Иванович. Пигалев и Черняк — друзья, вам, товарищ субинспектор, такое знать следует. Вы Черняка ставите конвоировать, а Пигалева за бежавшими наблюдать и надеетесь, что они не поймут, в чем дело?

— У меня других сотрудников нет. — Мелентьев вздохнул.

— Из-за чего сыр-бор разгорелся? — перебил Во-

ронцов.— Кто-то где-то сказал, что какой-то Корень собрался банк взять... Он собрался, а мы все дрожим...

— Вы знаете, кто есть рецидивист, над которым вы изволите подшучивать?

Глава 2

УГОЛОВНИК-РЕЦИДИВИСТ ПО КЛИЧКЕ КОРЕНЬ

Субинспектор Иван Иванович Мелентьев встретился с Корнем четверть века назад. Москва только отпраздновала начало двадцатого века, Мелентьева звали просто Иваном, служил он в уголовной полиции в отделе по борьбе с ворами, орудующими на улице, в магазинах, у театров. Иван Мелентьев был росту высокого, статен и крепок, лицом простоват, однако приятен — коротковатый нос в конопушках, глаза светлые, он и в поддевке приказчика не смотрелся ряженым, и когда приходилось работать в дорогах ресторанах либо в театрах, фрак носил ловко, выглядел в нем изящным, чуть рассеянным молодым человеком. Московское мелкое жулье и многие деловые гастролеры Мелентьева уже хорошо знали, однако все равно попадались. Арестованное ворье на Мелентьева зла не держало, так как был он в работе справедливым и мзду не брал. Повязав с поличным, не радовался, не бил; встретившись с деловыми случайно на улице или, скажем, в ресторации, на поклонно отвечал, мог и поговорить с человеком и рюмочку выпить, профессией не попрекал, в душу не лез. В общем, сыщика Ивана Мелентьева клиенты посвоему уважали, однако встречи, естественно, с ним никто не искал.

Новый век для московской уголовной полиции начался тяжело. Первым вспороли сейф на Тверской в ювелирном магазине, что против Брюсовского переулка. Затем, как грецкие орехи, раскололись сейфы помельче: на механическом заводе в Садовниках, в мебельном магазине Петрова на Большой Дмитровке, в конторе металлосиндиката на Мясницкой. Стало ясно, что работают серьезные медвежатники, но у Ивана Мелентьева голова от этих дел не болела: его подопечные сейфы не потрошили, в худшем случае ширмач-техник карман взрывает у заезжего купца, да капелла мошенников-фармазонщиков продаст какой-нибудь мешаночке ограниченно-го стекла каратов десять.

Но вот вспороли знаменитый патентованный сейф «Сан-Галли» в Центральном банке, убив сторожа и двух чинов наружной службы, — сто пятьдесят тысяч радужными «катеньками» вылетели из государственной казны на волю и скрылись в неизвестном направлении.

«Найти! Разыскать немедленно!» — разнеслась команда по департаменту полиции. Сыщики уголовной полиции взялись за дело серьезно. Не потому, что, срывая голос, на них кричали в кабинете с мягким ковром и всегда зашторенными окнами. И потеря государевой казной ста пятидесяти тысяч не расстроила сыщиков, и зла они против воров не имели — труд у тех опасный и мало доходный. Вор — человек по-своему полезный, так как на весах общества на другой стороне стоит, а чтобы равновесие сохранять, на этой стороне сыщиков надо держать, зарплату им исправно платить, пусть и не большую, но и не маленькую.

Сыщики взялись за дело на совесть потому, что убили двух их товарищей. Убили, не отстреливаясь, когда от страха нутро дрожит и глаза в холодном поту плавают, убили не в схватке за свою свободу и жизнь, такое и раньше случалось. Убили расчеловечно, спокойно зарезали, как режут скотину к празднику, заранее взвесив и подсчитав, сколько понадобится, чтобы насытиться до отвала.

Такое убийство сыщики прощать не могли. Найти и повесить, чтобы все уголовники видели: ты бежишь, я догоняю — одно, я хватаю, ты защищаешься — другое, а убивать покойничка, с заранее обдуманным намерением — такое не позволим. И затрещали двери воровских притонов, которые оберегали сыщики, как последнюю лучину, — мало ли кто нужный зайдет на огонек. И в квартирах рангом повыше побледнели благопристойные внешне мужи-содержатели, крестились, приговаривая: «Сохрани, святая богородица! Сколько лет дружим, господин начальник, сколько душ вам отдал! Неужто запомнотавали!»

Кто? Кто? Отдайте, и мы вернем вам покой! Отдайте! И в сером, еле угадывающемся рассвете сапоги били под ребра, срывали одурманенных водкой и наркотиком людей с кроватей, тащили в участок. Здесь били серьезно.

Кто? Даже в Английском клубе услышали этот шепот. Здесь не ломали, не опрокидывали столов, не рвали шелка и, уж конечно, не били. Но двое фразников с иностранным выговором, которые вели всю зиму крупную игру, исчезли, через несколько дней вернулись, побледневшие и задумчивые, и один из них по рассеянности даже сдал хорошую карту соседу.

Уголовный мир убийц не отдавал — то ли страх перед ними был сильнее страха перед полицией, то ли не знали уголовники медвежатников, которые так легко пошли на мокрое. Сыск не прекращался, вели его опытниейшие криминалисты, уголовная полиция трясла свою агентуру, уведомили коллег в Вене, Париже, Берлине и других столицах Европы. А вышел на преступников никому тогда не известный низший чин наружной службы Иван Мелентьев.

Началось все с того, что светлым мартовским днем Иван Мелентьев на Тверской, в булочной у Филиппова, съел пятачковый пирог с мясом и, думая о нелегкой своей сыщической доле, держась к домам поближе, чтобы не обрызгали извозчики, двинулся вниз, к Столешникову.

Александр Худяков, по кличке Сашенька, был артист-техник и в былые времена легко брал задний карман брюк у человека, одетого в пальто. Уже два года, как Сашенька завязал, обзавелся гнемым рысаком, и вечерами Мелентьев видел Сашеньку на козлах шикарного выезда у театров и дорожных трактиров. Еще было известно, что Сашенька женился.

Мелентьев заметил Сашеньку, когда тот двигался по Пассажу, придерживая под локоток такую же, как он сам, маленькую веснушчатую женщину. Она шла тяжело, валко — судя по размерам живота, вскоре собиралась сделать Сашеньку отцом. Жена скрылась в секции, где торговали полотном и ситцем, а Сашенька закурил папиросу, и тут его толкнул шагавший разухабистый мужик в распахнутой дохле. Глянув только на мужика, Мелентьев безошибочно определил, что он не москвич, а залетный, вчера поутру удачно сбыв привезенный товар, а сейчас собирается покупать подарки родне.

Мелентьев двинулся за дохой следом. Месяц катился к концу, а у него ни одной поимки, начальство еще молчит, но уже хмурится. Мимо такого живца московский жулик пройти не должен. Если не

карманный его потрошить начнет, так мошенник уприт и уступит ему дешевые алмазы бразильские, на худой конец — акции копеек царя Соломона. Рассуждая так, Иван Мелентьев мужика в дохе из виду не терял и вдруг заметил, как у Сашеньки взгляд стал мечтательным и отрешенным, зевнул он нервно и пошел за дохой следом, затем вытер ладони о полу своей шубейки и бежал вокруг мужика, прицеливаясь. Тот торговал штуку яркого ситца, а чтобы у Сашеньки промашки не получилось, вытащил из-за пазухи замасленный кошелек и пихнул в широкий карман дохи.

Вместо того, чтобы выждать, пока Сашенька возьмет, Мелентьев шагнул из своего укрытия, положил тяжелую руку Сашеньке на плечо и спросил:

— Гражданин хороший, не вас ли супруга кличет?

Сашенька, глядя на Мелентьева снизу вверх, слизнул капельки пота и икнул. Жизнь вертелась вокруг, и никто не обращал на них внимания, лишь они двое знали, что один уже шагнул с обрыва в омут, а другой выдернул его, спас. Сашенька перекрестился, приседая и оглядываясь, бросился к жене, которая выкатилась из секции в проход Пассажа. «Даже спасибо не сказал, сукин сын», — подумал Мелентьев, не серьезно подумал, а так, перед собой похваляясь.

Вечером Мелентьев толкался у колонн императорского театра, когда к нему подскочил уличный мальчишка, сунул конверт.

— Передать велено. — И скрылся, не попросив, как обычно, папиросочку.

«Дело, вас интересующее, поставил не деловой. Приглядитесь к студенту Шуршикову Якову, что на Солянке у известного вам Быка угол снимает». «Буквы печатные, однако гладкие и ровные», — отметил Мелентьев, — и слог культурный. Кто же из моих крестников так изъясняться выучился?» Автор письма сыщика заинтересовал больше, чем неизвестный студент. Мелентьев бумагу пощупал, понюхал — простым табаком отдает — и оглянулся, выискивая мальчишку.

— Ну, балуй! — услышал Мелентьев, посторонился от наезжавшей пролетки, посмотрел на гнедого рысака, который хрипел, задирая голову, потом на кучера и узнал Сашеньку. Секунду, не более, они глядели друг на друга. Мелентьев спрятал письмо в карман и легко прыгнул в пролетку. Сиденье скрипнуло, пахнуло пылью. «Не дело, если меня здесь увидят», — подумал он и поднял верх. Сашенька выкатился из суматошной толпы и остановился, перебирая вожжи, ждал, куда везти прикажут. Мелентьев отодвинулся в угол и молчал, боялся разорвать ниточку, протянувшуюся между ними в момент немного Сашенькиного признания. Сашенька еще чуток выждал, затем тронул рысака, выехал через Театральную проезд на Никольскую и свернул в Веташинский проезд. Москва словно отпала, осталась позади, тихо и темно, на цокот копыт таякнула во дворе собака, уже было задремавшая, другая лениво отозвалась и замолкла. Пролетка переваливалась по булыжнику, наконец встала. Сашенька натужно откашлялся и спросил тоскливо:

— Куда велите, барин?

Мелентьев не ответил, скрипнул сиденьем, ждал. Сашенька вытянул кнутом по гладкой спине рысака, тот, неодобрительно покачивая головой, промчал проезд, вынес на Ильинку. На Москворецкой набережной Сашенька перевел кормилицу на шаг, покосился назад, но Мелентьев упорно молчал. Между уважающими себя сыщиками и подсказчиками существовал неписаный договор: ты ничего не говорил, я ничего не слышал. Иван Мелентьев его свято при-

держивался, зная на горьком опыте неразумных сыщиков, что, ежели нарушишь, не будет у тебя на той стороне доброжелателей.

Мелентьев глядел на худого, сгорбленного Сашеньку, который, казалось, с каждой минутой становился все меньше, и слышал его мысли, словно тот говорил вслух: «Отпусти меня, Иван Иванович, не вынимай душу, я тебе добром за добро и ты мне так же, слазь с пролетки, уйди». Сыщику было жалко бывшего карманника, но себя Иван Мелентьев жалел больше, и потому Сашеньку отпустить никак не мог.

«Дело, вас интересующее...» Какое дело? Неужели Сашенька что-то знает о банке и убийстве чинов наружной полиции? Что знает? Как узнал? Сень-Бык с Солянки — личность знакомая: пьяница, марафетиком приторговывает, к серьезному делу и краем прикоснуться не может. Студент Яков Шуршиков? Кто такой? «Дело поставил!» Откуда Сашенька подхватил такие слова? «Дело поставил, дело поставил», — повторял Мелентьев. Дело поставил не деловой, человек не знакомый воровскому миру. Похоже, ох, как похоже, вот почему крестятся «отцы» и «матушки», плачут, клянутся: не знаем! Эх, Сашенька, что же делать-то теперь?

— Запарился? — Сашенька слез на землю, похлопал рысака по влажному крупу. — Тяжело тебе, а мне, думаешь, легко? Я сына, кормилец, жду, он без отца пропадет. А для Якова Шуршикова жизнь человека — плюнуть и забыть, кокнул пером, амба и ша. — Он влез на козлы, вздохнул, как застонал, и рысак ответил хозяину тихим ржанием. — Яков долю содельникам не выдал, — еле прошептал Сашенька. — Все у себя держит. Бык и не знает, на чем спит. Ежели в его доме «катеньки» взять, то Якова налицо перевернуть можно.

Мелентьев зевнул так, что скулы свело, и сказал грубо:

— Ты что стоишь, дядя? Соснул седок, ты и рад. А ну, гони к Театральному, подлая твоя душа.

Не доезжая двух кварталов до места, Мелентьев неслышно с пролетки соскочил, исчез в проходном дворе, и больше сыщик и бывший карманник-техник не встречались. Через два дня извозчика Александра Матвеевича Худякова нашли в собственной пролетке зарезанным. Не был он никаким чином, да еще стоял в уголовке на учете, и похоронили Сашеньку тихо. Мелентьев на похороны не пришел, так как объяснить появление сыщика на могиле бывшего вора совершенно невозможно.

Яша рос мальчиком болезненным, был застенчив и нравом кроток. Отец его — Михаил Яковлевич Шуршиков — служил в почтовом ведомстве, ходил, вечно опустив голову, боялся начальства, соседей, а больше всего хозяина дома, которому постоянно за квартиру должен. Мать Яши — Мария Григорьевна — некогда слыла красавицей, только времени того никто не помнил. Единственного сына она родила в девятнадцать лет, в материнстве не расцвела, лицом бледнее и строже стала, душещипательные романсы забыла, не расставалась с библией и к тридцати годам стала существом без возраста и пола. Шуршиковы занимали три комнаты во втором этаже деревянного дома, расположенного в самом конце Протоchnого переулка, который так назывался потому, что от Садовой шел к Москве-реке под уклон и текли по нему и воды, вешние и осенние, и талый снег с навозной жижей.

Текли воды, годы, матушка до тридцати пяти не дожила, отец втихую запис, Яков успел окончить гимназию, и однажды, когда отца, освобождая

квартиру, в горячке снесли во двор, а чиновник растерянно смотрел на пристава, не понимая, что можно в этом доме описывать.—Яков Шуршиков пошел по Проточному вверх, выбрался на Садовую и, не оглядываясь, зашагал налево, к Поварской. С таким же успехом он мог бы направиться и направо, к Арбату.

Через приятелей по гимназии Шуршикову удалось получить место репетитора — крыша над головой и харчи. Попав в студенческую среду, он сошелся с эсерами, не по идейным соображениям, а так случилось, возможно, потому, что эсеры в конце века были шумнее, ярче, увереннее. Боевики убили Плеве, отдав за жизнь обыкновенного чиновника десятки и десятки молодых жизней. Азеф руководил и боевиками эсеров и жандармским отделением с одинаковой ловкостью. За царского министра платили щедро, жандармы брали лучших, и Яков Шуршиков, который лишь слушал молодых фанатиков, желавших во что бы то ни стало умереть, остался на свободе. Направляемая Азефом охранка выжидала, не хотела рвать плод незрелым. Слушая студентов-бунтарей, не понимая, чего именно хотят эти люди, Шуршиков впервые ощутил: отсюда надо бежать, и чем быстрее, тем лучше. Он всегда предчувствовал надвигающуюся опасность. Шел порой на самые рискованные поступки, уверенный, что все сойдет ему с рук. Так первым его преступлением была безрассудная кража. Он репетиторствовал в купеческой семье среднего достатка и однажды, проходя вечером через гостиную, заметил на столе пухлый бумажник и положил в карман. Разразился скандал. Из дома с позором выгнали служанку, хотя дворник и кучер видели, что девушка из кухни не выходила.

Яков совершил еще несколько краж по случаю, затем начал принимать краденое от знакомых подростков, с репетиторством покончил и стал преступником профессиональным. Образование и природная сметка ставили Шуршикова выше тех мелких жуликов, с которыми он имел дело. Прошло несколько месяцев, и он связи с карманниками порвал; почувствовав опасность, место жительства сменил. Он появился на Сухаревке, в этой академии преступного мира Москвы, но и здесь ему не понравилось. Сухаревка походила на мост, соединявший свободный мир и каторгу. Якова Шуршикова это явно не устраивало. Но, прежде чем расстаться с Сухаревкой, Яков встретил одного человека в ряду, где торговали одеждой, и по тому, к чему он приценивался, определил: деньги у человека есть. Когда случайное знакомство состоялось, они выпили в трактире по паре чая, и Яков узнал, что человек этот бежал с этапа, в Москве у него ни родственников, ни знакомых, и на заре он должен из златоглавой убраться. И понимал Шуршиков, не возьмешь с человека много, однако по пути от трактира к ночлежному дому проломил болтливому приятелю кистенем голову, забрал голодающую целковых с мелочью, и больше Студента — так за фуражку с гербом окрестили его на Сухаревке — здесь никогда не видели.

Шуршиков снял угол у бывшего семинариста, который работал ночным сторожем, приторговывал марафетиком, был силен и умен, как бык, и звали которого в округе Быком. Раздумывая о своем будущем, Яков Шуршиков пришел к выводу, что быть ему преступником на роду написано. Действительно, а как жить? Учиться не на что, да и тяги такой не чувствовал, руками делать он ничего не умен, идти прислуживать не желал. Не велики были университеты Якова, однако он понял: мелким ворешкой, при всем чутье и везенье, от тюрьмы не

убережешься, надо брать редко, но крупно. Где и как? Конечно, манила его фортуна афериста-гастролера, о подвигах «международников» порой писали газеты. Но нужны для начала деньги, связи, да и талант — не годится он для такой карьеры. Хорошие деньги лежат в сейфе, но как его открыть? И тут Яков среди клиентов Быка встретил пожилого часовщика, который все заработанное отдавал за морфий. Оказался часовщик в прошлом взломщиком-медвежатником, но, отсидев два срока, пристратился к марафету, здоровье заставило профессию сменить, а так как был он от природы умельцем, какие редко встречаются, то быстро освоил часовое дело. Петрович, часовщик, доживал век мирно, брал за работу дешево, зарабатывал, как говорится, «на иглу», больше ему и не требовалось. Кольнувшись, он становился болтлив, охотно рассказывал о годах молодых. Яков Шуршиков слушал и все больше задумывался. Улучив момент, вошел к Петровичу с предложением. «Ты стар, без марафету не проживешь, а глаза и руки уже не те, скоро откажут, обучи меня своему прошлому ремеслу, тебе риску никакого, а я тебя до последних дней не оставлю, угол и шприц всегда иметь будешь». Петрович думал недолго, согласился.

Яков обучение поставил серьезно, первым делом мастера в морфии ограничил, заставил есть через силу, гулять выводил. Старик мучился, матерился, терпел, однако, и не только корысти ради, а нравился ему молодой студент, цель какая-то в жизни появилась. Начали с разговоров, старик во время прогулок рассказывал о былом, привирал изрядно. Яков врать не мешал, ждал, когда старик выговорится. Потом стал Яков чертежи рисовать, замки простенькие, потом сложнее, больше запоминал, кое-что и записывал, так теоретически и до сейфов добрались. Надо было учиться металл работать. Тут инструмент понадобился — какой попросе, Петрович сам изготовил. Яков притащил со свалки железный ящик, столько в нем дырок наделал, что в натуральную терку превратил. Пальцы силу и чуткость приобрели, стал Яков рисовать сейфы настоящие «Панцирь», «Сан-Галли», изучать замки сложные.

Когда Шуршиков почувствовал, что из старика больше ничего не выжмешь, купил ему морфию, дал колоться в охотку, а однажды добавил шприц уже соснувшему, и не проснулся человек. А кому нужен? Кто разбираться станет? «Жил «на игле», от нее и помер», — рассудили соседи и схоронили в складчину. Студент даже целковый дал, чем людей растрогал. «Вот и ученый вроде бы, а душевный», — сказано было на поминках.

Глава 3 НОВЫЕ ЗНАКОМЫЕ

Блекло-желтые абажуры висели низко, свет заливал бильiardные столы, зеленое сукно которых было исчерчено мелом, игрок наклонялся вперед, чтобы сделать удар, попадал в квадрат света, а ноги и часть туловища оставались в тени. Человеческие фигуры от этого причудливо ломались, из полумрака выползал серый дым, повисал над столами и играющими. Пахло в бильiardном табаком, пивом и сыростью, которую принесли сюда с затопленных ливнем улиц.

Хан и Сынок постояли у двери, пообыкнув, прошли в глубь залы и остановились у колонны рядом

со столом, где, судя по напряженному вниманию зрителей, шла крупная игра.

Когда, приканчивая в закуской домашнюю колбасу, беглецы решали вопрос, куда податься, первым заговорил Сынок.

— На дно опустимся, отлежимся, — сказал он. — Согласен?

— Нет, повяжем галстуки и выйдем на Красную площадь.

Сынок прыснул в кулак — смешлив был, — затем насунил белесые брови и спросил:

— Чего зенки щуришь? Или у тебя в «Европе» «люкс» забронирован?

— Ты за кем сидел?

— За Иваном Ивановичем числился, — с гордостью ответил Сынок.

— Уважаю. — Хан склонил голову. — Дед шпаной не занимается. Так нам легче в контору позвонить. Иван Иванович человек обходительный, извозчика за нами пришлет. — Он помолчал, раздумывая, закончил неохотно: — Попробую я одного человека найти. Удастся — будет нам и крыша и бульонка.

Сынок согласился. Беглецы, прыгая по лужам, добрались до этой бильiardной, куда за ними, естественно, прибыл и уголовный розыск.

Хан приглядывался к окружающим, Сынок уже освоился, видно, обстановка была привычная, толкнул приятеля и зашептал:

— Тихое местечко, не больше двух облав за день.

— Бывал? — Хан взглянул вопросительно. — Где тут этот... начальник местный?

— Маркер? — Сынок указал на крупного мужчину в подтяжках, который чинил кий на канцелярском столике у стены.

Хан кивнул, подошел к маркеру и стал молча наблюдать, как тот прилаживает к кию наклейку. Выждав немного и убедившись, что никто не слышит, спросил:

— Леху-маленького не видели?

Маркер зацепил щепочкой пузырившийся в жестяной банке столоярный клей, потянул его источающуюся нить к кожаной шпешке наклейки, мазнул, приложил ее аккуратно на нужное место, придавил ладонью. Придирчиво разглядывая свою работу, маркер сказал:

— Гуляй, парень, ты тут ничего не терял, а раз так, то и искать тут тебе нечего. Гуляй.

Хан молча вернулся к наблюдавшему за ним Сынку, который не преминул съязвить:

— Ни тебе оркестра, ни цветов.

Игра на ближайшем столе закончилась, зрители громко разговаривали, шелестели купюры, игроки, чуть ли не соприкасаясь лбами, обсуждали условия следующей партии.

Сынок потянул Хана за рукав, кивнул на выход. Хан посмотрел на маркера, обернулся, сказал:

— Куда подадимся, решим сначала... — И не договорив, в спину его толкнул здоровенный верзила. Будто ребенка, отвел в сторону.

— Зачем тебе Леха-маленький? Он приболел, меня прислал.

Хан поднял голову, взглянул на нависающее над ним заплывшее лицо и подмигнул:

— Я тебя, Леха-маленький, в личность знаю. Слышал, что меня один человек ищет.

— Какой человек?

— Корней.

— Не знаю такого. — Леха отодвинулся, оглядел Хана внимательно. — Как тебя кличут? Где слухок тебя нашел?

— Был я у дяди на поруках, там встретил тезку твоего...

— Заправляешь. — Леха-маленький улыбнулся, поскреб рыжую щетину, обнял Хана за плечи, повел в угол. — Как он там? Я лишь намедни услышал, что заболел тезка...

— Он неделю, как на курорт приехал, повязали его у барыги, за ним чисто, поддержат и выгонят, — говорил Хан быстро. — Так он тебе велел передать.

— Уважил, уважил, — рокотал Леха-маленький. — А ты как? Вчистую?

— Если бы, — вздохнул Хан. — Под венец вели, червонец обламывался, соскочил...

— По мокрому?

— Никогда, — быстро ответил Хан. — Но не один. — Указал взглядом на Сынка. — И как есть. — Он провел ладонями по карманам. — А тезка твой сказал, что его Корней искал...

— То его, — перебил Леха-маленький. — Твоего имени никто не называл. Я тебя даже во сне не видел.

— Раз мне тезка назвал Корнея, значит, гожусь.

— Что же ты хочешь?

— Спрячь нас. Скажи Корнею, как есть, пусть решает.

— Тебя можно, а этот к чему? — Леха покосился на Сынка, который своей фразной парой выделялся среди порядком обшарпанной публики.

— Это же Сынок, — ответил Хан.

— Чей? — придуриваясь, спросил Леха. Заметив, как скривился Хан, сказал: — Слышал, слышал: разговоров много. Тебя-то как кличут?

— Хан.

— Точно окрестили, на татарву смахиваешь. Ждите. — Леха-маленький хотел идти, задержался. — Скажи своему Сынку, чтобы он с Бариним в игру не ввязывался — останется, в чем мать родила. — Он утробно хохотнул и неожиданно легким шагом направился к выходу.

Сынок стоял, прислонившись к колонне, — видимо, собирался играть в карты с хорошо одетым мужчиной средних лет. Котелок и трость игрока держал какой-то пьянчужка, смотрел на Барина подобострастно и фальшивым голосом говорил:

— Барин, вы же не в клубе, опомнитесь... Здесь же вас обчистят...

— А мне не жаль моего второго миллиона... — сверкая золотыми коронками, отвечал Барин и тасовал так, что о его профессии не догадался бы только слепой. Вокруг играющих собрались любопытные.

Сынок глядел на Барина восторженно, на зрителей — виновато и, смущаясь, говорил:

— Нам много не надо, червончик-другой и в аккурат закончим. Я счастливый, батя мне, ишь, какую одежонку купил, женить хочет. — Он лучезарно улыбнулся. Хан собрался было вмешаться, но, вспомнив гонор нового приятеля, раздумал. «Больше червонца у него нет, а на вещи играть не дам».

Барин ловко справился со своим делом, сложил колоду так, что Сынок мог выиграть лишь прошлогодний снег. Сынок снял неуклюже, последовал изящный «вольт» — прием, при котором колода возвращается в первоначальное положение.

— Войдите. — Барин бросил в свой котелок червонец.

— Чего? А, гроши, — догадался Сынок и долго шарил по карманам, отворачивался, чтобы не видели, где и сколько у него лежит. — Пожалте. — Он сунул в котелок червонец, вытащил оба, проверил, взял у пьянчужки котелок, надел себе на голову, качнулся неловко, толкнул Барина и выбил у него колоду. Мастерски сложенные карты рассыпались.

— Извиняйте, извиняйте. — Сынок нагнулся, помогая собирать карты, придерживал сползающий коте-

лок, приговаривая: — Червончики, голубчики, где вы?

Барин болезненно поморщился, сложил колоду и спросил:

— Дать или сами возьмете?

— Сам, только сам, ручка счастливая. — Сынок показал всем свою руку, взял снизу две карты и открыл туза и десятку.

— Счастье фраера светлее солнца, — заметил Барин.

Сынок извлек из котелка червонец, спрятал в карман, подождал, пока Барин положит новый, прорезал колоду, дал снять.

— Открывайте по одной снизу, — сказал Барин.

Сынок открыл семерку, затем короля. Барин кивнул: мол, еще. На колоду лег туз.

— Не очко меня сгубило, а к одиннадцати туз, — пропел Сынок.

— А Барин, кажись, на приезжего попал, — сказал кто-то.

Игра продолжалась еще минут пять. Сынок забрал у Барина шестьдесят рублей, перестал дурачиться, смотрел на жертву равнодушно. Когда Барин начал в очередной раз сдавать, Сынок небрежно вынул у него из рукава туза и сказал:

— С этим номером только в приюте для убогих выступать. — Надел Барину котелок на голову. — Спи спокойно, тебя сегодня не обворуют.

Кругом рассмеялись, и хотя выиграл чужак, народ веселился от души.

Сынок отделил от выигрыша два червонца, один положил в нагрудный карман Барину, как платочек, оставив уголки.

— На разживку даю, встретимся — отдашь. — Он протянул второй червонец зрителям. — Выпейте, ребята, за здоровье раба божьего...

К Хану подошел маркер и указал молча на дверь. Сынок, словно следил за приятелем, мгновенно оказался рядом, беглецы быстро вышли во двор, впереди маячила фигура Лехи-маленького. Сынок стрельнул взглядом по переулку — ни души, лишь вдалеке женщина, сняв ботинки, переходила через залитую после дождя мостовую.

Сотрудник уголовного розыска Сергей Ткачев наблюдал за беглецами из глубины подворотни. Когда они отошли на значительное расстояние, агент выбрался из укрытия и двинулся следом.

Леха шагал, косолапая, слегка переваливаясь, одно-ко следовавшим за ним Хану и Сынку приходилось поторапливаться. Ткачев порой припускал рысцой. Леха шел переулками, оставляя Арбат справа, неожиданно остановился у четырехэтажного дома, закурил, шагнул в подъезд. Хан и Сынок тут же шмыгнули следом. На третьем этаже проводник отворил дверь, пропустил ребят вперед и погнал их по длинному коридору. Слева и справа чередовались двери, из-за которых доносились голоса, наконец коридор кончился, Леха открыл дверь черного хода, вытолкнул Хана и Сынка на лестничную площадку, поднялся еще на один этаж, снова открыл дверь, и снова они шли полутемным коридором, где-то рядом шевелилась жизнь, простуженно всхлипывал граммофон, устало плакал ребенок, пахло вчерашней едой и пылью.

Через несколько минут они оказались во дворе. Леха, засунув руки в карманы, двинулся дальше, не оглядываясь. Минут через пятнадцать, поравнявшись с двухэтажным каменным домом, он приостановился, кивнул на подъезд и ушел, не прощаясь.

«Гостиница «Встреча». Иоганн Шульца» — вывеска старая, бронзовые витые буквы скривились, но были заботливо вычищены.

Хан посмотрел на вывеску, на Сынка, толкнул зер-

кальную тяжелую дверь. За спиной вежливобрякнул колокольчик, под ногами чисто выметенный ковер, за конторкой очень бледный мужчина, подле него картонка, на которой кокетливыми буквами написано: «Просим извинить, свободных мест нет».

Мужчина взглянул на вошедших безо всякого интереса, положил перед собой ключ с деревянной грушей и сказал:

— Вам, молодые люди, направо. Номер семь.

Из двери за конторкой вышла блондинка лет тридцати в строгом, словно у классной дамы, костюме, оценивающе оглядела гостей, чуть склонила голову.

— Желаю хорошего отдыха.

— Благодарю, мадам. — Сынок ослепительно улыбнулся, взял ключ, шаркнул ножкой. Хан молча кивнул.

Мужчина открыл конторскую книгу, делая там запись, предупредил:

— Не забудьте сдать на прописку паспорта.

— Непременно. — Сынок взял Хана под руку и ушел в коридор, приговаривая: — Верительные грамоты и багаж придут позже.

Гостиница «Встреча» до революции была третьеразрядным заведением, где останавливались в основном соплеменники хозяина Шульца, немца, родившегося в России, но изъяснявшегося по-русски с грехом пополам.

В четырнадцатом году Шулец гостиницу продал и с молодой белокурой Анной, ставшей его супругой за несколько месяцев до мировых событий, исчез в неизвестном направлении.

Вывеску содрали, зеркальные стекла разбились, у заведения менялись хозяева и названия. А в первые годы нэпа у заколоченных фанерой дверей установилась двухколесная тележка со скромным скарбом, и в помещение тихонечко проникла худенькая Анна, сложила свои вещички у дворника и начала действовать. Куда она ходила, с кем разговаривала, сколько и кому платила, в округе не знали, но очень скоро отыскалась старая вывеска, которую кое-как починили, надраили до блеска и водрузили над дверью. Появились рабочие, строили, красили, вставили зеркальные стекла. Через месяц помещение привели в порядок, все номера сверкали чистотой, хозяйка, тихая и несколько испуганная, удивленно оглядывала свои владения, гостей не пускала — кланяясь, деликатно отвечала, что еще не закончены приготовления. Налетевший, как карающая десница, фининспектор пробыл в новой гостинице каких-нибудь полчаса и ушел, довольный, — все было уплачено без жалоб и сполна.

Помогал Анне Шулец прибывший вместе с ней очень бледный неразговорчивый мужчина лет пятидесяти, судя по манерам и внешности, из бывших. Имени и фамилии его никто не знал, и скоро его стали звать Шулец, хотя на пропавшего немца Шульца он не походил абсолютно. Известно было, что сочетались новые хозяева гражданским браком; Анна всплакнула — как решили соседи, «новый» в церковь идти не пожелал. Хозяина никто ни господином, ни по имени-отчеству не называл, просто — Шулец, словно кличка. Авторитетом и уважением Шулец ни у соседей, ни у постояльцев не пользовался. Дел он никаких не решал, сидел за конторкой, записывал вновь прибывших в книгу, выдавал ключи и тихим бесцветным голосом отвечал по телефону. Этот аппарат вызвал много пересудов, телефон в те годы был редкостью, а в гостинице его поставили чуть не в первый день. Поначалу сосе-

ди ходили им пользоваться, хотя и звонить-то было некуда. Шульц никому не отказывал, но глядел на незваного гостя так, что человек несколько слов выдавливал из себя с трудом и начинал заикаться. Нет, странная гостиница, как на нее ни смотри. Номера, конечно, чистые, никто не спорит, на первом этаже с ванными,—но цены какие? Виданное ли дело самый дешевый номер — четыре рубля, а есть и по двадцать. Кто ж там жить-то станет, люди с такими деньгами могут и в «Европе» поселиться или, скажем, в «Бристоле».

Узнав все это, в округе решили: прогорит немочка со своим Шульцем, как бог свят — прогорит. Однако чудеса да и только, из двадцати номеров, хорошо, четыре-пять заняты, а Шульц уже выставляет свою табличку: «Мест нет». Немочка ходит, глазки опустив, улыбается задумчиво, жильцов не просто не зазывает, пускает далеко не всех. Фининспектор не жалуется, милиция довольна, тишина в переулке, будто не гостиница, а дом политпросвета. А ведь поначалу было подозрение, что собираются в тихом омуте заведение непристойное организовать. Так этого ни-ни, тихо жила гостиница.

Поверили люди, отвернулись от двухэтажного домика, где двадцать номеров, хозяйка Анна Шульц, за конторкой у телефона просто Шульц, а швейцар и прислуга за все — мужик по имени Петр. Позже поселилась еще в гостинице девушка Даша, однако о ней разговор уж совсем особый.

Спать в гостинице порой и до рассвета не ложились. Гости сутками не появлялись, иногда сутками из номеров не выходили, приезжали и уезжали и на лихачах, и на таксомоторах, некоторые брали машину напрокат. Гости у Шульцев подбирались на удивление скромные, стеснительные, одевались — взгляду зацепиться не за что, жителей переулка уважали, пролетки и машины отпускали позади гостиницы, на параллельной улице, ногами не шаркали, дверьми не хлопали. Жили у Шульцев иногда восемь человек, а бывало, что и двое, платили же гости не двадцать рублей в сутки, как значилось в прейскуранте, а несколько больше. Случалось, постояльцы, уезжая, так были растроганы гостеприимством, что оставляли в домике и пятьсот рублей и тысячу. Хозяйка ни золота, ни камней в подарок не принимала, хотя у гостей водились вещицы интересные. У хозяйки гостиницы и его постояльца существовал закон: все вещи, добытые в златоглавой, должны из Москвы уйти немедленно. Ни одна, даже пустяковая бранзулетка, осесть не могла, делать и принимать подарки было строжайше запрещено.

Без объяснения причин Анну о законе предупредили, однако около года назад польстилась женщина на сережки и колечко с изумрудами. Подарок тот она ни сегодня, ни до гробовой доски не забудет. Били ее в задней комнате, завязав рот мокрой простыней. Когда она стала людей узнавать, принесли гостя, который тот подарок сделал. Парнишка ползал и бормотал для Анны непонятное. Занимались им сами гости. Сквозь кровавый туман Анна увидела раз швейцара Петра, он поставил на стол вино и сказал:

— Курье портрет целым оставьте. Нам, мальчики, вывеска нужна. — Перешагнул через лежавших на полу и вышел.

Выхаживала Анну появившаяся в те кошмарные дни девушка Даша — красавица с зелеными глазами, с поразительно неслышной поступью и мягкими руками. Через две недели Анна, осунувшаяся, но вполне окрепшая, появилась в холле и положила привычно ладонь на плечо мужа, который потерся щекой о руку жены, записал в книгу приехавшего гостя, дал ключ и своего бледного лица не поднял.

Анна за последний год слегка располнела, но талия у нее осталась девичьей. Золотоволосая, с большими синими глазами, она могла бы быть очень хороша собой, если бы не держалась неестественно прямо и скованно. Лицо ее было бесстрастно, глаза смотрели равнодушно, порой бессмысленно, очень редко, и то, когда никто не мог видеть, в них появлялась мысль, про которую в народе говорят: тоска смертная.

Шульц был хорошего роста, худ, но крепок, и оттого, что голову он держал высоко, а глаза опущенными, бледное лицо его с резко очерченными скулами и всегда плотно сжатым ртом походило на маску.

Законные хозяева гостиницы «Встреча» были красивые, холодны и мало симпатичны.

Шульц проводил взглядом молодых людей, встал, потянулся жилистым, сухим телом, хрустнул пальцами. Анна хотела обнять мужа, приласкать, он отстранился. Мужчина и женщина, они были вдвоем в этом холле, городе, мире, одинокие, никому, даже друг другу не нужные.

— Дорогой...— Анна увидела, что на лице мужа появилось недовольство, сделала паузу, но продолжала: — Если нас не арестует полиция, то зарежут постояльцы.

— Терпи, дорогая. — Шульц замолчал, так как Анна давно объяснил, что гостиница приобретена на деньги чужие, ссуженные на определенных условиях, и решать, кого принять, кого выселить, может лишь швейцар.

Из коридора вышел швейцар Петр — лет пятидесяти, среднего роста, быстрый в движениях, улыбающийся.

— Приехали, родимые, — весело сказал он и по-мальчишески подмигнул Анне. — Гость в дом, радость в дом. Не грустите, господа, все будет в лучшем виде, образуется.

Помещение ожило, заскрипели половицы, качнулись в кадках мертвые фикусы. Он бегал по холлу, вытирая на ходу пыль, снимая с ковра одному ему видимые соринки, зыркал весело блестящими глазами и говорил без умолку, якобы не придавая своим словам значения:

— Седьмой номер удобный, мальчикам там будет хорошо. Жильца из третьего выселите, Анна Францевна. Они обещали недельку прожить, а уж вторая кончается, им съезжать самое время.

— Платит человек аккуратно, — возразила Анна, но в тоне чувствовалась обреченность. — Да и как я объясню, гостиница пустая стоит, он же видит... — И замолчала.

— А никак не объясняйте, — радостно откликнулся Петр, протирая и без того чистые, глянцевитые листья фикуса. — Зачем объяснять? Ежели вам не втерпеж, скажите, побелку надумали. — Он рассмеялся, довольный. — Я туда и стремяночку сейчас отнесу, ведерочко поставим. А за денешки не извольте беспокоиться, мы за их номерок с молодых людей удержим.

Шульц уже взял конторскую книгу и жильца, занимающего третий номер, вычеркнул. Анна проследила за карандашом мужа.

Качнулась зеркальная дверь, рассыпал свою медь колокольчик, и в холл вошел Леха-маленький — за час с ним произошли перемены удивительные. Он был чисто выбрит и причесан, костюм добротный, строгий, по животу золотая цепь. Опустив на ковер два больших, слишком новых чемодана, открыл было рот, но Петр опередил:

— Алексей Спиридоныч! Барин, радость-то ка-

кая! — Он подбежал, ухватил чемоданы, поволок на подгибающихся ногах в коридор. — Пятый номер, пожалуйста, проходите.

Леха-маленький кашлянул, вздохнул облегченно и торжественно зашагал следом за чемоданами.

Шульц каллиграфическим почерком писал: «Алексей Спиридонович Попов. — Задумался и добавил: — Коммерсант».

Анна молча ушла в дверь за конторкой.

Петр у номера чемоданы бросил, достал из кармана ключ, отпер замок и плюхнулся в красное плюшевое кресло. Леха внес чемоданы, прикрыл дверь; увидев, что Петр манит его пальцем, подошел. Петр сорвал с него цепочку и сказал:

— Говори.

— Как я и кумекал, брательник заболел...

Петр рассмеялся, замахал руками, перебил:

— Лешка, дубина ты стоеросовая, одна у тебя извилина, и та от топора. — Он перестал смеяться и продолжал, глядя куда-то в угол: — Если я от тебя, Алексей Спиридонович, хоть одно слово, — Петр показал для наглядности один палец, — услышу на фене, то я тебя, роденький, очень обижу. Говори.

— Я рассказывал... — Леха пошевелил губами, будто переводил с иностранного. — Братишка мой сел, ну, арестовали его...

— Знаю, знаю. — Развалившись в кресле, швейцар смотрел на гиганта с презрением. — У вас семейка вор на воре. Скажи, как ты этих, — он кивнул на стенку, — сюда вел...

— Хаост... За ними милиция топала. Я их известным тебе, Корней, путем провел. Мента в первом же дворе оставил.

— Звать меня и на людях и тет-а-тет Петром. — Швейцар вздохнул и после паузы спросил: — Не ошибаешься?

— Святий крест. — Леха перекрестился. — Уж чего-чего, а... — Он пробормотал тихонечко несколько слов, — наконец добавил: — Наблюдение наружное я рисую сразу.

Швейцар лениво пнул ногой стоявшего перед ним человека, больно пнул, но тот не шелохнулся, даже не поморщился.

Субинспектор Мелентьев протер платком пенсне и, не замечая вытянувшихся перед ним Ткачева и Черняка, обратился к сидевшему в углу кабинета Воронцову:

— Где же мы теперь будем их искать, Константин Николаевич?

Глава 4

КОГДА ВСЕ СПЯТ

В первой комнате стояли комод, два кресла, овальный стол и диван; пол застелен ковром. В спальне две низкие огромные кровати — можно поперек лечь, в углу бронзовая девушка, приподнявшись на кончиках пальцев, расставив руки, хотела взлететь, да так и застыла. Мебель тяжелая, массивная, рассчитанная на людей комплекции солидной. Ванная, тоже большая, с медными кранами, чуть тронутыми зеленью. Окна и в гостиной и в спальне полукруглые, забраны решетками; чтобы не так мрачно было, решетки в виде расходящихся лучей и покрыты белой масляной краской.

Сынок все обследовал, потрогал и улегся на одну

из кроватей, рядом с бронзовой девушкой, погладил ее по крутому прохладному бедру и закрыл глаза.

Хан, как вошел, сел в гостиной на подоконник, так и сидел, почти не двигаясь, оглядывал все неторопливо и настороженно. Через открытую дверь он видел Сынка и раздумывал: кто он такой, этот белокурый парень, который лежит на постели в помятом вечернем костюме, положив лаковые пыльные ботинки на атласное одеяло? Судя по всему, парень привык жить богато, чувствует себя уверенно, не то что он сам.

Сынок повернулся, вытащил из кармана мятую коробку дорогих папирос, спичку выщелкнул в потолок, взглянул на Хана, усмехнулся и ловко запустил в него папиросами, затем спичками. Хан поймать брошенное не сумел, подобрал с пола, закурил, осторожно взял со стола раковину-пепельницу, перенес на подоконник. Сынок наблюдал за ним, стараясь понять, с кем его судьба свела и правильно ли он, многоопытный, сделал, что пошел с этим Ханом? Кто он? Что-то не слыхал такую кличку, не в законе парень, желторотый. Однако уверенный, да и браслетики снял профессионально. И приняли их здесь как родных, будто ждали. Нет, не подвело чутье, парнем можно прикрыться, место тут классное. Как это он всю златоглавую обшарил, а такую малину и не встретил? За какие заслуги парня так принимают? Кто здесь хозяин? А вдруг Корень, легендарный пахан, о котором чуть не во всех пере-sылках шепотом рассказывают?

Хан погасил папиросу, обхватил широкими ладонями колени и застыл. Смешно, кресла роскошные, диван, кровать — хоть поперек ложись, а человек на деревянной доске уселся, и вроде удобно ему.

— Приятель, — Сынок зевнул, — ты за меня в ответе — если я с голоду помру, люди тебе не простят.

Хан не шелохнулся.

Сынок придумывал слова позаковыристее, когда Хан, продолжая смотреть перед собой, сказал:

— Мне один человек говорил: только вор на земле свободен. Все люди невольны: и господа знатные и заводчики с миллионами, даже царь и тот не волен. Что ему скажут, то он обязан делать. Только вор свободен. — Он мечтательно улыбнулся.

— И ты крючок проглотил? — Сынок рассмеялся. — Сведи меня с тем человеком.

— Он умер.

— Как он умер?

— Почти сразу, теперь он свободен. — Хан смотрел, не мигая. Сынка раздражал его взгляд.

— Вор и есть человек свободный. — Сынок потянулся. — Ни отца, ни матери, закон — тайга, медведь — хозяин.

— Слабый должен покинуть стаю, — подсказал Хан. — Знаю я ваше товарищество. Протяни руки — протянешь ноги, не поворачиваясь спиной. — Он сплюнул, длинно цыкнув зубом.

«А парнишка меня прощупывает, — понял Сынок. — Ох, не прост мальчишечка, держать ушки на макушке, а то без башки останешься».

— Ты прав, Хан, завязывать пора с воровской жизнью. Подамся в комсомол, там вольготнее: хочешь — лопата, не хочешь — тачка...

Хан шевельнул сморщившимися бровями, улыбнулся нехотя, ответить не успел, потому что дверь открылась, и в номер вошла девушка лет двадцати, фигурой ладная, лицом русачка: светлоглазая, скуластая.

— Здравствуйте, господа хорошие. С новосельцем. Меня зовут Даша.

— Сынок, крестили Николаем, отец не Ивана от-кликался.

— Хан.

Даша медленно приблизилась к Хану.

— В доме собачьих кличек не понимают. Как вас зовут, любезный?

— Степан.— Хан хотел отвернуться, но, повинаясь требовательному взгляду девушки, назвал отчество: — Петрович...

— Очень приятно, Степан Петрович. В номере для вашего удобства кресла поставлены.— Она подошла к кровати, на которой лежал Сынок.— Вы, Николай Иванович, стирать покрывала не намерены? Тогда встаньте, будьте ласковы.— И, прежде чем Сынок успел улыбнуться, Даша залепила ему пощечину. Он вскопчил, девушка не отодвинулась, указала на валявшийся окурок.— Подымите, Николай Иванович.

Николай схватил девушку за локти, сжал так, что, казалось, она переломится, приподнял легко.

— Поставь на место.— Даша смотрела бесстрастно, и Сынок ее послушно отпустил.

Хан спрыгнул с подоконника, сел в кресло, положил руки на колени. Сынок, потирая пылавшую щеку, рассмеялся, занял другое кресло. Даша стукнула три раза в стенку, в коридоре послышались шаги, дверь приоткрылась, на пороге появился большой чемодан, шаги удалились. Даша встретилась с Ханом взглядом, улыбнулась, а смотрела брезгливо.

— Будьте ласковы.

Хан внес тяжелый чемодан, дверь закрыл.

— Помогаете — переоденьтесь.— Даша кивнула на чемодан.— Будете жить тут тихо-тихо. Шалить, господа, не советую, хозяин здесь — человек серьезный.

— Девушка, вы нас ни с кем не спутали? — Сынок начал злиться.— Я Сынок! Или у вас со слухом плохо?

— Поесте я вам принесу.— Даша вышла, и приятели услышали, как щелкнул замок.

На дворе дождило. Ветер хлопал форточкой, капли шлепали по стеклу, залетали в комнату.

Корней вытер простыней лицо и шею, с отвращением отпихнул теплую и влажную от пота подушку, сел в изнеможении. Скоро светать начнет, а сна нет, и дождь облегчения не принес, парит.

Корней прошелся по комнате. Эх, выйти сейчас во двор, как есть, голышом, шлепая по лужам, пробежаться, остановиться под карнизом, чувствовать, как колотит вода по голове и плечам, стоять до мурашек, до озноба. Мало человеку надо. «Что такое счастье? Это почесать там, где чешется», — думал Корней, усаживаясь в который уже раз за ночь в ванну.

Все сбылось, всего он добился, Яков Шуршиков, авторитет у него, деньги, женщины; покоя нет. Не то что во двор выскочить — окно распахнуть страшно, видится: вот они стоят... покойники. Зарезанные, давленные, сколько их, чужими руками убитых? Не перечтешь.

С семнадцатого Корней пальцем никого не тронул, копейки не взял, ничего ему новая власть предъявить не может, а все одно — страшно.

Обирает он, Корней, людишек недогадливых. Так ведь это у земли края нет, а у остального он обязательно имеется. У жизни же человеческой край всего ближе, самое страшное, что не угадаешь, где он, думаешь — далеко, а оказывается — за углом, с ломиком, может, с ножичком.

Три срока имел Яков Шуршиков, дважды бежал, в семнадцатом освободили его по амнистии Временного правительства, решил он завязать, уж больно

ему на каторге не нравилось. Кочуя по пересылкам и лагерям, он познакомился с жуликами разных мастей. Яков стал знаменит среди воров сразу же: очень прогремело его первое дело, два трупа и сто пятьдесят тысяч — с такой визиткой можно было жить в любой тюрьме. У Якова хватило ума помалкивать, что дело это у него первое и убил он полицейских от глупости и неумелости, а совсем уж не от отчаянной смелости или ненависти к властям. Не рассказывал Яков также, что и деньгами-то он попользоваться не успел и сохранить не смог: все как есть отобрали. Поэтому прослыл он после этого дела среди воров человеком серьезным, на правду быстрым, с захороненной на воле копейкой. Авторитет свой Яков как мог поддерживал, умело распуская слухи о своей жестокости. Однако запомнил он крепко: полицейских трогать нельзя, зато безбоязненно можно убивать своих коллег по профессии — некоторые чины сыскальной полиции такие дела даже поощряли.

В то время среди так называемых «воров в законе» чуть ли не каждый третий был осведомителем. Яков понял это и решил сам перекалфицироваться. С активной преступной деятельностью он завязал и сделался теоретиком воровских законов. Он рассуждал о воровском братстве, о товариществе и взаимовыручке, к нему приходили, как к третьей-скому судье, он решал споры, выносил приговоры, давал советы. Одной рукой Яков брал долю, другой сдавал негодных криминальной полиции. Так Яков Шуршиков стал Азехом среди уголовников. Полицию такое положение, естественно, устраивало. Шуршикова опекали и по возможности берегли, но после ограбления ювелира Мухина, поставившего изделия императорскому двору, вынуждены были арестовать и судить. Яков же так вошел в роль отца российских воров, что произнес перед присяжными патетическую речь, в которой освобождал всех содельников от вины, брал все на себя. Речь его пересказывали в пересылках и на этапах, в тюрьмах Якова встречали с царскими почестями, даже жандармы, опасаясь мести уголовников, обращались к нему на «вы».

Временное правительство амнистировало Якова Шуршикова, в уголовной полиции посоветовали ему пока в Москве и Питере не появляться и, рассчитывая в дальнейшем на его признательность, много-томное дело с перечнем его преступлений и предательств уничтожили. Так же уничтожили все его фотографии, пальцевые отпечатки — Яков Шуршиков исчез, существовать перестал. Остался бесплотный миф, легенда — Корней.

Новая милиция с уголовниками не заигрывала, суд присяжных отменили, воровская профессия стала очень опасной. Корней все это понял, выжидал, вскоре ему пришла идея организовать гостиницу для паханов — воровской элиты. Нэп и Москва притягивали, взяли куш и затеряться всего в Москве. Корней здесь, в тихом переулочке, и открыл гостиницу «Встреча». Идея, организация и деньги были его. Анна Францевна Шульц — лишь вывеска. Не встретить Корней Анну — нашел бы вывеску другую. Дело пошло сразу. Серьезный вор на малину не пойдет, для обычной гостиницы нужны чистые документы, да и опасно на людях. А у Корнея, как у Христа за пазухой. Тихо, народу никого, вход один, выхода два, можно и без документов. Корней опять же всегда советом поможет, с нужными людьми сведет. С милицией свои отношения Корней решил просто — приобрел, не торопясь, несколько паспортов на людей торговой профессии и сдавал их на прописку, якобы одни и те же люди приезжают и уезжают, ведут торговлю.

Однако мало-помалу уголовный розыск работать научился, крупные дела удавались все реже, «Встреча» становилась нерентабельной, и Корней решил дать последнюю гастроль: взять банк, обрубить концы и уйти.

Около года он искал, где взять, и нашел. Отделение Госбанка было расположено в бывшем барском особняке, охранялось тщательно, но, укрепляя стены и двери, про потолок малоопытные товарищи забыли, с чердака войти было несложно. На сейф тоже сумел взглянуть — так, жестяная коробка, только большая. Неувязка вышла с инструментом — своего уже давно у Корнея не было, брать у кого-то из знакомых он опасался. Решил Корней инструмент изготолить; узнав, что брат Леха-маленького кузнец отменный, приказал явиться. И глупей глупого получилось: кузнец в тюрьму угодил и, не желая подводить самого Корнея, другому наказал прийти вместо себя.

Когда Леха позвонил и сказал, что вместо его брата явились двое неизвестных, Корней решил их не принимать, однако тут же передумал. Новые люди всегда опасны, в уголовке старый сыщик Мелентьев, всем лисам лис, и доходит молва, что очень он Корнеем интересуется — не забыл, значит. Бежали ребяташки из-под конвоя, приемчик далеко не свежий, известен и сыщикам и деловым людям еще с прошлого века. Но не оттолкнул Корней беглецов, велел приводить, пропустив через лабиринт. Давно Корней придумал проходные квартиры, через них чужой никак пройти не мог, и в этот раз сработало безотказно — был за мальчиками хвост, да отпал. Значит, один из двоих из милиции, покойник он теперь, потому как засветил Корней гостиницу. Гореть этой берлоге рано, вот возьмет Корней куш, обрубит концы, тогда полыхай голубым огнем. А с ребяташками разберется Корней, уже дал команду, утром Леха приведет человека своего, который повернет налицо любого, всех знает, золотой старичок.

Светать скоро начнет, а Корней не спит, душно ему, и дождь прохлады не несет, шлепает по стеклу без толку.

Агент уголовного розыска Сурмин лежал тихо, старался дышать ровно, хотя сосед и похрапывал. Субинспектор Мелентьев, когда инструктировал, предупреждал: «Забудь, кто ты есть, ничего не изображай, не придумывай, не бери в голову, видят тебя, нет ли, все одно — ты беглый уголовник. И ни при каких обстоятельствах шкуру ту не снимай. Задачи две: найти Корнеева и определить, какой именно банк он готовит. Учти, если при отходе ты хоть краешком засветишься, значит, все провалил. Корней никогда на дело не пойдет, а против него для прокуратуры и суда на сегодняшний день ни капелюшечки не имеется. Сегодня Корнея в уголовный розыск можно только пригласить на чашку чая, побеседовать за жизнь. Корней молодых любит, их легко при дележе обойти или убрать при надобности — за человека, воровскому миру неизвестного, ответа нет, а Корнею убить, что тебе в жару квасу выпить. Он рук в крови мочить не станет, для того есть люди поглупей. Если Корней банк готовит, ему наверняка люди нужны, воров известных он не захочет брать, делиться с ними надо, да и опасно, они у нас, у милиции, на виду могут оказаться. Так что, Сурмин, — говорил субинспектор, — если ты до Корнея доберешься, он к тебе интерес проявит, не сомневайся, но верить не будет никогда. У него закон один: пока человек в крови по самую маковку не испачкается — нет ему веры. Старайся не доверие завоевывать, а стать

необходимым, у Корнея к людям мерка одна — нужные и не нужные. Пока ты ему нужен — в безопасности, как стал не нужен — цена твоей жизни копейка».

Сурмин субинспектора слушал спокойно, страха не было, интерес только, да и полагал: пугает дед. Теперь, в первую же ночь лежа без сна, Сурмин вспоминал испытующий взгляд субинспектора. Когда наручник уже запястье сжимал и Мелентьев дверь перед Сурминым открыл, схватил за плечи неожиданно и зашептал:

— А, пошло все к чертовой матери, Сурмин! Нам больше других надо? Люди банки для того и придумали, чтобы преступники и мы с тобой без работы не сидели. Грабили, грабят и будут грабить... Субинспектор достал ключ и начал снимать наручник. — Не обедняет Советская власть! А Корнея не мы поймает, так свои зарежут в конце концов.

Сурмин сбросил простыню, потянулся сильным телом, закинул руки за голову, прислушался: к шуму дождя прибавился еще какой-то звук. Сурмин повернулся, увидел, что сосед не спит, наблюдает из-под полуопущенных век, и понял: звук не появился, а пропал, сопеть новый приятель перестал. Не спится? Ну-ну, лежи, думай. Корнея все хотел увидеть? Судя по всему, сегодня встретишься.

Кабинет субинспектора освещала лишь настольная лампа под зеленым абажуром, и лица сидевших у стола Воронцова и Мелентьева были землистого цвета. Окна они распахнули, дождь залетал в кабинет, на подоконниках поблескивали лужи, одна створка скрипела и хлопала, и субинспектор лениво подумал, что надо наконец починить крючок или найти под сейфом детский кубик и створку подпереть, иначе от этого скрипа и хлопанья с ума сойдешь.

Воронцов полулежал в кожаном кресле и бездумно смотрел на собственные сапоги. От бесчисленного количества выкуренных папирос во рту у Воронцова было нехорошо, чай в стакане давно остыл, да и горячий он имел привкус ржавого железа.

Костя старался не двигаться и не думать о боли. Где у него находится сердце, Константин Воронцов узнал три года назад, когда оно, больно ударив под левый сосок, сбilo его с ног. Считалось, что больное сердце — недуг чисто буржуазный, неприличный. Костя выслушал наставления врача, глядя в потолок, и забыл их, как только врач ушел. С тех пор Костю прихватывало дважды; сегодня утром, совсем уже ни с того, ни с сего, в третий раз — он врача не вызывал, отлежался на диване.

Пенсне субинспектора на столе поблескивало зелено, будто болотные лужицы. Мелентьев близко-руко щурился, потирал ладонью небритую щеку, на начальника не смотрел, все уже было переговорено. Можно, конечно, еще сказать, мол, я же вас предупреждал — если Корнеев с Сурминым встретится пожелает, то нашим сыщикам на хвосте не усидеть. Рецидивист не такое наблюдение выдвигал: гимназию давно кончил, фраеров ищите в другом месте. Можно напомнить, да зачем? Говорено было, и не раз, а у Кости память молодая.

Мелентьев, несмотря на духоту, был в суконном жилете, в рубашке с жестким воротничком и при галстукке. Субинспектор взял стакан, взглянул на бурую жидкость с отвращением.

— И что это за начальник, если он взятки не берет? Не могут люди вас, товарищ Воронцов, уважать, когда вы даже чаю нормального выпить возможности не имеете.

Оконная рама как-то особенно противно взвизгну-



ла и хлопнула. Воронцов невнятно выругался, приблизился к окну. Зная, что крючок давно сломан, Мелентьев улыбнулся.

— Кого ты поймать можешь, если у тебя ставень, и тот не держится на месте? — Воронцов вытер мокрые ладони о штаны, неторопливо прошелся по кабинету.

Мелентьев в ответ на критику начальства погасил свою зеленую лампу, напоминая, что надвигается новый день.

...Даша родилась на берегу Енисея, верстах в пятнадцати от Абакана. Июль в тот год стоял жаркий, каторжников, выживших после эпидемии дизентерии, доедал гнус. Женщина, которая родила Дашу, имела много имен и кличек, последний раз ее судили как Марию Латышеву, кличку она носила — Магдалина. Она была красивой глупой бабой и к тридцати годам, когда красота прошла, а глупость

осталась, превратилась в законченную алкоголичку. Мария в своей беспутной жизни не совершила ни одного преступления, все ее беды происходили от мужиков, которых она любила. Последний — возможно, он и был отцом Даши — появился в жизни Марии в понедельник. Мужчина высокий, статный и кудрявый, он ее всю неделю кормил досыта, а в субботу пришел чуть живой — что за мужик, если он в субботу не напивается? Мария его раздела, спать уложила, вещички, как положено, выстирала. На следующий день его взяли и Марию прихватили, так как она, оказывается, стирая, «улики уничтожила». Присяжные сказали: «Виновна», а судья определил: «Десять лет каторжных работ». О том, что она будет матерью, женщина узнала на этапе.

В рождении ребенка Мария обвиняла конвойного — мужчину тоже высокого, статного и кудрявого. А чтобы он не сомневался в своем отцовстве, мо-



лодая мать швырялась в него ребенком, хочешь не хочешь — лови. В большинстве случаев он ловил, а когда не удавалось, поднимал пищавший сверток с земли.

Голод, дизентерия и гнус оказались бессильны — Даша росла. В пять лет она стала сиротой, но не узнала об этом: мать свою от других людей не отличала. Когда на далекую каторгу пришла Советская власть, Даше исполнилось двенадцать, она умела читать, писать, курить, пить и в рукопашной не уступала взрослой женщине, а если нападала первой, то могла и мужика завалить.

В Москву пятнадцатилетняя Даша приехала с веселой компанией, которую в Ростове целый год почему-то называли бандой. Стоило Даше посмотреть на мужчину, как его тянуло на подвиги, перечень которых имеется в уголовном кодексе. Кличку она носила ласковую — Паненка, уголовный

розыск уже располагал ее приметами. В двадцать втором году, составляя справку по группе, арестованной за разбойные нападения на Потылихе, субинспектор Мелентьев писал: «По непроверенным данным в банде была девица по кличке Паненка, однако никто из фигурантов и потерпевших показаний на нее не дал. Приметы: на вид восемнадцать-девятнадцать лет (возможно, моложе), рост средний, волосы русые, стрижены коротко, глаза светлые, к вискам приподнятые, нос прямой, губы полные, лицо овальной правильной формы. При знакомстве девица представляется студенткой, одевается чисто. Особые приметы: картавит. Предупреждения: при задержании может оказать серьезное сопротивление, не исключено наличие огнестрельного оружия».

Жизнь предлагала Даше выбор богатый: если уголовный розыск не доберется, то от ревности кто-

нибудь из фатовых ребятишек и зарежет непременно. И не было бы счастья, да несчастье помогло. Дашу увидел Корней. Редко он выбирался, тут, словно черт расшалился, толкнул легонечко, и взглянул Корней как-то днем в ресторан «Эльдорадо», что на Тверском бульваре. Сидел он скромно, кушал обед из трех блюд (один рубль тридцать копеек), вроде, все внимание в тарелку, но по привычке, хотя опасаться нечего — нет за ним ни крошечки, — новых посетителей осматривал внимательно. Корней уже кофе заканчивал, когда заметил Леву Натансона, известного среди деловых людей под кличкой Алмаз. Кличка была дана за то, что до семнадцатого года Лева торговал копиями да приисками, потом опустился, стал продавать камни в розницу.

Алмаз шел, пританцовывая. Узнав Корнея, лицом опал, лаковые штилеты по ковровой дорожке начал приволакивать.

— Палашка, что с тобой? — весело спросила Даша, шедшая с ним под руку, и рассмеялась. Не бросила бы Даша свой смех ресторанной публике под ноги, и Корней бы не обратил на нее особого внимания.

Лева приблизился к столику Корнея медленно, смотреть не смел, сочтет нужным — сам поздоровается. Корней не сводил тяжелого взгляда с Даши, кивнул, и Лева сломался в поклоне. Даша удивленно подняла брови, оглядела незнакомца и вновь рассмеялась.

— Подойди, любезный, — поднося к губам чашку кофе, сказал Корней. — Позже. Один. — Он произнес все слова раздельно, негромко, но очень четко.

— Непременно, — выдавил Лева и, не зная, как Корнея назвать, зашевелил губами беззвучно.

— Что за чучело гороховое? — спросила умышленно громко Даша, усаживаясь за столик у зеркала. По лицу Левы она поняла, что человек в скромном коверкотовом костюме отнюдь не «чучело», но, злясь и на Леву за его подобострастие и на себя за неожиданно испортившееся настроение, у же искусственно рассмеялась.

Официант застыл, рука, будто гипсовая, на отлете. Лева, не заглядывая в меню с золотым обрезом, сделал заказ скромный: не любит Корней людей, живущих широко. Когда человек убежал, Даша стрельнула взглядом в сторону Корнея. Лева опомнился, зашептал:

— Умри, Дарья. Он моргнет только — нас обоих здесь, за этим столиком, удавят.

— Не бери на характер. — Даша улыбнулась презрительно, однако говорила шепотом. Лева промокнул лоб салфеткой, хотел подняться, остался на месте, и она спросила: — Корень? Неужто?

— Какой Корень? Не знаю никакого Корня, — простонал Лева, кляня себя за болтливость, за встречу с девчонкой, за то, что пошел в «Эльдорадо».

Не бывает Корней в таких местах, не случайно все это, ох, не случайно. Лева знал за собой вину. С месяц назад один человек передал ему три дорогие вещицы, предупредил: в Москве не продавай, Корень не велел. А он, старый пень, соблазнился предложением... Все-таки Лева одолел страх, пересел за столик к Корнею, почти нормальным голосом сказал:

— Рад видеть тебя в здравии, приятного аппетита.

— Чего же здесь приятного? — Корней дернул плечом. — Мы золотых приисков не имеем, разносолами не балуемся, не как некоторые.

Лева согласно хихикнул и, ободренный шуткой, спросил:

— Может, тебе этот рестораник завернуть? Только прикажи. — Натансон, как и другие уголовники, верил в миллионы Корнея, считал, будто тот где-то в секретном месте делает деньги настоящие, серьезные. Если бы он знал, что Корней имеет лишь долю доходов с гостиницы и чаевые с залетных паханов, и капиталу у Корнея на черный день не наберется.

— Кто такая? — Корней рисовал ложечкой на скатерти замысловатые вензеля.

Лева Натансон все понял: не известно Корнею о проданных в Москве камнях, встреча получилась нечаянная, не видать теперь Даши, будто своих ушей. А уж как хотелось девчонку, как хотелось. От обиды у него задрожали полные губы — такой девчонки ему больше не встретить.

Корней рисовал серебряной ложечкой на крахмальной скатерти, ждал. Лева облизнул губы, тихо ко кашлянул. «Совру, и амба. Откуда знать ему?» Решился.

— Не наша. Не деловая, студенточка полуголодная, — выдавил из себя. — Если интересуешься, будь ласков, объяснешь. — И сам не верил.

Корней наслаждался унижением Левы Натансона, от своей власти пьянел. «Умен, оборотист, богат, а против меня — тля, скажу слово — крахмальную скатерть сожрешь». Корней улыбнулся своим мыслям. Лева снова облизнул губы и заговорил быстро:

— Прости, черт попутал! Наша девка, возьми, не пожалеешь. Тело! Темперамент!

Смиловитился Корней, поднял взгляд, от широты души улыбнулся даже.

— Для дела нужна. — Он встал, направился к выходу. Лева был за плечом, дышал ему в ухо. — Для нашего дела, общего. Ты в Хлебном ночуешь? — Остановился, опустил голову.

— В Хлебном, в том же переулочке. — Лева словно радовался. — Ну и память у тебя, каждого из нас, самого маленького помнишь.

— Вечером к тебе заскочат, отдашь.

Дашу привезли в гостиницу «Встреча», когда провинилась Анна Францевна — приняла подарок от делового, но глупого. И уж не так велика ее вина была, в другой раз Корней велел бы оплеух немошке для памяти надавать. Не повезло Анне, решил Корней новенькой девушке все сразу и до конца объяснить, чтобы ничего неясным не оставалось. Потому и били Анну долго и серьезно.

Дашу удивить и напугать было трудно. Повидала в жизни и как бьют и как убивают. Поразила девушку не жестокость, а спокойствие и равнодушие. Люди дедали работу, тут же пили, ели, говорили о постороннем и вновь работали — били, беспокоились только, чтобы шуму не было, не велено шуметь и лицо увечить, велено портрет в целостности держать.

Когда Даша за хозяйкой ухаживала, вспомнив науку врачевания, проверенную в детстве на собственной шкуре, то больную не жалела. «Что же ты, дамочка, оклемаешься и живым его оставишь? Оставишь, по всему вижу, и он, паскуда, знает, иначе бы не посмел...» Слыхала Даша о Корнее не раз, даже две песни слышала. Говорили люди, строг Корень, но справедлив. А оказалось, что обыкновенный изувер, хуже надзирателя или конвойного — те людишки службу несут, жалованье получают.

Две недели Корней к Даше и не подходил, слова не сказал, велел Лехе-маленькому передать ей: мол, живи покуда прислугой, после видно будет. Бесилась Даша: не для того Паненка на свет родилась, чтобы примочки ставить и еду таскать. Беси-

лась Даша, ночами наворачивая зубами рвала, уйти боялась. Куда? Уйдешь, он вслед шепнет: «Прода-ла», и станешь о смерти молить.

Однажды ночью он пришел, удивился, что дверь не заперта, спросил:

— Не боишься, девочка?

Даша ответила, что в доме у Корнея деловой девочке бояться не положено, иных для потехи хватает. Она спала без рубашки и, не стесняясь, сбросила простыню, встала, обнаженная, накинула халат, ловко накрыла на стол — графинчик, закуска холодная, — Корнею кресло подвинула, рюмку налила, подняла свою, кивнула, молча выпила.

— Сердишься? — Он тоже выпил. — Мохом покрылся Корней? О нем легенды рассказывают, а он совбуром заделался, да еще бабу глупую изуверить велел. Так?

Поначалу от визита неожиданного да от полного угадывания ее мыслей Даша обмерла, не ответила, плечом повела.

— Знаешь, сколько ребятишек на колечках и сережках погорело? — спросил он, гоняя по тарелке ослизлый грибок. — Тяжело мне, на покой собираюсь. Устал.

Корней властно положил руку ей на плечо, отдернул халат. Даша почувствовала, как мелко дрожат его пальцы, увидела жилку на виске, глаза под полупушечными веками блестят, словно у доходяги, не отстранилась — успокоилась Даша. Сколько она таких мужиков видела! Корней! Корень земли деловых людей! Мужчина обыкновенный, слабый; поняла власть свою.

Даша дверь не запирала потому, что знала: в каждом доме, где нормально жить хочешь, мужикам сразу все без остатка объяснить требуется. Тут двери и запоры не помогут. Сейчас у нее в кармане халатика браунинг вороненый лежал, полу оттягивал. Не заглядывая мужчине в глаза, Даша понимала: оружие без надобности, так справится.

— Я не по этому делу, Корней, — сказала спокойно, руку его не убрала, водки налила, себе лишь капнула.

— А Натансон говорил...

— И ты, Корней, говори. — Даша запахнула халат, села удобнее. — А Алмазу передай: встречу, ухо левое отрежу.

— Почему левое? — Корней рассмеялся, как-то ему легко стало.

— Сразу два — это лишнее. А с какого-то надо начинать? Левое. Передай.

— Передам. А как же я? Если я говорить стану?

— Ты — Корней, тебе можно. Говори. — Даша сделала ему бутерброд. — Баба, если с мужиком живет, слабит. Я давно такой факт заметила, мне рассказывали, моя мать от вашего брата совсем больная сделалась. А мне, Корней, сил много надо, деньги, понимаешь, нужны.

— Зачем?

— Жить хорошо хочу, богато. — Даша ответила серьезно, хотя и видела: смеется Корней. — Я на каторге безвинно двенадцать лет отбыла. Люди мне задолжали, отдавать не думают, так я сама возьму. Потом все будет, мужчины, любовь, все. А пока мне нельзя. Договорились?

И они договорились.

Даша сидела на подоконнике, вытягивая руку, лавила ладошкой мелкие капельки, вытирала лицо и грудь. Только сейчас, когда рассвело, и засеребрились лужи, и дом напротив, шагнув из ночи, взглянул на наступающий день черными окнами, духота отступила. Даша в эту ночь не спала, то читала

Есенина, то так лежала в тяжелой полудреме. Больно толкали в грудь грустные слова поэта, вспоминала Даша, как увидела его в смокинге и лакированных туфлях, золотоволосого и весело пьяного. Он поднимался по ступенькам, прыгая через две, и кто-то рядом сказал: «Паненка, это Сергей Есенин». Она взглянула ему вслед равнодушно, не подозревая, что золотоголовый все про нее, Дашу, знает, он уже написал:

**Глупое сердце, не бойся!
Все мы обмануты счастьем,
Нищий лишь просит участия...
Глупое сердце, не бойся.**

Любовь и грусть поэта, рядом серая ненависть Корнея, и эти двое, кого разместили на первом этаже. Ребятишки, судя по всему, битые — что-то Корней задумал, раз поселил ребят в номере, который и прослушивается и просматривается. Почему в гостинице живет Леха-маленький?

Ночь была пестрой, то Дашу околдовывал Есенин, то выступал из мрака Корней. Потом они оба пропадали, Даша вглядывалась в лицо простоватого парня в пиджачной паре. Даше указали на него со словами: «Запомни его, Паненка, и остерегайся, только со виду он прост, серьезный мальчонка, в угро служит».

Ведь русским языком сказали, а она не остереглась.

Все кончается, ночь тоже кончилась. Даша умылась и оделась, вышла в коридор и увидела Леху, который ввел с улицы в холл сгорбленного старичка. Маленький, на тонких ножках, лицо — испеченное яблочко, не человек, мерзота одна, крови человеческой по одному его слову пролито, в ней дюжину таких утопить можно. Никто не слышал, чтобы старичок даже пустяковое преступление совершил, однако среди уголовников он был почитаем, звали его Савелием Кирилловичем. Обладая феноменальной памятью, знал о преступниках и преступлениях практически все, уголовный розыск пользовался картотекой, уголовники — Савелием Кирилловичем.

Он опирался на руку Лехи, хотя в помощи не нуждался абсолютно, на Дашу, которая поклонилась ему, вроде не глянул и сказал с усмешечкой:

— Здравствуй, Паненка. Волос ты зря завил, свой тебе лучше.

— Доброе утро, Савелий Кириллович, — ответила Даша. — Не жгу я волос, вчера под дождь попала.

— Стар, не вижу ничего. — Савелий подмигнул Даше молодым, ясным глазом и прошел с Лехой в коридор.

«Ребятишек опознавать привели, — поняла Даша, — сомневается Корней, потому и за стариком послал, и Леху рядом держит».

Глава 5 ПРОВЕРКА

Номер Савелию Кирилловичу отвели такой же, как и беглецам, — две комнаты и ванная. Старик осматрел апартаменты, остался недоволен — шик много.

— Человек должен себя в строгости держать, — сказал он, неодобрительно глянул на стоявшего у двери швейцера, который в куртке с галунами, как прислуге и положено, в номер не лез, ждал, что гость прикажет.

Даша принесла валеночки, подшитые, с обрезанными верхами. Известно было, что Савелий Кириллович ногами мучается, даже летом валенки уважает.

— Уластили старика.— Савелий прошелся в валеночках по ковру.— Однако и покушать бы не мешало.

Савелий Кириллович швейцара отпустил, девушку за стол посадил, чтобы ухаживала за стариком, Лехе поднес стакан водки, но к столу не пригласил. Даша с поклоном наполнила граненую рюмку, подложила старику икорки. Он глянул в красный угол, перекрестился, выпив, выдохнул громко, отправил в рот солидный кусок стерляди, жевал размеренно и неторопливо.

«Да на кой мне нужны Корней и этот мухомор-кровопийца? — думала Даша.— Крестится, жует, будто молится, а потом по его слову зарежут парней. Все они не живут, а в непонятную игру играют, говорят одно, делают другое. А я? Я как думаю, так и говорю?»

— Очнись, красавица.— Савелий Кириллович указал на пустую рюмку.— Никакого почтения, одно птичье легкомыслие.

Выпив вторую, старик вытер пот, расстегнул ворот холщовой рубахи и с минуту сидел, не двигаясь, ждал, когда проберет.

— Чайку, Савелий Кириллович, покушаете? — спросила Даша.

— Остынь, Дарья. Чай опосля дела, он суетни не любит, его пить сурьезно надо.— Старик говорил с расстановочкой, нравоучительно, тянул время, готовясь к тяжелому разговору. Давно он между Корнеем и Савелием назревал, и желали они оба души отвести и страшились.— Ты в полюбовницах у него? — Старик кивнул на дверь, уверенный, что Корней их слушает, продолжал: — Мне ни к чему, ваше дело. Так что старый Савелий понадобился? В чем нужда?

Даша ждала вопроса, облегченно вздохнув, равнулась к дверям, старик жестом остановил.

— Не беспокой, может, делом занят.— Старик все у Лехи-маленького выпытал, но любил, как говорится, притенить.— Мне еще ввечеру воробышек на ухо чиркнул, что прибыли к вам два молодых гостя: один черныш, другой беленький. Так? Разобраться с ними следует, наших они кровей или только фасон держат? А может, и похуже того?

Старик начал вытираться из-за стола, Леха в два шага пересек гостиную, поставил Савелия Кирилловича на ноги. Большим умом он не отличался, однако понял: заложил его старик, в этом доме в щебечущих птах не верят.

— Тихо ты! — взвизгнул старик, поднятый на воздух могучей рукой.— Показывай, Паненка, своих женихов. Тебе который из них больше личит?

Они перешли в соседний номер, Даша приложила палец к губам, старик усмехнулся — знаю, мол, не учи. Отлепив кусок обоев, Даша вынула из стенки кирпич, указала старику на приготовленное загодя кресло. Усаживаясь, он собрался было по привычке охнуть, но вовремя сдержался.

Николай-Сынок стоял на голове и говорил:

— Ты, кореш, спишь плохо. Может, влюбился в нашу надзирательницу?

Хан посмотрел на Сынка удивленно, затем крутанул пальцем у виска, вскочил с кровати и стал ее аккуратно застилать. Заправив на манер солдатской койки, уложил подушки фигурно, взглянул, отстранившись, остался доволен.

Сынок продолжал стоять на голове и, обиженный

недостаточным к своей исключительной персоне вниманием, вновь заговорил:

— Мне эту гимнастику индус Фатима показал. Факир. Слышал?

Хан отрицательно покачал головой и исчез в ванной. Сынок отжался и пошел на руках следом.

— Ты ночью не спал, язык доедал? Затащил неизвестно куда и еще не разговаривает.

— Встань на ноги.— Хан пальцем чистил зубы, умываясь, потер ладонью щеку, поморщился.— Надо у Даши бритву попросить и зубные щетки.

Сынок встал на ноги, шагнул в спальню, оглядел свою мятую постель рядом с аккуратной койкой и спросил:

— Ты, случаем, не кадет? — И рассмеялся, потому что на блатном языке «кадет» означает — молодой неопытный сыщик.

— Я генерал.— Хан начал примеривать принесенную Дашей одежду.

Сынок в гостиной обошел вокруг стола, попытался открыть дверь, впрочем, сделал это без особой надежды на успех.

— Замочек для блезиру.— Хан, уже одетый, появился в гостиной, взялся за белую крашеную решетку на окне и дернул так, что посыпалась штукатурка.— В момент выдерну.— Он отряхнул ладони, повернулся на каблучках, демонстрируя новый костюм.— Ну как?

— Фраер обыкновенный.— подвел итог Сынок. Как был, в одних трусах прыгнул на диван, сел, обхватил голые колени.— Сядь, Степа-Хан, давай покалякаем. Кто ты такой? Куда привел? Как дальше жить думаешь?

Хан посмотрел из-под черных бровей сердито, хотел огрызнуться, передумал и опустился в шикарное кресло.

— Можно и серьезно поговорить.— рассудочно произнес он.— Только зачем? Нам с тобой делить нечего.

Николай-Сынок пытался улыбочку изобразить, смотрел нехорошо, все меньше и меньше ему нравился случайный знакомый. И случайный ли? Как говорится, бог не фраер, ему подсказчик не требуется.

— Чего молчишь? — спросил Хан.— Я твоего имени не называл, с собой идти не уговаривал. Ты сам же мне прилип, расстанемся красиво.

— Как?

— Ты в дверь, я в окно. Хочешь, наоборот.

— Хан,— Сынок поднялся,— ты меня привел, я к тебе пристел, мы сюда пришли. Так?

— Ну?

— Это что? Малина на Тишинке? И я говорю — нет. Меня никто тут не знает. Я пришел, поспал, оделся и адыю? Ни тебя, ни меня отсюда в жизни не выпустят. Ты что же думаешь, люди такое делали,— Сынок указал на стены и обстановку,— чтобы Коля-Сынок заскочил и спалил все дотла? Ты, Степа, меня совсем за идиота держишь? Когда такую хазу засвечивают, то на дело ведут, вот,— он пальцем чиркнул по горлу,— по мокрому. Либо в мешок, либо в пруд.

— Брось, Сынок.— Хан смотрел растерянно, оглянулся, погладил плюшевую обивку кресла.— Брось, говорю. Я на мокрое ни в жизнь. И в пруд тоже не надо.— Он замолчал.

— Ты куда меня привел? Кто тут хозяин? Ты куда шел, дурак стоверсовый? — Губы у Сынка дрожали, взбухли на горле вены. Еле сдерживая бешенство, он зашептал: — Ты чью одежду надел? Ты чей шамовкой вчера ужинал? — Он кивнул на неубранную посуду.— Кто эту дэвку содержит? Эти двое за конторкой кто такие? Ты платье на мам-

зель рассмотрел? — Сынок бросился к Хану, на ходу передумал, забежал в спальню, начал быстро и ловко одеваться. — Через дверь нас не выпустят. — Застегнул брюки и взял пиджак. — Ты говорил... — Он указал на оконную решетку. — Эх, знал бы, что ты такой... Ночью уходить надо было...

Хан нерешительно подошел к окну, взялся за решетку, потянул, прут согнулся, выскочил из гнезда.

— А кто чинить будет? — спросила Даша, входя в номер с подносом в руках. — Я вас кормлю для того, чтобы вы мне окна выламывали? — Она поставила поднос с завтраком, сложила грязную посуду, взглянула на Сынка и подмигнула.

— Да, Николай, думала, ты умней.

Три человека находились в одной комнате, рядом, шагни и протяни руку, коснуться можно. Несмотря на молодость, каждый из них видел смерть и знал, что такое жизнь, и каждый говорил не то, что думал, и поступал не так, как хотел. Лишь в одном они были едины: убраться бы из этого номера, из гостиницы подальше.

Девушка, сервируя стол, с удовольствием эту посуду превратила бы в черепки, а гостиницу подожгла. Она старалась не смотреть на смуглого чернобрового парня, который спокойно сначала вынул железный прут из оконной решетки, а теперь неторопливо вставил его на место. «Неужто старый хрыч прав и мальчонка из милиции? Зачем же он заявился сюда? Степан? Хан? Не Степан он, и клички у него никакой нет. Наверняка комсомолец, а может, и партизнец? Идеальный. Интересно, что он обо мне думает? Воровка и проститутка? Язва на теле трудового народа, таких надо выжигать каленым железом. Выжигай, родненький, только умрешь ты раньше меня, скоро, совсем тебе немного осталось».

— Степан, у тебя часы есть? — спросила она, подошла, взглянула прямо.

— В участке отобрали. — Хан смотрел доверчиво. — Даша, будь ласкова, бритву принеси. — Он провел пальцами по щеке.

Даша хотела сказать: «Не проси бритву, комсомолец», — промолчала и неожиданно для себя погладила его по теплой небритой щеке.

Вор, имевший уже три привода и лобег, хотел сказать: «Всем будет лучше, если я отсюда потихонечку уйду. Век свободы не видать, не был я на этой малине и тебя, краля, не знаю, даже во сне не видел. Не запыри меня тут держат, не из таких мест соскакивал. Убежать можно, да некуда. Ясно, Корнея хата, слышал, что есть такая в златоглавой, для паханов держат, для высоких гастролеров залетных. Куда сбежишь? Дунут вслед, найдут и на дне морском и у дяди на поручках. Не хозяин я теперь себе. Хотел Корнея увидеть, грешен, но только не так, не вламываться в дом. К Корнею надо входить с солидным предложением». Вор взглянул на Дашу и совсем не по делу сказал:

— Красивая ты, Дарья. Тебе от нас уходить надо. Зарежут.

— Я совета спрошу у одного человека. — Даша зло поджала губы. — Хочешь, сам спроси, я сведу тебя.

Сотрудник уголовного розыска молчал. Понимал он, что товарищи вчера во дворах запутались и отпали, но свято верил: Мелентьев потерять человека не может. Вспомнив субинспектора, он приободрился. «Что тебе говорили? Не играй, будь проще, не бери в голову лишнего. А ты? Перед кем ты тут выступаешь? Кого удивить решил? Конечно, то, что сразу к Корнею привели, неожиданно. Субинспектор полагал, недельку минимум вокруг да около хо-

дить придется. А тут, враз и в дамки. Хорошо или плохо? Не должен Корней без проверки незнакомо-го человека к себе вплотную подпустить, такую богатую малину засвечивать. Все не так складывается, инициативу потерял, теперь притихнуть и ждать».

«Будь профессионалом и уши не развешивай, — учил субинспектор, — детей, которых надо перевоспитывать, рядом с Корнеем не увидишь. Никому не доверяй: все, как один, зверье. Можешь встретить там красотку молодую, кличка Паненка...» Вот и астретил. Крепко не любил он блатную публику. Сейчас смотрел на девчонку и на приятеля по неволе и зла не чувствовал. Какие они звери? Обыкновенные ребята, запутались...

Савелий Кириллович и Корней пили чай в угловом номере, из которого можно было выйти и во двор и в соседнюю жилую квартиру, а из нее в переулок. Корней велел чай подать сюда, чтобы Савелий увидел запасной ход, оценил предусмотрительность хозяина. Обстановка здесь была беднее, чем в других номерах гостиницы, зато дверь изнутри обита железом, засовы накладные двойные.

На столе мед, сахар колотый и сушки, вот и все угощение к чаю. Корней сам наливал из самовара — никакой прислуги в номере не было. Савелий Кириллович расстегнул рубашку, на шею повесил полотенце, чай пил громко, с присвистом. Корней занял место напротив, чай у него в стакане с подстаканником, по-городскому, в общем, пьет аккуратно, лицо бледное, глаза по привычке опущены.

Савелий пятую чашку приканчивает, лбом изошел, пить больше не вмоготу, а хозяин молчит, никакого интереса не выказывает. Наконец старик чашку перевернул, утерся полотенцем, пригладил ладошкой седые волосы.

— Ну что, Корнеюшка, взглянул я на ребятишек твоих. Занятые, — начал Савелий, будто нет у них большего удовольствия, как сидеть вот так и чаек поливать. Корней и бровью не повел, глаз не поднял, серебряной ложечкой чайник из стакана выловил. — Не по чину горд ты, Корней! — Старик сорвался — возраст, что ни говори, восьмой десяток к концу валится.

— Савелий Кириллович, уважаемый, вы меня ни с кем не путаете? — спросил Корней ласково.

Старик перекрестился истово, пробормотал нечленораздельное, Корней расхохотался.

— Кто ж по-матерному молится! Брось, старик, ерничать, из ума выжил? Говори толком, кликну Лешку, он тебя в красном углу для просушки повесит! — Корней не мог остановиться — накатило. — Ну? — Ударил по столу.

Савелий Кириллович, наоборот, успокоился, глазки блеснули молодо.

— Не гневайся, Корнеюшка. Ребятишки к тебе заскочили правильные. Какой беленький, что Сынок кличут, наших кровей, слышал, он из циркачей. Отец с матушкой и дед его в цирке хлеб зарабатывали, он сам в детстве народ потешал, потом одумался, делом занялся. По церквам работает, говорят, лучше Сынка нет сейчас, ловок, шельма, удачлив. Другой, что Ханом назвался, незнаком мне. Хан кличка редкая, помню одного, схоронили его давненько. Сказывал мне один человек, как год назад встретился он нечаянно с товарищем из уголовочки, нарисовал его мне, очень он на этого чернявенького смахивает. Опять же человек тот, что со мной разговор имел, помянул — мол, милиционер силы просто необыкновенной, хотя по виду не скажешь. Вот и весь сказ мой, Корнеюшка.

Савелий Кириллович держал на Корнея зло боль-

шое. Старик жил спокойно, не воровал, левый товар не принимал, не укрывал беглых, сам-то постоянного места для ночлега не имел. Сегодня здесь, завтра там, как перекасти-поле. У уголовников старик был в чести, оказывая им мелкие, а порой и значительные услуги. Ребятишки садились, резали друг друга, освобождались, бежали, скрывались и снова садились. Савелию Кирилловичу все их беды без надобности, на десятерых хоть у одного удача — он, старый, рядом. Ему тепло, сытно. Все так складно, да Корней на старую голову свалился, авторитет приобрел, власть забрал. Тут старик и приметил: Корней-то, сердешный, с сыщиками любовь крутит. У каждого человека две руки, Корней и определил: левой — налево, а правой, как понимаете, направо. Савелий Кириллович смекнул эту хитрость, быстренько, но не торопясь, там узнал, здесь определил, сложил вместе, уже собрался ребятишкам слово сказать, как Корнея по ювелирному делу подмели начисто. Он в суде такую речь держал, что пересказывали ее, привирая, до тех пор, пока не получилось, что для всех деловых в законе Корней, и рядом никого.

Одна мысль Савелию Кирилловичу покоя не давала: замазать Корнея в глазах уголовников, тень на человека положить. А тут Леха-маленький объявился, зовет: дело, мол, есть. Пришел. Оказывается, что в доме, куда из дожины проверенных одного перепроверенного пускают, товарищ из милиции живет. Теперь главное — слуху этому дать волю, ни один деловой не залетит в гнездо, в котором уголовка ночевала.

— Спасибо, Савелий Кириллович. — Корней достал коробку папирос, одну размял, постучал мундштуком по крышечке. — Век не забуду, должок за мной не пропадет, сами знаете.

— Какие счета, Корней, свои люди. — Старик улыбнулся ласково. — Ты меня уважил, накормил, чайком попотчевал, и ладушки.

Корней словом старика кивал, затем, будто и не слышал ничего, продолжал:

— Должок отдам непременно. Радоваться вам, Савелий Кириллович, пока не следует, рано вам радоваться. — Он закурил, выпустил кольцо, с интересом его разглядывал.

«А я ведь из ума выжил окончательно, — вдруг понял Савелий. — Корней же меня отсюда при таких обстоятельствах не выпустит». Корней кивнул, словно старик мысли свои вслух выразил.

— Вы понимаете, Савелий Кириллович, какая оказия получилась. — Он откинулся в кресле, положил ногу на ногу, говорил медленно, душевно, как с лучшим другом советовался. — Налоги властям за это заведение я плачу солидные. Жильцов же пускать не могу, хотя, заметьте, по нынешним временам гостиница — дело прибыльное. Я бы, конечно, мог шепнуть, люди, уверен, меня поняли бы правильно, не для себя стараюсь, для людей, Савелий Кириллович, как считаете? — Корней молчал, смотрел участливо.

— Оно, конечно. — Старик кашлянул. — Мальчики бы скинулись по грошику, подмогли.

— Дарья, зайди, дует у двери, простудишься, — чуть повысив голос, сказал Корней. Он приложил ладонь к самовару, убедился, что не остыл еще, налил Даше чаю, подвинул мед.

— На моей короткой памяти только Елену Ивановну Сердюк, которую народ за большой ум Мозгой называл, мужики к серьезной беседе допускали. Значит, ты, Дарья Евгеньевна, смыслена не по возрасту, если тебя сам, — он поклонился Корнею, — за стол сажает.

— Евгеньевна? — Даша непочтительно рассмеялась. — Моего отца мать не знала.

— Евгений Петрович Кучеров, — солидно ответил старик. — Подумаешь, секрет какой.

Даша посерьезнела. Почувствовав перемену в ее настроении, Корней решил снова завладеть инициативой.

— Люди мне верят, денежки бы нашли, Савелий Кириллович. Но не хочу я просить. Не от гордости, просто знаю, как червонцы деловым достаются. За каждый целковый свободой, а то и жизнью рисковать приходится. Нехорошо такие деньги просить, непорядочно. — Он взглянул на Дашу, оценила ли девушка его благородство. Девушка давно Корнея раскусила, улыбнулась тонко, опустив глаза.

— Ох, тяжела наша доля, — Савелий Кириллович вздохнул.

— Рассудил я так и решил занять у новой власти тыщонек несколько, — сказал Корней. — Мне много не надо, полагаю, миллионом обойдусь.

Чуть не подпрыгнул Савелий Кириллович, засучил ножонками в подшитых валенках. Даша вспомнила разговор с Корнеем, когда ночью он пришел к ней. Не из-за нее ли Корней на дело собрался? Кажется, купить ее хочет? И будто отвечая на ее мысли, он продолжал:

— Я жениться решил, Савелий Кириллович...

— Так ты женат...

— То блуд один, перед богом холостой я. — Корней небрежно перекрестился. — Невеста у меня молодая, сам видишь. Ей наряды нужны, украшения разные. Чего разводить канитель, решил я сейф взять и возьму. Инструмента у меня не хватает, хотел изготовить, за человеком послал, а он вместо себя Хана этого прислал.

— Товарищ Мелентьев тебе справный инструмент сточит, — хихикнул старик, — на две руки, лет на десять с гарантией. Что думаешь делать с парнем, как решишь? — Он посерьезнел.

— Человек умело по металлу работает, а мне инструмент нужен, торгуемся, думаю. Сговоримся. — Значит, парень инструмент сточит задарма?

— Я всегда за работу плачу по-царски, — ответил Корней. — Сколько дней работает, столько живет. А жизнь, она дороже золота.

— Вот что ты задумал, Корней. Милиция тебе своими руками поможет. Одобрю, такое дело людям понравится. Только кто же тебе этого Хана уберет?

— Да вас хочу попросить, Савелий Кириллович. Нынешние товарищи говорят: нет ничего сильнее личного примера. — Корней обращался к Даше, приглашая посмеяться вместе. — Вы, уважаемый, все поучаете, пора и самому замазаться. Не пожелаете? Или вы свою жизнь меньше милицейской души оцените?

— Слыхала, дочка? Если сама жива будешь, повторишь его слова людям. Я тебя, Корней, не боюсь, ты меня пальцем тронуть не посмеешь. — Всю жизнь провел Савелий Кириллович среди воров и убийц, твердо знал: клин вышибают только клином. От страха и безысходности он так обнаглел, что сам в свою ложь поверил. — Люди знают, куда я пошел. Ты спроси своего Лешку, он видал, как я с Митей Резаным прощался. Митя про тебя нехорошо думает, Корней. Он совсем нехорошо думает, ведь братьевничко его замели на третий день, как тот от тебя ушел.

— Ты что? — Корней даже привстал.

— Я ничего. Только Козырева, Губернаторова, Дюкова тоже повязали, когда ребята от тебя ушли. И деньжат у них, слышно, не оказалось. А ведь кассу они чистенько сработали, люди знают. Ты со

мной ласковым будь, Корнеюшка.— Силы старика были на исходе.— Уйди, Паненка, ни к чему тебе глядеть, как мужики ссорятся,— сказал Савелий Кириллович растерянно.

Но так грозно и, главное, правдиво прозвучало его обвинение, что ни Даша, ни Корней не почувствовали растерянности, последние слова расценили, как право сильного. Даша глянула на Корнея коротко, он не шелохнулся, бровью не повел. Она старику заговорщицки подмигнула и вышла, покачивая стройными бедрами. Пройдя по коридору несколько шагов, рассмеялась и сказала:

— Чтоб вы удавили друг дружку, окаянные.— Вышла в холл и обомлела.

Там сидела одна Анна. Облокотившись на конторку, по обе стороны от нее стояли картинно Хан и Сынок. Больше в холле не было никого. На щеках Анны проступил румянец, глаза непривычно блестящие, она даже улыбалась, слушая молодых людей, которые соревновались в остроумии.

— А вот и Дашенька!— воскликнул Сынок радостно.— Сейчас бы граммофончик раздобыть, такие танцы-шманцы устроили бы.— Он подошел к Даше, протягивая руки. Тихо добавил: — Если в морду полезешь, не погляжу, что красавица.— Взял ее под руку, подвел к конторке.— Чего, любезные, вы из гостиницы тюрьму устроили?

Анна пожала плечами — мол, я здесь не хозяйка, за поведение гостей не отвечаю. После тяжелого разговора у Даши настроение было взвинченное, она рассмеялась заразительно.

— Дверь заперли?— Она шагнула к выходу.— Зайдут ненароком.

— Не зайдут.— Хан показал ключ.— Сынок прав. Мы не для того из одной тюрьмы бежали, чтобы в другой устроиться.

— Давай музыку, давай выпивку!— закричал Сынок, пританцовывая.

«А там два хрыча судьбы вершат,— подумала Даша, глядя на чернобрового Хана с симпатией.— Да он один их двоих ногами свяжет, они два дня не развяжутся. Ох, взгляну я на их морды». А вслух сказала:

— Анна Францевна, или мы с вами не женщины? То нельзя, это не можно!— Даша прошла за конторку, отомкнула буфет, достала бутылки, спросила: — Анна, где мужичины?

— Мужчины здесь.— Анна указала на молодых людей.— А если ты спрашиваешь про этих...— Она передернула плечом.— То мой якобы в «Форум» направился, Петр, сама знаешь, а коммерсанта из пятого...

— Алексей Спиридонович занят,— перебил нарочно Сынок.— Они газету читают. Неудобно получается, коммерсант, солидный человек, а в политике, как пень стоеросовый...

— Степан,— окликнула Даша Хана,— будь ласков.— Она кивнула на поднос с бутылками и повернулась к Сынку.— На Алексея Спиридоновича взглянуть можно?

— Это сколько угодно!— Сынок подхватил Дашу под руку, подвел к седьмому номеру, услужливо распахнул дверь.— Правда, кресло они занимают неудобное.

Леха-маленький сидел в ванной на стульчаке, у ног его лежала газета. Увидев огромного детину в таком комичном положении, Даша прыснула в кулак. Когда же заметила, что запястья бандита прикованы к трубе наручниками, опустила на край ванны в изнеможении.

— Чего регочешь?— Леха продолжал речь нецензурно-витневатно.

— Не выражайтесь, любезный,— укоризненно сказал Сынок, сохраняя абсолютно серьезную мину.— Я вам газетку оставил, образование ваше пополнить решил...

— Откуда же вы браслетики раздобыли?— Даша, смеясь, вытирала слезы.

— У нас всегда с собой.— Сынок сделал обиженную мину.— Без браслетиков нельзя. Скажем, господин попадет, который русского языка не понимает. Ему мой лучший друг Степа-Хан, тихий человек, говорит: мы пойдем гостиницу посмотрим, а вы тут побудьте, газетку почитайте. Вы, к примеру, что сейчас творится в Италии, ведь не знаете? Они, Алексей Спиридонович, вместо ответа по существу за ножик хватаются.

Сынок взял валявшийся на кровати финский нож, протянул Даше торжественно. Она взглянула на серьезную мину Сынка, на сидевшего на стульчаке Леху и снова рассмеялась.

— Вы зря смеетесь, красавица Паненка.— Сынок покачал головой осуждающе.— Вы возьмите эту штуку в руки, она же острая. Они и порезаться могли. Вы обратите внимание, как гуманно с неразумным обошлись. Ведь не в гостиной или в спальне пристегнули. А вдруг они в туалет захотят? Эдак и конфуз получится. Мы такой момент предвосхитили, тут, на месте, посадили, штаники заранее сняли.

Даша заметила, что штаны Лехи действительно лежат на ботинках, а сам герой прикрывается полым пиджаком.

— Да отпусти ты его, Сынок.

Девушка выскочила из ванной и увидела Анну и Хана, которые накрывали на стол в гостиной. На лице Анны сиял румянец, а на смуглой щеке Хана Даша заметила следы помады.

Глава 6

СДЕЛКА

Когда Даша вышла, Савелий Кириллович и Корней спор прекратили. Каждый задумался: а, собственно, зачем они рогами уперлись, что им, и разоиться нельзя? Девушка ушла, исчез зритель, перед которым они разыгрывали ни одному из них не нужный спектакль. Оставшись вдвоем, они неожиданно поняли, что им совсем не тесно, они же единомышленники, и ни к чему им друг перед другом ваньку валять. В братство воровское ни один из них не верил, жизни соседа не ценил, чужими руками взять побольше, самому не замазаться — вот и весь сказ.

Корней взглянул на старика, тот ответил ему мудро, всепонимающим взглядом, и они оба улыбнулись.

— Корней, ты про миллион не шутовешь?— нарушил молчание старик.

— Если не миллион, так тысяч шестьсот должно быть,— ответил Корней.— Но ты же понимаешь, Савелий, сам я на это дело не пойду.

— Оно понятно,— согласился старик,— возмешь, а жизни нет, товарищи весь огород перекопают...

— Может, и не найдут, только я жить хочу, а не ждать, когда рассветет. И что за привычка у уголовки на рассвете приходить?

— Верно, Корней, тяжелая у нас судьба,— вздохнул старик и взглянул хитро.— Самому брать не надо. Кого же ты наладить хочешь?

— Ты видал, двое у меня живут. Хан не отка-

жется инструмент сготовить. Милиционер часу своего ждать будет, он думает: навел сюда уголовку, вот-вот товарищи объявятся.

— А если он по металлу не работает?

— Мелентьева не знаешь? — Корней усмехнулся. — Разве он неумеху пошлет? Раз Иван Иванович прослышал, что мне работник по металлу требуется и решил своего подсунуть, то уж не сомневайся. Мальчик дело знает по высшему классу. Он мне все, как надо, сготовит, тогда Сынок его и убережет за ненадобностью.

— А не пойдет Сынок на мокрое?

— Моя забота. Сынок пройдет по мокрому и дорожку себе назад отрежет. Сам понимаешь, кто товарища убрал, билетик купил в один конец, только вперед, все остальные пути заказаны. Сам по молодости...

— Знаю, Корней! — Старик хихикнул. — Сколько ты ребятишек сыску отдал, свою жизнь выкупая? Ужас...

— Не помню, Савелий, — огрызнулся Корней. — Но вот один человек, его тогда Юрием Семеновичем Кульковым величали, в третьем году, в Новгороде...

— Не по делу меня, Корней, на прошлое потянуло, — скороговоркой перебил Савелий. — Старый я, старый. Ты сказывал увлекательно. Ну, согрешит Сынок по молодости, а дальше?

— Сам он намеренную мной кассу и возьмет. Не век же парню по церквам лазить? Такую удачу Сынку не пережить, — закончил Корней. — Как, Савелий, полагаешь?

— Задумано высоко, Корней, — начал осторожно Савелий, подбирая слова, словно шел по топкому, тропинку нащупывая. — Крепок ты умом, верю, одолеешь Сынка, запутаешь. И удачи ему не пережить, такие деньги кого хочешь убьют. Однако уголовка после смерти своего парня, да раскуроченного сейфа по следу бросится. — Нащупал, нащупал старик твердые камешки, зашагал решительней. — Парня к тебе посылали, сейф опять же. Мелентьев тебя, Корней, искать начнет. Корнея он будет искать, никого другого. — Савелий Кириллович вздохнул облегченно.

— Верно рассудил, только чего радуешься, не пойму? — Корней все отлично понимал и хотел, чтобы старик рассудил не так, но тот рассудил верно. — А чтобы Мелентьев в другую сторону пошел, вы, Савелий Кириллович, соберете сходку деловых. Скажете людям: Корней просит собраться, сам с поклоном придет.

— Можно передать, сейчас в Москве есть люди серьезные. Они к Корнею придут. Да зачем тебе? — Старик взглянул с любопытством. — Сам знаешь, много людей, много языков, слух о том до уголовки дойдет обязательно.

— Вот и ладушки, мне это и требуется. Собирай людей, а твоя доля в моем деле...

— Долю не возьму, — перебил старик. — Мне столько и не требуется. Я людей соберу, приду к тебе и, прежде чем место и час назову, ты мне, Корней, десять тысяч подаришь.

Корней кивнул, и они скрепили договор рукопожатием.

Анна танцевала с Ханом, льнула к нему, ног под собой не чувствовала. Граммофон, который принесла Даша, наигрывал плаксивое танго, порой взвизгивал непотребно. Однако слушали самозабвенно. «Семь бед, один ответ», — думал каждый. Даже Леха-маленький, которого из ванной перевели в гостиную

и пристегнули к креслу, расчувствовался: ему налили два стакана водки. Сынок сидел на диване, поджав ноги по-турецки, курил и смотрел на танцующих одобрительно. Он водку не пил, перед ним стоял стакан с мадерой. Сынок изредка пригубливал и снова курил, беспечно улыбаясь поглядывавшей на него Даше. Это он стал вдохновителем и организатором бунта... «Нельзя сдаваться, принимать условия игры, Корней в бараний рог согнет, использует, как последних фразеров, и убереет за ненадобностью. Надо дурачками прикинуться. — Сынок и не заметил, что в своих рассуждениях себя и Хана воспринимал как единое. — Не знаем мы никакого Корнея, слыхом не слыхивали, бежали мы, помогли укрыться люди добрые, спасибо, поклон вам низкий. Понимаем, должники мы перед хозяевами, так отработаем. Только не на вас отработаем, на себя, а должок отдадим монетой. Необходимо свободу завоевать, потому как запертый в номере — ноль без палочки».

Даша тоже не пила; проснулась в ней бесстрашная Паненка, покуролесила минут пяток, да и завяла, съезжилась. Мелю надобно знать, не девочка. Страх, который она пыталась подавить в себе, сейчас выбрелся из потаенных углов, кольнул больно и не уходил больше. Даша сидела в кресле напротив Лехи-маленького, баловалась папиросой, часто смотрела на дверь — вот-вот откроется. Даша все примечала. Сынок незаметно от водки отказался, сел ближе к двери. Веселье он только изображает, мучительно парню. Наверно, решает — сорваться или не рисковать? Сейчас стрельнет в дверь, и с концами. Кто его догонит? Хан и ухом не поведет, Леха — дурбыла здоровенная — браслетиками к креслу пристегнут, Анна не в счет, а оне, Даша, не побегит. Хан непонятно себя ведет, выпил крепко и с Анны глаз не сводит, словно нет для него серьезней дела, как очаровать эту немочку недобитую. Не нервы у него, а неизвестно что. Может, в уголовке лекарство хитрое дают? Выпил капли, ни страха тебе, ни волнения. На какой фарт мальчонка рассчитывает? Хан танцевал строго, не вихлялся всеми суставами, как у блатных принято, Анну держал крепко, не тискал, вел спокойно и ровно, слегка касаясь ее виска губами. Оценив все это, Даша почувствовала зависть и от зла подумала: «Что же вас, милиционеров, не учат, как танцевать с нами надо?»

Граммофон всхлипнул и умолк, Хан чуть склонил голову, подвел Анну к дивану, посадил рядом с Сынком.

— Жизнь одна, живите, голуби, — сказал Леха-маленький грустно, опомнился, сплел матерную тираду и закончил: — Вот освободят меня, я вам устрою танцы.

— Хан, — Сынок улыбнулся, — отстегни ты хорошего человека...

Хан повернулся к Лехе-маленькому, тот приподнялся вместе с креслом и забормotal:

— Не думай даже, мне так сидеть следует. Конечно, не оправдаюсь, но послабление...

Сынок подскочил к нему, влил в рот стакан водки, закупорил огурцом.

— Хан, милый ты человек. — Сынок остановился посредине комнаты, картинно подбоченился. — Где же тебя так лихо плясать научили?

— Очень хорошо танцуете, Степан. — Анне покраснела и опустила глаза.

— В танце, как и в жизни, все от женщины зависит, — тихо ответил Хан, и странно было видеть на его бронзовом лице улыбку. — Танцевать меня мама учила, она у нас из благородных была.

— Мама? — Сынок помял губами забытое слово.



Давно никто не говорил: «мама», коротко рубят: «мать», шибко поддав, бормочут: «матушка».

Простое теплое слово, произнесенное здесь дважды, заставило всех замолчать. Казалось, пропал сивушный запах водки и кисловатый папирос, пахло свежим утром, молоком и лаской.

Дверь открылась бесшумно. Сынok был так напряжен ожиданием, что первым увидел, как на пороге, прислонившись к косяку, застыл человек в коричневой тужурке с галунами, роста среднего, лет пятидесяти.

— Я твоего имени не называл, — сказал Сынok, подымаясь.

Леха замычал нечленораздельно, пошел к двери, волоча за собой тяжелое кресло.

— Надеюсь, не помешал, любезные? — не обращая на Сынka внимания, сказал швейцар. — Развлекаетесь? Это хорошо, человек рожден для ве-

селья. — Он вошел бочком, налил себе стопку, выпил.

Анна было глянула с ненавистью, но тут же, опустив голову, выскользнула в коридор. Даша не шелохнулась даже, выпустила струю дыма, разглядывала кончик папиросы. Леха опустился в кресло, тряс жирными щеками, хотел сказать, но у него не получалось. Швейцар, ни на кого не глядя, стоя закусывал. Хан налил себе стопку, выпил, хрупнул огурцом и отошел к окну: мол, меня это вообще не касается.

— Чего всполошились? — Швейцар жевал, вытирал рот ладонью. — Отдыхайте, я за документиками зашел, для милиции требуются на прописочку.

— Степа, на выход, нас тут не поняли. — Сынok шагнул к двери. — Документов нет, обобрали нас людишки добрые. Ты, мил человек, скажи, сколько с нас причитается? Мы расплатимся и уберемся, что-

бы не подводить гостеприимное заведение. Тебе сколько?

— Остынь, Сынок, не прикидывайся дурнее глупого. Придет срок, предъявят тебе счетец, не торопись.— Швейцар Петр одернул тужурку, повернулся к Хану.— Пойдем, парень, разговор есть.

Хан кивнул, двинулся молча к выходу, но его перехватила Даша.

— Степан! Она указала на Леху-маленького, который ждал покорно своей участи.

Хан походя отомкнул наручники, бросил их Сынку и молча вышел следом за швейцаром. Потрусил за ними и Леха-маленький.

— Кто такой? — спросил Сынок.

— Кто такой... — передразнила Даша. — Хозяин заведения. Корней.

— Плюнуть не на что. — И для наглядности Сынок длинно сплюнул в угол. — Корней! Скажи еще Наполеон... либо... — Он повернулся к Даше резко. — Корней вот! — Сынок растопырив руки, поднял над головой, изображая богатыря.

— Дурачок глупенький. — Даша хлопнула его по щеке и вышла.

Константин Николаевич Воронцов побрился, вытер лицо одеколоном, надел чистую рубашку. Он сел на подоконник, выглянул на улицу — не так парит, как вчера, но в пиджаке согреешь. Костя положил браунинг в карман брюк, шагнул, пистолет неловко бутылкнулся. В заднем кармане тоже нельзя, без пиджака видно больно. Воронцов подбросил пистолет на ладони, постоял в нерешительности. Может, оставить? На кой ляд он нужен? Затем с тяжелым вздохом надел пиджак, опустил пистолет во внутренний карман и пошел к Мелентьеву.

Субинспектор, как обычно, восседал за совершенно чистым столом, поглаживая пальцами его полированную поверхность, изображая бездельника, благодумствовал.

— Лодыри прикидываются тружениками, работяги бездельниками, человек из себя вечно чего-то изображает? — спросил Воронцов, закрывая за собой дверь.

— А вы идите, Костя, отдыхайте с чистой совестью. — Мелентьев снял со стола пылинку. — Топаете вы на свидание, и прекрасно, не притворяйтесь, что идете по делу.

— А я и не притворяюсь. — Костя сел у стола. — Да совесть грызет, угадал. Я замечаю за собой — нечистая она у меня. — Он глянул на часы, оставив далеко руку.

— Вы при девушке-то так руками не размахиваете, часами бахвалиться не следует.

— Я знаю, почему совесть моя шебуршится. — Костя покраснел, насунил брови.

— Ясное дело, — перебил Мелентьев. — Стыдно вам старым сыщиком командовать. У вас нормальная совесть, Константин Николаевич. Забирайте ее и идите себе на свидание, рекомендую «Савой». Забыл, старый дурак, вы взятку не берете, на зарплату только до швейцара в «Савое» дойти можно.

— Нервничаете, товарищ субинспектор? Может, мне не уходить? Что-то ты сегодня с самого утра не в себе?

Мелентьев вышел из-за стола, заложил руки за спину, хрустнул пальцами.

— Завидую вашей простоте, ясности мышления. Сам-то я, как известно, воспитания буржуазного. Вот и путаюсь, как мальчик в соплях. — Мелентьев взял Воронцова под руку, вывел из кабинета, закрыл за ним дверь.

Костя Воронцов был прав — субинспектор нервни-

чал. Дело в том, что к утру он пришел к мысли довольно очевидной. Когда Сурмина и Батистова из биллиардной к Корнею через проходные дворы вели, то неопытных сотрудников наверняка заметили. Узнав, что за гостями тянулся хвост, Корней нехитрую комбинацию с побегом раскроет. Он начнет гадать, кто из двоих из милиции, и, вполне возможно, за опознавателем пошлет. А кто лучше старого Савепия знает уголовный мир? Никто. Придя к такой мысли, субинспектор накинул на себя одежку старенькую — несколько нужных вещичек всегда в шкафу держал — и быстро-быстро отправился в Марьину рощу к давно ему известному дому. Квартала Мелентьев не дошел — идут двое, один маленький, другой лоб здоровенный. Он еще успел в подъезд втиснуться — мимо Савелий прошмыгнул. Мелентьев к здоровому мужику пригляделся и узнал Леху-маленького.

Субинспектор за ними до гостиницы «Встреча» дошел без приключений. Леха только у дверей оглянулся, но старый сыщик в тот момент уже стоял в подворотне. Он вернулся в кабинет, распорядился навести справки о хозяевах гостиницы, и к обеду о постоянных обитателях заведения знал уже многое.

Анна Шульц и Капустинский фикция, хозяин, конечно, Корней. И исчезнувшая было Паненка объявлялась. Мелентьев ее без труда узнал в горничной Даше Латышевой. Он подобрал на нее имевшийся материал, ничего конкретного, прямых показаний на девочку нет. Корней тоже чист, к гостинице и подступиться не с чем. «Встреча» функционирует два года, сколько же там интересных людей перебывало? Однако из «висячек» — так в уголовном розыске называли нераскрытые преступления — ни одна к Корнею не подходит. Мелкие кражи, уличные грабежи, убийство в пьяных драках — все это Корнею не к лицу, он не станет размениваться. Значит, затаился, готовится, а пока принимает гастролеров, тянет с них помаленьку. Где-то он Паненку подобрал, для чего девочка ему понадобилась? Все это обдумывал Мелентьев, хотел уже Воронцову доложить, решил повременить. Начнется шум, беготня, разговоры, совещания, а тут деликатный подход требуется. «Пока мне на шею с указаниями и сроками не сели, я обмозгую, не торопясь», — решил субинспектор.

Корнеев содержит гостиницу два года. Примерно тогда он и в Москве появился, тихо приехал, с уголовниками не вязался. Видимо, деньги у него были, он Анной Шульц прикрылся и купил гостиницу ее покойного мужа. Не торопился он, приживался, осматривался, надо думать, где-то сейф приглядел. Тут ему работник по металлу и понадобился? Зачем? Батистова и Сурмина он принял, будет теперь с ними разбираться. Нужна связь, как установить? Гостиница... Кто входит в гостиницу без приглашения? Жилец отпадает, они его не примут. Электромонтер... водопроводчик... Можно, но посещение разное, с человека глаз не спускать, как придет, так и уйдет. За едой они, конечно, сами ходят. Что еще? Прачка? Кто-то им стирает, ни Анна, ни Дарья простыни, полотенца да наволочки не осилит. Прачка.

На этом месте и прервал субинспектора Костя Воронцов. Когда Мелентьев выставил начальника за дверь, долго не мог успокоиться, мысли в порядок привести...

Константин Николаевич Воронцов, выйдя из кабинета, задумался. Иван Иванович сегодня на себя не походил. Наверно, он за Сурмина беспокоится, решил Воронцов, спускаясь по лестнице. На улице под

лучами заходящего солнца заботы эти как бы побледнели, а вскоре и совсем растаяли. Было Константину Николаевичу двадцать пять, торопился он на свидание, где ждала его первая любовь.

Костя родился в Москве, но не переставал удивляться этому загадочному, все время меняющемуся городу. Костя много раз слышал — мол, Москва растет и хорошеет с каждым годом. Для него город менялся с каждым днем. Когда бы Костя ни шел по Москве, он всегда видел неповторимое и новое.

Сегодня Костя шагнул по улице и любил ее всю, с обшарпанными домами, новостройкой, дребезжащим по бульварному кольцу трамваем, выползающим с Петровки автобусом, мороженщицей под чадами и папиросниками, которые кинулись, завидев его, в подворотню. Мальчишки испуг только изображали, они-то знали, что Воронцов — мужик мировой.

Он, чувствуя, что за ним наблюдают, сделал лицо строгое, «не заметил» высовывающиеся из подворотни чумазые мордашки, прошел на бульвар и услышал за спиной свист и гвалт выпавшей на площадь ребятни. Лето, сейчас для них лафа, тепло, чуть прикрылся — и одет, народу на улице много, голодным не останешься.

«С беспризорностью пока справиться не можем», — думал Костя, поймав на лету и надкусывая горьковатый липовый лист. — Ни людей, ни денег не хватает. — Костя засмотрелся на молодую пару. Отец нес малыша, жена опиралась на руку мужа. — Все люди, как люди, с детьми, с женами, а я, дурак, с пистолетом», — кокетничал сам с собой Костя, глянул на часы и пошел медленнее, до условленного часа оставалось еще порядочно, а заветная афишная тумба за углом. На тумбе афиши менялись редко. Костя знал, что сейчас увидит поблекшие лица Савицкого и Максакова, которые и «вокаль и сатирики», в ресторане «Арбатский подвал», где ежедневно цыганский хор под управлением А. Х. Христофоровой. Неизвестные Косте Эржеи и Удалцов исполняют комическую четку. Вот взглянуть бы, что за штука четка комическая.

По тому, как сердце больно затяжелело, Костя понял: время. Главное, чтобы пришла, пусть мучает и невеста что из себя изображает, только увидеть, за руку взять, как бы невзначай губами волос коснуться, запах колдовской ощутить. Он уже знал, французские духи «Коти», три рубля грамм. С ума сойти. Он дошел до угла, не завернул, отмерил пятьдесят шагов в обратную сторону, назад проволочился, приблизился к тумбе. Афиши сменили, к чему бы это? Теперь не придет, он тупо смотрел на бумажные незнакомые лица. Какие-то Пат и Паташон. Костя тронул пальцем заскорузлую от клея бумагу, хотел сосредоточиться, прочитать, что же тут написано, — глаза ему закрыли прохладные ладони. Он прижал эти ладони к лицу и неожиданно для себя поцеловал, осторожно поцеловал, боялся спугнуть. Так бы и стоял Костя, будто нет на этой улице ни единой души...

— Здравствуй, — сказал он, снова целуя ладони, повернулся, словно неживой.

Даша, а это была она, похлопала Костю по щеке.

— Здравствуй. Отдай, самой нужны. — И спрятала руки за спину. — Где это ты руки целовать научился?

Костя не ответил, улыбнулся смущенно: если не понимаешь, что я раньше не целовал, то словами не объяснишь. Даша взяла его под руку, сначала Костя стеснялся, теперь привык, даже удовольствие получал. Даша это мгновенно почувствовала: когда сердилась, руку убирала, вела, так сказать, систему поощрения и наказания.

— Ты молодец, Даша, сегодня почти вовремя.

— На минуту раньше пришла, ты из меня солдатку воспитаешь.

— Каждый культурный человек должен быть точным. — Костя немного пришел в себя, даже взгляд поднял. — Ты не голодная?

Даша умилился этот вопрос, который Костя задавал каждый раз обязательно.

— Спасибо, — церемонно ответила Даша, — буржуи накормили меня.

Она придумала для Кости байку, что работает прислужкой в доме нэпмана, и время от времени укрывала свои истории подробностями из жизни «бар». Костя сердился, пытался объяснить, что «бары» кончились, все вышли. Даша упрямо отвечала: «у некоторых» они вышли, а у нее остались...

Костя признался, что работает в милиции, но об уголовном розыске, тем более о должности своей, умолчал. Не от недоверия, а от скромности, считал — похвальбой покажется. Даша знала, где и кем работает Константин Николаевич Воронцов, но о службе никогда не расспрашивала.

Однажды, еще до встречи Паненки с Корнеем, она с двумя мальчиками — вскоре оба окунулись — выходила из «Эрмитажа». Неожиданно мальчики переглянулись, подхватили ее и быстро назад, в тень.

— Воронцов?

— Он. Подлюга. Слышал, на той неделе в Сокольниках в него в упор пальнули и промазали.

— Везучий, черт.

— О ком разговор, ребята? — спросила тогда Паненка. И тут показали ей парня, скромно одетого, ничем не примечательного.

— Запомни его, Паненка, и остерегайся. Только с виду он прост, серьезный мальчоночка, стреляет с обеих рук. Работает Воронцов Константин Николаевич в угро начальником.

Больше года прошло, Даша из гостиницы от скуки убежала, решила по Тверской пройтись. Остановилась у витрины, задумалась, чувствует: рассматривает кто-то ее. Дело привычное, могла уйти и не глянуть. Так нет, черт попутал. Узнала сразу, будто вчера видела, и подумала: «Значит, не прост, курносый, и с двух рук стреляешь?»

— Скажите, как пройти к «Метрополю»? — спросила Даша, нарочно слова с «р» выбрала, потому что нравятся мужчинам, как она картавит славно.

Возможно, специально в Костю уголовники промакивались, берегли для Даши. Она его в лет подстрелила. Костя стоял для окружающих, Даша знала, он у ее ног валяется. Такое и раньше случилось. Но даже бывшая Паненка не видела, чтобы в восемь вечера посреди Тверской начальник из уголовного розыска, вооруженный наверняка, на коленях стоял. «Я тебе покажу, как с двух рук стреляют! А ну, курносый, марш за мной!» И Костя пошел.

Даша познакомилась с Костей из озорства и любопытства. Разных мужчин она видела — сотрудника уголовного розыска в ее коллекции не доставало. Даша с Тверской сразу свернула в переулок и больше уже никогда на центральных улицах с Воронцовым не гуляла. Совершенно ни к чему, чтобы Паненку видели вместе с милым тоном.

В первый день они погуляли полчаса и разошлись, договорившись встретиться через день. Вместо Кости на свидание явился какой-то хмурый и озабоченный парень, пробормотал невнятно, что Константин Николаевич на заседании, и передал записку: мол, просит позвонить завтра. Даша хотела отдать бумажку с телефоном Корнею — пусть распорядится по усмотрению, не отдала. «Я этого курносого, — иначе Даша Воронцова и не называла, — сначала совсем рабом сделаю, там посмотрим, как при-

способить парня». На третьем свидании Костя признался, что работает в милиции, взглянул вопросительно, но так как Даша никакого интереса не вызвала, пояснил, что занимается беспризорниками. О ребятах, живущих на улице, он мог говорить бесконечно, рассказывая Даше, родившейся на каторге, о «кошмарных» родителях и сиротах. Даша молчала, наливаясь злобой, ждала, когда курносый поведет себя, как нормальный мужик, тогда она и отыграется. Как именно и за что отыграется, Даше не было известно. Она, прошедшая огонь, воды и медные трубы, неожиданно выяснила, что не знает обыкновенной жизни с простыми человеческими заботами. Главное, она не все знает о мужчинах.

Курносый был влюблен. Он смотрел большими, лихорадочно блестящими глазами, пытался дотронуться до нее без надобности. Если она «случайно» прижималась к нему, вздрагивал, забывал, о чем говорил, и смешно краснел. Однако о любви молчал.

— Давай, давай, чего маешься, — торопила его мысленно Даша. — Какой отмычкой воспользуешься? У тебя день рождения и ты предлагаешь отметить его вдвоем? Ты не можешь без меня жить, я не должна быть мещанкой? Мужчины перестраивают мир, и женщины должны им помогать? Ты устал и одинок? Чего там еще у вас, мужиков, имеется. Деньги? У тебя денег нет, ясно, как божий день. Оружие? Пистолет у тебя в левом внутреннем кармане пиджака, давай, курносый! Ну, и скука с тобой, от зубной боли подохнуть можно.

Даша гнала, скучно ей не было. Этот парень был абсолютной загадкой. Начать с того, что она не могла понять, сколько ему лет. По годам ясно — четвертак, по уму — сколько? То он смотрит и мычит, как дитя малое, то глянет свысока, скажет снисходительно, и уже не он — Даша словно девочка с бантиками. Известно, оружие для мужчин — любимая игрушка. Имеет парень нож, так то в один карман сунет, снова переложит, не набахвалится. Курносый ни разу и не намекнул, что всегда при оружии. Жарко, парится в пиджаке, нет бы по-человечески объяснить, чушь какую-то про насморк несет. И вообще чокнутый, про девок своих не рассказывает, подвигами не хвастается, а ведь воевал и сейчас работенка у него, как в сказке: чем дальше — тем страшнее. Однажды Даша спросила:

— Костя, ты воевал?

— Все воевали. — Он вздохнул. — Страшное дело.

— Беляки, они ведь звери, — подзадорила Даша.

— Понимаешь, Даша, порой зверем любой может стать, и белый и красный. — Он обнял за плечи дружески. — Надо добиться, чтобы любой человек не забывал, что он... — Костя сделал паузу и произнес по слогам: — Че-ло-век. Высокое звание.

— Я слышала, среди этих, как они, — Даша вроде бы замялась, — уголовников, что ли... «людьми» самых бывалых, заслуженных называют.

— Уголовники — народ чудной, смешные они.

Даша оторопела, все готова была услышать, но такое... Корней смешной? Действительно, можно от смеха умереть.

— Знаешь, Даша, я с фронта вернулся, хотел на завод, а меня в милицию определили. «Я — рабочий!» — кричу. А мне: «Ты сначала большевик...»

— Ты партиец?

— В Кронштадте вступил. Был там такой момент, совсем грустный. Умирать, думаю, всегда неприятно, а молодому — так обидно до слез. Страшно стало, вот-вот побегу либо закричу несуразное, понимаешь, опереться мне было не на что, а без опоры, чую, пропаду позорно. Попросился я в партию, нечестно, конечно. Другие от сознательности вступа-

ют, а я от слабости. Знаешь, на миру и смерть красна.

— На миру! — Даша фыркнула. — Это кто же, кроме тебя да комиссара, про твою партийную бумажку знал?

— Не надо так. — Он взглянул строго. — Ты повзрослеешь, Даша, стыдиться этих слов будешь. Маленькая ты, Даша. Билета мне тогда не дали, откуда у комиссара документы могли быть? У нас ни воды, ни патронов, только злости навалом, на всех хватало. Поднялись люди в атаку, и я со всеми. Кто дошел — жив остался. Комиссар не дошел, позже люди за меня сказали. В Питере партбилет и орден дали... Ну, это к делу не относится.

Они долго тогда молчали. Даша смотрела на Костю, она с того момента перестала звать его про себя курносый, и он ей показался красивым и рослым. Ни ростом, ни красотой Костя не мог похвастаться.

— Так за что же тебя в милицию?

— А что я мог? — Костя пожал плечами. — Кому-то надо, чем я других лучше? Начал работать, так разозлился! Обидно мне, Даша, стало. Столько хороших парней полегло, народ море крови пролил, завоевал жизнь счастливую. Так нет тебе, какие-то Кривые, Косые, ширмачи, паханы жить нормально не дают. Ну, думаю, передавлю, не дам пощады! — Он рассмеялся, махнул рукой. — Молодые все одинаковые: давай, вперед, все ясно и понятно. Хорошие — направо, плохие — налево. Жизнь мне быстро мозги вправила. Где хорошие? Где плохие? Слово-то какое — уголовник. Приглядеться, в каждом человек прячется, в другом так далеко закопался, совсем не видно, однако есть точно, можно раскопать, обязаны. Уголовник! От какого слова произошло, думала? В угол человека загнали, он по слабости стал уголовником. Его надо из угла вывести, каждого отдельно; человек так устроен: его боль — самая большая, обида — самая обидная.

— Хватит! — Даша отпрянула от него, чуть не ударила. — Много ты понимаешь? Думаешь, умный?

Костя видел, ударить хочет, не отстранился.

— Прости, обидеть не хотел.

— А мне ни к чему. — Даша прикусила губу, отвернулась. — Врешь все, слушать противно. Сам же говорил, с сопляками возишься. Ничего ты про загнанных в угол не знаешь, не придумывай.

Костя не ответил, скоро они в тот вечер расстались. Даша не звонила неделю. Костя брал банду, в перестрелке его контузило. Отлеживаясь на диване, Костя думал о Даше. «Не простая она, жизнь девчонку не по шерстке гладила. Видно, прежде чем в прислугу устроиться, уличной была», — рассудил он. — А я, знаток человеческих душ, лезу, за ручку норовлю взять, заглядываю, куда не положено. Каким ни был Костя сознательным, однако от мысли, что Даша в прошлом проститутка, ему стало хуже. Врач сердился, грозил, если Воронцов не прекратит о работе думать, положить в больницу. Даша позвонила, они снова увиделись.

Их встречи продолжались уже два месяца, когда Мелентьев получил данные на Корнея и начал комбинацию, которая называется: ввод сотрудника в уголовную среду.

— Так отвечай, где ты руки целовать научился? — спросила Даша, думая о том, что оно так в жизни и ведется: начальник на свиданке, а из подчиненного сейчас Корней душу вынимает.

(Продолжение следует).

БОРИС
ОЛЕЙНИК

Дождь

Закручинились хлопцы.
Осунулись в думах да хлопотах.
Третий день, пятый день
Льет и льет из небесных прорех.
Над Санжарами дождь,
Над Полтавою дождь. Над Евролою...
На воде закачался комбайн,
Будто Ноев ковчег.
Телефоны не молкнут,
И двери бессонные хлопают.
— Как погода, ребята! —
Звонят из обкома в район.
...Над Санжарами дождь.
Над Полтавою дождь. Над Европою...
Хоть вставай да граблями
Прочесывай весь небосклон.
А какой урожай
Пропадает под ливнями-грозами!
Вот хоть сядь и заплачь
Иль за дедову косу берись...
— Не журишь, секретарь!
Если надо, мы сможем и косами.
Ведь косили ж в войну!
Ну, а тут... Соберем — не журишь!
Трактора буксовали
В просторах, ветрами просвищенных,
Люди шли все и шли —
И тогда уступали дожди.
На плечах секретарских
Болонья при молиньных выверках
Плащ-палаткой военной
Летела у всех впереди.
Земляки дорогие мои,
Коммунисты районные!
В этой схватке с грозой
Голос ваш удивительно креп.
Ваши губы шершавые,
Жаждой крутой опаленные,
Даже в снах — слишком кратких —
Твердили настойчиво: — Хлеб!
И когда вы сошлись,
Натрудясь и намазавшись досыта,
На последнем покосе,
Забыв о себе вгорячах,—
Вся Европа дивилась
И жмурилась молча от отвеса
Полновесного солнца,
Что спало на ваших плечах.

Микола Кибальчич

Чудаковатый местечковый поп,
Копаться не любивший в древних книгах,
Хоть тем сумел доить святой Чернигов,
Что народил детишек целый сноп.

Добротный грунт нащупал сербский корень.
Поповы дети крепили и росли
Средь мазанок, под гулы колоколен,
Вдыхая запахи родной земли.

...По-здешнему Миколой нареченный,
Он смугл был не по-здешнему лицом,
Но наши сказки, смысл их потаенный
Впитал он с материнским молоком:

Из бора шеп угрюмый Кармелюк,
Друзей скупая голосом тревожным,
И для него на вязе придорожном
Паны высматривали крепкий сук.

— Добегался, злодей! Попался, вор!
В Сибирь его! На цепь его! В колодку! —
Но он, нарисовав на камне лодку,
Как в море, выплыл в тот подольский бор.

Да, были сказки. И в домашний быт
Врывались ярко звезды среди ночи,
И черные его блуждали очи
По копейм немыслимых орбит.

О небо! О созвездья изземные!
Как грудь его сжигал Икара пыл!
Но были на земле дела такие,
Что вместо крыл он бомбу смастерил.

Как новая звезда, она взошла
На мартовском угрюмом небосклоне,
Но, угодив в монарха, не смогла
Оставить и царапины на троне.

— Попался, вор! На сук его! На сук! —
Был Петербург охвачен вестью новой,
И, с пеною у рта, петлей пенковой
Размахивал на руку скорый суд.

Солдаты стыли в ледяном каре,
В квадрате том угадывалась плаха,
И барышни скакали из карет
И прятались в зонты свои от страха.

А он был рад: в темнице навсегда
От будничных забот освобожденный,
Он в небо устремлял свой взгляд бессонный,
И в камеру к нему неслась звезда.

И ближе смерти свет тот звездный был
И недоступней идеальной формы...
И, поднятый с кровати вихрем формул,
Он у стены в прозрении застыл.

На скользкий камень линия легла.
Потом — вторая. Сгиб. Пересечение...
И первый всплеск орлиного крыла,
И космос, грянувший, как избавенье.

Когда с петлей на шее он стоял
И не просип ни у кого защиты,—
Корабль его незримый

выплывал

На колесо
немыслимой орбиты!

Перевел с украинского
Л. СМЕРНОВ



**АГНИЯ
БАРТО**

*Закр
шторами окно*

Закр
Несется музыка с экрана.
И смотрит женщина с дивана
Смешное детское кино.

Сурово смотрит, без улыбки,
Как пляшут золотые рыбки.
Наверно, думает о сыне,
О паренке в матроске синей.

Давно над ним склоняют ветви
Две елки летом и зимой,
Но для нее — девятилетний —
Бежит он с книжками домой.

Не заживает эта рана,
И ей закрыться не дано.
... Играет музыка с экрана
И смотрит женщина с дивана
Смешное детское кино.

*Влюбилась
наконец-то!*

В ее душе
Волна волнений:
— Ура, не может быть
Двух мнений!
Я наконец-то влюблена!

Она влюбилась
Наконец-то!
Но не ушла еще
Из детства.

Эрудит

Он говорит — я эрудит!
Но чушь такую городит!
Во-первых, он энтузиаст,
С наукой так сдружился,
Что за науку он отдаст
И жизнь свою и джинсы.
Он, во-вторых, духовно чист,
Но... убежденный эгоист,

Эти стихи Агния Львовна Барто передала в «Юность» незадолго до своей кончины.

На жизнь смотреть он призван
Сквозь призму эгоизма.
И он психолог, в-третьих!
Как гениальнее расти,
Он хочет опыт провести
На одаренных детях.
Он и в искусстве эрудит,
Но на искусство он сердит,
Он скоро новое родит...
Конец, довольно чуши,
Спасите наши уши!

*Если нам
придется туго!*

Было раньше в нашем классе
Много всяких катавасий:
Были радости, печали,
Мы под партами мычали,
Но друг друга выручали.

А теперь другими стали:
Никуда не мчимся стаей...

Ходит парень полусонный,
Занят собственной персоной.

Без дискуссий и полемик
Каждый чуть не академик...

А девчонки хорошеют,—
Украшения на шее,
В волосах у них заколки,
А слова довольно колки!

«Что поделать — трудный возраст!»
Часто слышим этот возглас,
Но мы выручим друг друга,
Если нам придется туго!

Хандра

А у меня опять хандра!
Мне скучно с самого утра.
Тоскливо целый день.
Мне говорят, что я хитра
И это просто пень,
Что в младших классах
Не хандрят!
Тогда пускай нам говорят:
С какого возраста хандрят!
Мол, подожди годочка три,
Тогда, пожалуйста, хандри!

Разрыв

Помнишь, мы с тобой дружили.
Мы ошиблись — мы чужие.

Ты у самой себя в плену,
И любишь ты себя одну.
И даже чувствуя вину,
Не дашь себя переупрямить.
Подарок твой тебе верну,
Оставь его себе на память.

Смелая художница

Осень — смелая художница —
Всюду с краской расположится.
И оранжевые клены —
Все оттенки и тона,
И кустарник раскаленный
Докрасна,
На березах позолота —
Это все ее работа.
Попросили как-то осень
Сад покрасить в ровный цвет.
— Где хотим, там красок бросим,
Говорит она в ответ.—
На заказ приема нет...

Точный ответ

Мы попросили дать ответ:
В поход пойдем мы или нет!

Он нам ответил: Очевидно,
Наверно. В общем, будет видно.
Хотя, конечно, может статься,
Что вам придется и остаться.
Возможно... Но верней всего...

Нет, мы сбежали от него!

В августе

Летели птицы стаями
И в вышине растаяли,
У них особые пути —
Свои дороги тайные...

Путь к вышине —
Высокий путь.
Найти бы мне
Когда-нибудь.

Желтый лист взлетел, как птица,
С яркой меткой на крыле
И упал. И золотится
Напоследок на земле.

Ее наследство

С лекарством рядом у старушки
Лежат стихи — старинный Пушкин.

Старинный, то есть с твердым знаком.
Прекрасен он в издании всяком,

Но для нее он в этом томе
Звучал еще в отцовском доме,

Его читал еще отец твой,
И все вошло в это наследство,

В родине строки, в шрифт убористый
Вся жизнь вошла и старость тоже.

Былые радости и горести
Ты перечитываешь лежа.



Поэзия



СЕРГЕЙ
ПОТАШОВ

☆☆☆

С холма на холм. Разбита вдрызг дорога.
Где поскользнешься вдруг — не угадать.
Две-три версты до отчего порога,
И не сумею с сердцем совладать.

На камень сяду. Для чего — не знаю.
Ведь не сказать, что выбился из сил.
И так подробно детство вспоминаю,
Где эту грязь по осени месил.

Я даже рад, что поделиться не с кем,
С какой тревогой в городе живу
За все поля, озера, перелески,
Что в обиходе Родины зову.

А как я жду отпущенного срока,
Чтобы сюда податься напрямиком:
Зальется пес, завершит сорока,
И мать слезу размажет кулаком...

☆☆☆

По программе школьной учим классику.
На любой роман из давних лет
Еле-еле выкроим по часику,
Чтобы только выудить сюжет.
На урок идем, как на мистерию,
С путаницей образов, идей.
По не очень внятному критерию
Отчисляем в «лишние» людей.
Не имея собственного мнения
И любви к родному языку,
Пишем выпускные сочинения
По хрестоматийному мазку.
Признаюсь, что и меня не трогали
Взятые в отрывках письмена.
Исключеньем были Чехов с Гоголем,
Да Толстой. Особенно — война.
Может, и прожил бы, благоденствуя,
Мой литературный интерес,
Если б, истомившись от бездействия,
В пыль библиотечную не влез.
Не нашедши детектива броского,
Я, как суслик, угодил в силки
Комедийной горечи Островского,
Лирики тургеневской строки.
И теперь, сбегаю от приятелей,
Все боюсь — не хватит вечеров:
Открываю заново писателей —
Герцен, Достоевский, Гончаров...



СОБЕСЕДНИКИ
ЛЕНИНА



СЕРГЕЙ
КОРИЧЕВ

18 апреля 1921 г.

Ленин беседует с представителем Чувашского облисполкома С. А. Коричевым о положении в Чувашии и настроениях крестьян, обещает обсудить на заседании СТО вопрос о помощи Чувашской автономной области.

(Владимир Ильич Ленин.
Биографическая хроника.
т. 10, стр. 324 — 325).

Если бы в пятнадцатом году солдату царской армии чувашу Коричеву сказали, что через несколько лет на его родине будет создана Чувашская социалистическая республика и он возглавит ее правительство, он бы, наверное, подумал, что над ним просто смеются. В темноте и невежестве жил чувашский народ («народ без истории», как о нем тогда говорили). Разве может произойти чудо его возрождения? Но «чудо» свершилось, и то, о чем крестьянский сын Коричев и мечтать не мог, стало явью.

Нужду и голод Сергей познал в буквальном смысле слова с пеленок. Ему было несколько месяцев от роду, когда в России в 1891 году разразился голод. «Я оказался отлученным от груди матери и питался исключительно суррогатами, главным образом лебедой», — писал С. А. Коричев. Но он выжил. Окончил четырехклассную земскую школу. Однако учиться в средней школе (находившейся в 60 верстах от дома) не мог «за полным отсутствием денег», как сказано в той же автобиографии.

Четырнадцатилетним подростком Коричев начал трудовую жизнь. Матрос на барже. Кочегар на пароходе. Слесарь. С 1912 года служба в армии. На четвертый день мировой войны (4 августа 1914 г.) первое ранение, в ноябре — второе, еще через три месяца — шесть ран в одном бою. Почти полгода лежал в госпитале, потом «для поправления здоровья» отпущен на родину. Тогда и взялся за самообразование. Стали возникать трудные вопросы. «За что меня наградили Георгиевским крестом 4-й степени, это понятно, — рассуждал Коричев, — а во имя чего я, рискуя жизнью, шел в штыковую атаку? За что воюю?»

В свой полк он вернулся уже не таким замкнутым и молчаливым, каким был прежде. Голос его слышали и в той роте, где он служил, и в соседних. А когда после Февральской революции избирали ротный и полковой комитеты, в них вошел и Коричев.

Новым ветром повеяло и на родине Сергея. Крестьяне оживленно обсуждали необыкновенные вести из Петрограда: свержение царя, Октябрьская революция, первые ленинские декреты... Позднее друг

В очерке использованы документы, хранящиеся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, в партийном архиве Чувашского обкома КПСС и в Государственном архиве Чувашской АССР.

Коричева народный поэт Чувашии Педер Хузангай так писал о том времени:

День и ночь шумит селенье:
— Говорят, приехал Ленин!
— Говорят, он из Симбирска!
— Ну, до нас оттуда близко!
— Не чуваш ли он? — Наверяд!
— Русский, люди говорят.

Мы на печке закопченной
Рады слушать стариков:
— Говорят, что он ученый,
Знает много языков.
— Ну, тогда он нас поймет!
Ждет защиты весь народ.

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Февраль 1918 года. Сергей Коричев возвращается в родную деревню Можары Чебоксарского уезда и становится неприменным оратором на сельских сходах. Его избирают делегатом на съезд Советов Казанской губернии, а на съезде — членом губисполкома.

В мае 1918 года при Народном комиссариате по делам национальностей учреждается Чувашский отдел. Заместителем заведующего отделом назначается Сергей Андреевич Коричев, незадолго перед этим вступивший в партию. Задача отдела — пропагандировать среди чувашей идеи Советской власти, развивать их массовое самосознание, вовлекать население в строительство новой жизни. Двадцатисемилетний Сергей Коричев представляет чувашский народ в центральном органе власти и в то же время является представителем центра в населенных чувашами районах Поволжья.

Гражданская война. В мае—августе восемнадцатого года, когда разгорался мятеж чехословацкого корпуса, Коричев появляется то в одном, то в другом селении прифронтовой полосы, распространяет плакаты и воззвания ВЦИК на русском и чувашском языках, разъясняет людям, что несут белочехи трудовому народу. По призыву агитатора многие чувашши пополняли ряды бойцов, крестьяне сдавали хлеб в фонд помощи Красной Армии, Москве и Петрограду.

Чувашский отдел Наркомнаца издает газету «Каваш» («Совет»), общественно-политический, литературный и научный журнал «Шурампус» («Заря») и сельскохозяйственный — «Ана» («Нива»), выпускает брошюры, открывает в чувашских селениях школы грамоты для взрослых и клубы; только за первые четыре месяца девятнадцатого года открылось 80 школ и 38 клубов. На подмостках передвижного театра, восторженно встречаемого населением, впервые зазвучали на чувашском языке пьесы Чехова и Гоголя, Островского и Толстого. Во многих этих начинаниях немалая заслуга С. А. Коричева.

Обстановка на фронтах гражданской войны требовала пополнений, особенно кадрами командиров и политработников.

«Центральный Комитет РКП (большевиков) постановил отправить на фронт нижепоименованных товарищей...» — читаем в сообщении, опубликованном в «Правде» 17 апреля 1919 года. Далее следуют фамилии работников ряда комиссариатов и других центральных учреждений; из Наркомата по делам национальностей — шесть человек, в том числе С. А. Коричев. В тот же день во Всероссийском бюро военных комиссаров ему вручили удостоверение, в котором говорилось, что он направляется в распоряжение по-

литотдела 2-й армии Восточного фронта для работы среди бойцов-чувашей. Коричев возглавлял чувашскую секцию политотдела и первым делом организовал выпуск газеты «Красный воин» на чувашском языке. Нарасхват была она в полках, в составе которых сражались с врагом красноармейцы-чувашши.

«Основная карта коммуниста» — так называлась анкета, которую Коричев заполнил в апреле девятнадцатого года. Отвечая на вопрос: «К какой работе чувствуете наибольшую склонность?» — он написал: «К партийной, полковой, а также культурно-просветительной работе среди чувашского крестьянства и пролетариата».

В конце августа 1919 года, когда обстановка на Восточном фронте значительно улучшилась, Коричев отозвали в Наркомнац. И снова он не столько в центре, сколько в гуще народной.

Выступая 17 июня двадцатого года на первом съезде чувашских секций и ячеек РКСМ и активных работников комсомола, он призвал комсомольцев к активному участию в борьбе за упрочение завоеваний Октябрьской революции. В принятой на съезде резолюции перед комсомольцами ставилась задача: «Вести усиленную агитацию среди чувашской молодежи, а также среди чуваш вообще, что ни пан, ни генерал, ни кулак, ни спекулянт не улучшат наше настоящее трудное положение, и нам самим нужно строить новую жизнь; только доблестная Красная Армия даст нам возможность приступить за наше собственное святое дело — мирный труд».

Наркомнац, а также местные партийные и советские организации развернули деятельную подготовку к созданию национальной чувашской автономии.

Из Биографической хроники В. И. Ленина:

22 июня 1920 года Ленин участвует в заседании Политбюро ЦК РКП(б), на котором обсуждается вопрос о создании автономной Чувашской области; в тот же день, поздно вечером, Ленин председательствует на заседании Совнаркома и в ходе заседания подписывает проект постановления ВЦИК и СНК об автономной Чувашской области. В первом пункте этого постановления говорится:

«Образовать Автономную Чувашскую область как часть Российской Социалистической Федеративной Советской Республики с административным центром в г. Чебоксарах...» (В проекте было напечатано: «в г. Чебоксары», и Ленин внес грамматическую поправку: зачеркнув букву «ы», написал сверху правильное окончание.)

Весть о правительственном декрете облетела большие и малые чувашские селения. В области объявили «неделю торжества». На собраниях и сходах, отмечал Коричев в газете «Жизнь национальностей», рабочие и крестьяне горячо приветствовали заботу Советской власти о чувашском народе. Первейшая задача сейчас, писал он, создать боевой аппарат управления областью, принять меры к подъему ее экономики, позаботиться прежде всего о развитии существующих кустарных промыслов (колесных, корзиночных, валяльных и других мастерских).

7 ноября 1920 года. Народный дом в Чебоксарах заполнен до отказа. На эстраде, за столом, покрытым красным сукном, Ревком в полном составе. В торжественной обстановке открывается первый, учредительный съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Чувашской автономной области. Приветствуя съезд от имени чувашского отдела Наркомнаца, Коричев говорит о двойном празднике чувашского народа, который, отмечая 3-ю годовщину Октябрьской революции, радуется и предоставленной автономии. «Если бы стояли у власти представители других партий, — продолжает он, — мы этого

счастья не дождались бы, и чувашский народ был бы осужден на постепенное вымирание. Теперь положение дел изменилось. Чувашскому народу предложена возможность самостоятельного развития. Речь Коричева встречена аплодисментами и, как написано в протоколе съезда, «музыка исполняет «Интернационал».

К ЛЕНИНУ!

В тяжелых условиях происходило становление хозяйства и культуры области. Экономика Чувашии была подорвана. Снизилась урожай, почти полностью прекратился товарооборот между городом и деревней. Деревня не получала нужных ей товаров. Этим воспользовались кулаки и их подголоски, подбивая крестьян на выступления против Советской власти. А когда областные организации с целью сохранения зерна для весеннего сева дали указание о ссылке его в общественные амбары, контрреволюционная деятельность усилилась: кулаки и их подручные убивали коммунистов, комсомольцев, советских работников, в некоторых селениях разогнали Советы и вместо них «избрали» сельских старост. Областные организации приняли решительные меры к подавлению кулацкого восстания.

В обласполком, заместителем председателя которого был в то время С. А. Коричев, поступало много жалоб на нехватку в деревнях мануфактуры, обуви, посуды и других товаров первой необходимости. Нужна была срочная помощь центра. С ходатайством обкома партии и обласполкома Коричев едет в Москву, в Совнарком.

До железнодорожной станции Канаш, что в восьмидесяти километрах от Чебоксар, Коричев, как он вспоминал, доехал очень быстро: со сменой лошадей всего за семь часов. «Всю дорогу бушевала вьюга,— писал он,— но в душе у меня было тепло и уютно: я еду к Ленину».

Впервые Коричев увидел Ленина за три года до этого на трибуне в Большом театре. Коричев получил тогда гостевой билет на объединенное заседание ВЦИК, Моссовета и профсоюзов. На этом заседании Председатель Совнаркома выступал с докладом. К тому моменту прошло лишь семь месяцев со дня свержения власти помещиков и капиталистов. Огромные трудности стояли перед страной. Неизмеримо легче победить в восстании, говорил Ленин, чем решить организационную задачу перехода от капитализма к социализму. С негодованием вождь революции бичевал меньшевников, кулаков, спекулянтов. И убедительно разъяснял участникам заседания три основных лозунга тех дней: централизация продовольственного дела, объединение пролетариата, организация деревенской бедноты.

Чем больше деталей того памятного выступления Ленина вспоминал Коричев, тем сильнее становилось его желание встретиться с ним лично. Удастся ли?

Прибыв в столицу, он тотчас отправился в Кремль.

— Ленин примет вас в 6 часов вечера,— сказала ему секретарь Председателя Совнаркома Л. А. Фотиева, доложившая Владимиру Ильичу о приезде представителя Чувашии.

...Чувашский народ. Еще в детстве узнал о нем Ленин. В его родном городе Симбирске была чувашская школа, и Володя Ульянов нередко бывал в ней вместе со своим отцом. И. Н. Ульянов, директор народных училищ Симбирской губернии, много сделал для того, чтобы дети чувашей могли учиться. Семья

Ульяновых находилась в дружеских отношениях с И. Я. Яковлевым, выдающимся педагогом-просветителем, создателем чувашского алфавита и чувашской учительской школы, автором букварей, учебников и книг для чтения. Именно по просьбе Ивана Яковлевича гимназист Владимир Ульянов взялся бесплатно подготовить чувашского учителя математики Н. М. Охотникова к сдаче экзаменов на аттестат зрелости по греческому и латинскому языкам. Полтора года, регулярно три раза в неделю он занимался с ним. Охотников успешно сдал экзамены за полный гимназический курс и получил возможность поступить в университет.

Уважение к малым народностям, веру в их будущее молодой Ленин воспринял от своего отца. Примеров уважительного и заботливого отношения Илья Николаевича к чувашам множество. Упомяну лишь об одном любопытном эпизоде, рассказанном Н. К. Крупской в воспоминаниях о Ленине. В 1937 году Надежда Константиновна получила письмо от старого чувашского учителя И. Я. Зайцева, который написал о случае, запомнившемся ему на всю жизнь. В тот день в одном из классов школы на уроке математики был И. Н. Ульянов. Вызвав к доске 13-летнего Ваню Зайцева, он продиктовал ему, а затем разъяснил задачу, в условиях которой несколько раз встречалось слово «гивенник». При этом Ваня заметил, что Илья Николаевич, который чуточку картавил, произносил: «гивенник». Это поразило мальчика и, когда после обеда задали сочинение на тему «Впечатление сегодняшнего дня», именно об этом он и решил рассказать («Я от природы был прост, наивен, впечатлителен и правдив»,— писал И. Я. Зайцев Крупской). Главную мысль того залоупотребленного сочинения Ваня излагал так: «Я, ученик, и то умею правильно произносить звук «р», а он— директор, такой большой и ученый человек, не умеет произносить звук «р»... Через два дня, раздавая тетради, учитель со словом: «Свинья!»— швырнул в лицо Зайцеву его сочинение, усмотрев в нем насмешку над начальством. Со слезами на глазах глядел Ваня на свою работу, перечеркнутую красным карандашом; внизу красовалась большая ноль. Случилось так, что во время этого урока в класс опять вошел И. Н. Ульянов. Он прохаживался между партами и, увидев раскрытую тетрадь Зайцева, остановился. Положив руку Ване на плечо, а другой взяв тетрадь, Илья Николаевич стал читать сочинение. Читает и улыбается. Потом подзвал учителя и говорит: «За что Вы, Василий Андреевич, наградили этого мальчика орденом красивого креста и огромнейшей картошкой? Сочинение написано грамматически правильно, последовательно, и нет здесь ничего выдуманного, искусственного. Главное,— написано искренно и вполне соответствует данной Вами теме». С этими словами Илья Николаевич взял у Вани ручку, написал в конце сочинения: «Отлично»— и подписался: «Ульянов».

Рассказав об этом маленьком, но очень характерном эпизоде, Крупская пишет, что отношение И. Н. Ульянова к национальным меньшинствам повлияло «на всю революционную деятельность Ильича».

...Вполне вероятно, что, узнав о приезде представителя Чувашии, Ленин вспомнил рассказы отца о чувашах, свои занятия с Охотниковым и встречи с Яковлевым, о котором после революции неоднократно проявлял заботу; так, 20 апреля 1918 года, узнав о несправедливом отношении к старому педагогу, Ленин телеграфировал председателю Симбирского Совдепа: «Меня интересует судьба инспектора Ивана Яковлевича Яковлева, 50 лет работавшего и национального подъемом чуваш и претерпевшего ряд гонений от царизма».

Вернемся, однако, к Сергею Коричеву, которого мы оставили в приемной Председателя Совнаркома в радостном возбуждении от известия, что через несколько часов он будет принят Лениным.

«...Погруженный в думы о предстоящей встрече, — писал в своих воспоминаниях С. А. Коричев, — я, очевидно, перестал на некоторое время воспринимать окружающее, потому что не помню даже, как вышел из здания»...

За пять минут до назначенного времени Сергей Андреевич вошел в приемную, а ровно в шесть услышал голос секретаря: «Товарищ Коричев, пожалуйста, к Ленину».

Коричев далее пишет:

«...Ильич поднял голову, встал, посмотрел пристально, немного прищуренными глазами и приветливо, как давно знакомый человек, произнес:

— Здравствуйте, товарищ Коричев, присаживайтесь, рассказывайте.

При этом поздоровался за руку.

Думая, что так будет вернее, я подал ему свое ходатайство, но Владимир Ильич положил его на стол и попросил суть вопроса изложить устно. Когда я закончил краткое сообщение, он спросил:

— Каково настроение у чувашских крестьян?

Вопрос был задан в такой непринужденной форме и в таком тоне, что я сразу забыл все заготовленные ответы и сказал:

— Бедняки и середняки-крестьяне стоят за Советскую власть, ее считают своей, но есть ропот на то, что мало товаров. Кстати сказать, — продолжал я, — крайним недостатком товаров нынче зимой воспользовались кулаки, им удалось привлечь на свою сторону и часть трудящихся крестьян, которая затем поняла свою ошибку и отошла от кулаков...

— Ну, что ж, поможем, — сказал Владимир Ильич и, как вспоминает Коричев, на докладной записке обкома и облисполкома наложил резолюцию: «Тов. Брюханову. Подготовить материал и внести завтра на заседание СТО».

Затем что-то написал в своем блокноте. Не помня себя от радости, с резолюцией Председателя Совнаркома я отправился в Наркомпрод, помещавшийся тогда в ГУМе...

На следующий день для рассмотрения ходатайства Чувашской области Совнарком образовал комиссию, в которую вошли представитель Чувашии С. А. Коричев, представитель Наркомпрода и Комиссии по использованию материальных ресурсов при СТО. «Созыв комиссии поручается представителю Чувашской области», — говорилось в этом решении.

После рассмотрения ходатайства в комиссии вопрос 20 апреля был вынесен на заседание СТО (докладывал Коричев).

Совет Труда и Оборона, «принимая во внимание исключительно тяжелое положение Чувашии», постановил в срочном порядке отпустить ей 200 тысяч аршин суровья и выделить фонд в размере трех тысяч пар обуви. Подотделам Особпродукта предлагалось принять меры к срочной реализации имевшихся к тому времени нарядов для Чувашии. Комиссии, назначенной Совнаркомом 19 апреля, предлагалось продолжить свою работу с тем, чтобы «искать способы к дополнительному удовлетворению Чувашской области»...

Думается, что в какой-то мере это указание — результат упорства, с каким молодой посланец Чувашии настаивал на возможно полном удовлетворении ходатайства, с которым прибыл в Москву; иногда, не соглашаясь с мнением других членов комиссии, он просил ввести в протокол свое, особое мнение.

Уместно в связи с этим привести характеристику,

утвержденную президиумом Чувашского обкома партии 30 августа 1920 года. «Характер твердый, силу воли имеет, настойчив и тактичен», — говорится в ней о Сергее Коричеве. Интересно, что шестьдесят лет спустя, когда летом 1980 года я беседовал в Чебоксарах со старым коммунистом А. В. Васильевым, знавшим Коричева по работе в Чувашии, он точно такими же словами характеризовал Сергея Андреевича. При этом подчеркнул его общительность и заботу о людях. «И еще запомнилось мне, — добавил Алексей Васильевич, — умел он убеждать, говорил увесисто».

26 апреля 1921 года вопрос о Чувашии рассматривался на заседании Совнаркома, проходившем под председательством Ленина. В принятом на этом заседании постановлении «О мерах по улучшению снабжения Чувашской автономной области предметами фабрично-заводской и кустарной промышленности» Совнарком предложил принять срочные меры к отправке в Чувашию мануфактуры, назначенной ей по плану, и 99 200 аршин тканого штучного товара, а также незамедлительно реализовать наряды на спички, папиросы, махорку, посуду, ламповое и оконное стекло и другие товары. Было решено выдать Чувашии дополнительно галантереи на сумму 1 миллион рублей. Совнарком также признал желательным отпустить Чувашии еще 100 тысяч аршин суровья, предложив Комиссии использования «выяснить возможность такого отпуска».

По тем тяжелейшим временам Чувашия получала немалую помощь. И Коричев возвращался в Чебоксары полный чувств горячей благодарности Ленину за его заботу о чувашском народе.

В БОРЬБЕ С ГОЛОДОМ

Страшным бедствием обрушился на Поволжье в 1921 году небывалый голод. «Русских и мусульман, оседлых и кочевых — всех одинаково ждет лютая смерть, если не придут на помощь свои товарищи — рабочие, трудовые крестьяне, пастухи и рыбаки из более благополучных местностей», — писал Ленин 7 октября 1921 года. — Конечно, Советская власть со своей стороны спешит на помощь голодающим, она послала уже им в срочном порядке более 12 миллионов пудов хлеба на озимое обсеменение, посылает сейчас продовольствие, организует столовые и прочее. Но всего этого мало. Беда так велика, Советская республика так разорена царской войной и белогвардейцами, что государственными средствами можно кое-как пропитать до будущего урожая едва 1/4 часть нуждающихся».

А остальные? Их могут спасти своими жертвованиями трудящиеся других районов страны. И что-бы они лучше узнали, что творится в охваченных голодом местностях, в частности в Чувашии, областная комиссия помощи голодающим выпустила брошюру под названием «Штрихи к голоде». О большом внимании Владимира Ильича к положению в Чувашской области свидетельствует, помимо всего прочего, и тот факт, что эта брошюра имеется в библиотеке Ленина в Кремле. Маленькая эта книжечка насыщена леденящими душу фактами народного бедствия.

Об обстановке тех дней лаконично и образно сказал на областной беспартийной конференции делегат Ибресинского уезда крестьянин Паймин:

— Жизнь замерла, затихла. В деревне не поют петухи, не лают собаки. Даже воробьи — и те не чирикают. Пожрал голод все.

Не было тогда у партийных и советских работников Чувашии более важной задачи, чем помощь го-

лодающим, и прежде всего — спасение детей; сотнями и тысячами вывозили их в Москву, Нижний Новгород и в другие города, где устраивались для них приюты. Ни минуты покоя не знал председатель облисполкома Коричев, возглавивший областную комиссию помощи голодающим. То он едет на продовольственные склады, чтобы лично проконтролировать распределение продуктов, то спешит на питательные пункты, в больницы, к местам сбора эвакуируемых детей... А становится особенно тяжело, едет в Москву. Его не раз видели в Московском горкоме партии, в Моссовете, в наркоматах, на предприятиях... И призывы его находили живой отклик в сердцах москвичей. Позднее он скажет, что трудящиеся Москвы и Московской губернии спасли от смерти десятки тысяч жителей Чувашии.

Работников облисполкома председатель призывал удвоить, утроить усилия в борьбе с голодом; призывавших подбадривал, убеждал... Но вместе с тем, когда требовалось действовать решительно. Вот один из документов того времени. Чтобы быстро разгрузить прибывшую в Чебоксары баржу с солью, в которой население остро нуждалось, Коричев от имени президиума облисполкома предписал заведующим отделами облисполкома 13 октября 1921 года в 12 часов дня, «прекратив занятия, явиться со всеми служащими, как техническими, так и руководящими, на Волгу, к месту стоянки барж». Далее указывалось, что женщины являются туда по желанию, а мужчины «обязательно, все без исключения». И следовало серьезное и очень строгое по тому времени предупреждение: «Лица, не исполнившие сего приказа, будут лишены продовольственного пайка в пользу голодающих».

Борьбе с голодом он отдавал все свои силы. О том далеком времени напоминает хранящийся в домашнем архиве Коричевых такой документ, крупно написанный на большом листе плотной бумаги:

«ЦК Последгол¹ ВЦИК

Тов. Сергею Андреевичу Коричеву

ЦК Последгол ВЦИК преподносит Вам для ношения жетон за труды, понесенные Вами в деле борьбы с голодом и его последствиями.

**Председатель ЦК Последгол ВЦИК
М. Калинин.**

По значению своему этот жетон, наверное, стоит ордена.

Но и в дни борьбы с голодом не забывалось важнейшее дело укрепления чувашской государственности. 22 января 1922 года Коричев подписывает постановление исполкома, в котором говорится:

«В основу образования Чувашской области была положена мысль о необходимости приспособления Советского аппарата к местным национальным особенностям края, при посредстве введения чувашского языка в качестве государственного во всех местных учреждениях, школе и суде...» Исполком постановил: с 1 марта 1922 года ввести чувашский язык во всех государственных, советских и кооперативных учреждениях; преподавание в школах, а также судопроизводство для чувашей вести на чувашском языке.

Летом 1922 года народ вздохнул свободней: хороший урожай вселял надежду на преодоление страшного бедствия. 7 июля 1922 года председатель Чувашского облисполкома С. А. Коричев от имени всех

крестьян, рабочих и служащих Чувашии писал В. И. Ленину:

«Трудящиеся-чуваши, в союзе с трудящимися всех национальностей, самоопределив свою судьбу, скинув с себя вековой национальный гнет, ныне при действительной поддержке российского пролетариата и крестьянства идут к полной победе над голодом, темнотой и хозяйственной разрухой».

ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Тысяча девятьсот двадцать пятый год. Чувашская автономная область преобразована в Чувашскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. Правительство республики — Совет Народных Комиссаров — возглавил 35-летний Сергей Коричев.

В Государственном архиве ЧАССР знакомлюсь с документами тех дней. Вот протокол первого (организационного) заседания СНК. Во вступительном слове Коричев говорит, что преобразование области в республику открывает новые возможности дальнейшего политического, экономического и культурного развития Чувашии. Совнарком еще не имеет опыта работы. Что ж, будем учиться. Он призывает наркомов осознать трудности их предстоящей деятельности и проникнуться чувством большой ответственности за порученное дело. «Решения Совнаркома, — подчеркивает он, — должны быть продуманными и соответствовать требованиям закона и жизни». Председатель СНК напоминает, что, осуществляя мероприятия, указанные центральными органами, Совнарком должен принимать и те меры, которые вытекают из особенностей Чувашии и в конечном счете способствуют успешному решению задач Советской власти.

Затем обсуждаются некоторые организационные и практические вопросы. Из этого и других протоколов видишь, сколько важных и разнообразных задач пришлось сразу решать молодому правительству Чувашии. Разработка Положения о СНК и подготовка плана развития народного хозяйства ЧАССР на 1925—1926 годы; отпуск средств на достройку садово-огородной школы и тарифы за пользование электроэнергией; персональные стипендии студентам и выписка журналов для изб-читален за счет уездных бюджетов. И многое, многое другое.

Будучи членом ВЦИК 9-го, 10-го и 11-го созывов и членом ЦИК СССР первого и второго созывов, С. А. Коричев активно участвовал в деятельности высших органов государственной власти. Просматриваю, например, стенограмму заседаний 2-й сессии ВЦИК 11-го созыва. Обсуждается финансовый вопрос. Коричев говорит, что нужно предусмотреть в бюджете ассигнования автономным областям на издательское дело. Выступая в прениях по другому пункту повестки дня, критикует некоторые центральные и местные органы за плохое ведение лесного хозяйства и мотивирует необходимость значительных лесонасаждений в южных и юго-восточных районах РСФСР. Выступил он на этой сессии и в третий раз.

Читая доклады и выступления Коричева, подготовленные им решения облисполкома, а затем СНК, его письма, распоряжения и другие документы, невольно спрашиваешь себя: да тот ли это солдат царской армии, который был далек от политики и не понимал, за что воюет? Сквозь многочисленные документы виден зрелый политический и государственный деятель, прошедший в большевистской партии хорошую школу. Верным компасом для него стали выступления Ленина, особенно те, которые он не толь-

¹ ЦК Последгол — Центральная комиссия по борьбе с последствиями голода.

ко знал из газет, но и слушал: на объединенном заседании ВЦИК, Моссовета и профсоюзов в июне 1918 года, на 9-м Всероссийском съезде Советов в декабре 1921 года, на XI съезде партии в марте — апреле 1922 года и на 4-й сессии ВЦИК 9-го созыва в октябре 1922 года. Незгладимый след оставила в его сознании личная беседа с вождем. Молодой коммунист научился правильно оценивать обстановку и умело решать сложные вопросы. При этом у него обнаружился также дар хорошего агитатора и пропагандиста.

«Заметки к вопросу по истории мелких национальностей Поволжья и Приуралья» — так называется брошюра С. А. Коричева, изданная в Чебоксарах в 1924 году. Проследив причины экономической и культурной отсталости малых народностей при царизме, автор подчеркивает, что только Октябрьская революция предоставила им неограниченные возможности для расцвета. И вот как популярно, зримо разъясняет он стоящую перед ними задачу — догнать русский народ в развитии экономики и культуры.

Представьте себе, пишет он, два поезда, один из которых должен пройти 100 верст, а другой 200, при этом на станцию назначения им необходимо прибыть одновременно. Первый поезд «с хорошей машиной», рассуждает далее автор, движется со скоростью 40 верст в час и, значит, пройдет сто верст за два с половиной часа. А второй делает лишь 20 верст в час, и пройти ему предстоит не сто, а двести верст. Что же надо сделать, чтобы он мог прийти на станцию назначения одновременно с первым? Надо в 4 раза увеличить скорость его движения! Вот каким должен быть темп экономического и культурного развития Чувашии! И хотя сейчас созданы все условия для резкого ускорения нашего движения вперед, только с помощью русского и других братских народов мы сможем ликвидировать свое отставание.

В духовном завещании чувашскому народу Иван Яковлевич Яковлев писал в 1921 году: «Русский народ выстрадал свою правду, и, нет сомнения, правдой этой он поделится с вами. Верьте в Россию, любите ее, и она будет вам матерью!» Сергей Коричев, может быть, и не знал этих слов, но думал о том же. Мысли о дружбе русского и чувашского народов, о пролетарском интернационализме пронизывают все его выступления.

Ныне Чувашия благодаря постоянной заботе партии — цветущая республика с современной промышленностью, высокоразвитым сельским хозяйством и богатой национальной культурой. В Чебоксарах и в других городах и селах ЧАССР помнят Сергея Андреевича Коричева как одного из активных организаторов и строителей чувашской автономии.

В конце двадцатых годов С. А. Коричев был заместителем наркома земледелия Туркменистана, потом работал в Наркомземе СССР и в других центральных органах. С 1934 года был представителем Чувашской республики при Президиуме ВЦИК. 26 июня 1941 года, на пятый день Отечественной войны, он добровольно вступил в ряды защитников Родины и находился в действующей армии (на Брянском, Степном и 2-м Украинском фронтах) до дня Великой Победы. После войны продолжал работать в Москве. Умер он в 1961 году.

«Всю жизнь он работал ради блага людей, — писал Педер Хузангай, узнав о смерти С. А. Коричева. — Человек, так много сделавший для народа, никогда не будет им забыт».

И. БРАЙНИН



Поэзия



ГЕНО
КАЛАНДИЯ

Персиковое дерево

Персик, деревце, дитя —
С радугою вместо шали,—
Лентой косы заплетя,
Чтобы бегать не мешали,
В поле вырваюсь!..

В избытке
Счавствя — ни на грош тоски,
Хоть и вымокши до нитки
Белоснежные носки...

Как оно припнуло к полю,
Липовая и пучась,—
С ветром и с твоею болью
Обнаруживая связь!
...А тем часом горячее
Солнечный стеклянный свет,
И у деревца на шее
Луч висит, как амулет.

— Ты звечешь порой полднейной
Вспед петишь за мотыльком! —
— Я мечтвую стать царевной!
Рвзумеется, тайком.

Речушка

Ты пихо несешься вдаль,
Хотя и спаба на вид...
Холодный речной хрусталь
О кмень опять разбит!

Гранатовых веток тень
Упа на грудь, как сеть,
И птицы, кому не пень,
Сплетаются — пить и петь!

Куда-то бегут кусты —
В руках лоскуты небес:
Бубенчиком-смахом ты
Переполошила пес.

Перевела с грузинского
Т. БЕК



АЛЕКСЕЙ ПЬАНОВ

ВОЛШЕБНОЕ СТЕКЛО «КРАСНОГО МАЯ»

Московская Олимпиада уже стала историей, одной из ярких страниц многотомной летописи Игр. И на этой последней по времени странице не только феноменальные достижения на водных и беговых дорожках, не только захватывающие дух поединки на ринге и футбольных полях, но и десятки красочных зрелищ, вернисажей, праздников, концертов, которые наша столица предложила, согласно традициям, спортсменам и гостям Олимпиады.

Культурная программа Игр была редкостью богатой и разнообразной. Один из ее маршрутов вел в те дни на Кузнецкий мост, где в выставочном зале Союза художников СССР развернули свою экспозицию стеклоделы вышневолоцкого завода «Красный Май».

Афиша не предвещала сенсации. Возможно, многие и не заметили этот неброский изящный плакат в пестром калейдоскопе олимпийской рекламы. Но те, кто пришел на Кузнецкий, были не просто удивлены, а поражены открывшимся зрелищем, словно попали в волшебное царство, в какую-то сказочную пещеру, где в мягком призрачном свете сверкали невиданной величины и формы сапфиры, опалы и бирюза, слепя холодными пронзительными лучами хрусталь. А над всем этим горела маленькая рубиновая звезда...

Я видел недоумение и восторг на лицах тех, кто зашел сюда случайно, не зная, что его ждет в этих

залах: откуда такое? Кто они, волшебники, создавшие сказку из обыкновенного стекла?

Думаю, что и многие читатели «Юности», познакомившись с цветной вкладкой этого номера, зададутся теми же вопросами. И потому попробую ответить на них, чтобы потом снова вернуться на Кузнецкий и побродить вместе с вами в лабиринтах сказочной пещеры, имея в руках путеводную нить, протянувшуюся из давно минувших времен и связывающую их, эти времена, с нашим сегодняшним днем.

Итак, сначала: «Откуда это?» Адрес на афише был назван точный: из Вышнего Волочка Калининской области, со стекольного завода «Красный Май». Явно маловато информации, не правда ли? Дополним ее, вернувшись к самым истокам.

Древний этот город стоит на одном из старейших водных путей России. И названием своим обязан тому обстоятельству, что до создания Вышневолоцкой водной системы был здесь сухопутный волок. Суда приходилось разгружать на реке Тверце и за десять верст перевозить товары в Вышний Волочек на реку Цну. Долго, дорого, хлопотно. А потому Петр I одновременно с основанием Петербурга 12 января 1703 года распорядился о строительстве канала между двумя этими реками. Руководили грандиозными по тем временам работами голландские мастера. И хотя добросовестны и грамотны в своем деле были они, но сильно ошиблись в расчетах: канал получился узким, мелководным, требовал реконструкции, причем коренной. Проект ее составил выходец из крестьян, гидротехник-самоучка М. И. Сердюков. Петр, рассмотрев проект, одобрил его и поручил Сердюкову ведение работ и управление каналом. Сам часто являлся сюда. До сих пор стоит в Вышнем Волочке двухэтажный каменный сердюковский дом, в котором не раз бывал Петр.

Работы еще не были завершены, а через канал в 1720 году уже прошли в Петербург 1335 судов с Волаги, груженных хлебом и другими товарами...

Любопытные строки о Вышнем Волочке можно найти в книге К. Случевского «По северу России», рассказывающей о его путешествиях 1884—1888 годов:

«Вышний Волочек, без сомнения, один из типичнейших русских городов и в некотором смысле единственный,— он несколько напоминает Венецию. Особенность этого города, вся суть его — если можно так выразиться — в его каналах и в чудовищном водном бассейне, достойном всякого удивления...

Рассказывают почти невероятное: будто водный бассейн Вышнего Волочка, с его 60-верстной округой и чудесами гидротехники, в настоящем своем виде сооружен при Петре Великом известным Сердюковым, который был родом калмык, без многочисленных проектов и смет, без комиссий и их рассмотрений и, наконец, почти без всякого административного наблюдательного персонала».

А теперь раскроем знаменитое радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву» на главе «Вышний Волочек»:

«Никогда не проезжал я сего нового города, чтобы не посмотреть здешних шлюзов. Первый, которому на мысль пришло уподобиться природе в ее благоденствии и сделать реку рукодельною, дабы все концы



В. ШЕВЧЕНКО.

Декоративная композиция «К солнцу».

Из произведений мастеров художественного стекла завода «Красный Май».



С. БЕСКИНСКАЯ. Комплект ваз «Тверские узоры».
А. СИЛКО. Прибор для пива.

Л. ГРОШКОВА. Декоративная
композиция «Утро в Котчищах».





А. НОВИКОВ. Декоративный комплект «Водопады».
С. КОНОПЛЕВ. Комплект подсвечников.





Л. КУЧИНСКАЯ. Декоративная композиция «Южный порт».



Лампа. Конец XIX века.

Н. ЭВЕРТ. Сувениры «Пушкинское кольцо».

В. ХРОЛОВ. Декоративный комплект «Былина».



единый области в явнее привести сообщение, достоин памятника для дальнейшего потомства».

Не прозою лишь, но и стихами Вышний Волочек воспет:

Не в Италии, не в Греции
Этот дивный старичок.
И в России есть Венеция —
Город Вышний Волочек.

Но не одними каналами и шлюзами славится «дивный старичок», стоящий на русской земле пять веков. У него богатая история, славное настоящее, большое будущее. Сравнение с Венецией, конечно, весьма условно, но в особой живописности городу и окрестностям не откажешь. Должно быть, потому издавна тянуло сюда художников. Говорят, что Илья Ефимович Репин, впервые попав в эти края, сказал спутникам своим, не скрывая восторга: «Это же для пейзажиста земля обетованная! Это же сама Россия — вся душа ее, вся прелесть... Это как песня...»

Но первым, должно быть, открыл эту «землю обетованную» А. Г. Венецианов, поселившись в вышеволоцком селечке Сафонкове и создав там художественную школу для крестьянских ребят. Своих земляков, окрестные пейзажи увековечил он вдохновенной кистью. И по праву памятник ему поставлен в Вышнем Волочке.

А неподалеку от города, на берегу озера Мстина, стоит памятник Репину (оба монумента создал народный художник РСФСР, скульптор О. Комов).

Читатель может удивиться: что, прямо на берегу озера и стоит памятник гениальному художнику? Ну не совсем на берегу, конечно. Однако здесь уже своя история. И она снова возвращает нас к тем временам, когда создавалась «большая водная дорога». Обратимся еще раз к книге К. Случевского:

«К 2-м часам пополудни путники оставили Вышний Волочек с тем, чтобы проследовать на станцию Мста и посетить Владимиро-Марининский академический приют, открытый в 1884 году.

Дело в том, что в 20 верстах от Волочка, у самого истока Мсты из озера Мстина, находятся над озером довольно высокая гора. Местность очень красива; холмы чуть-чуть пониже, окружают ее... Во время процветания Вышневолоцкой системы тут было главное движение и сходились тысячи судов и тысячи народа. На горе возвышалось каменное здание, служившее местопребыванием начальникой дистанции Вышневолоцкого округа путей сообщения. На этой горе во время рытья каналов часто жила Петр I; этот дом на каменном фундаменте поставлен был Сердюковым для самого себя... Он оказался совсем ненужным, когда прошли дни процветания Вышневолоцкой системы, и обращен теперь в академический приют. Цель его — дать возможность нашим академистам-художникам, проживая летом в очень красивой, разнообразной и типической местности, делать этюды, совершенствоваться, подготавливать картины...»

Руководил приютом в ту пору Василий Алексеевич Кокорев, преданный искусству, увлеченный и радужный человек. Приезжали сюда главным образом малоимущие художники, и Кокорев старался избавить их от забот о хлебе насущном, опекал, давая возможность работать. Навещали «Академичку» (так теперь называют Дом творчества Союза художников РСФСР) и знаменитости — Куинджи, Творожников, Савицкий, Бакшеев, Чистяков, Бродский... По берегам озера ходил с этюдником Репин. Он оставил нам «документальное свидетельство» своей любви к этим местам, написав здесь этюд «На Академической даче» (Русский музей, Ленинград). Вот потому и поставлен на «Академичке» памятник Илье Ефимовичу...

Нынче едва ли сыщется в России живописец, который хотя бы раз не побывал в благословенных этих краях, не подышал «репинским воздухом», не заслушался плеском тихой мстинской воды...

Надо сказать, что уже в те давние времена у художников, обитавших в Академическом приюте Кокорева, были соперники, обосновавшиеся на противоположной стороне озера Мстина, на берегах реки Шлины и «чудовищного водного бассейна» — Вышневолоцкого водохранилища. Только произведения свои создавали они не на холсте, не в тихих уголках дивственной природы, а у огнедышащих печей. И это уже третья история, которая имеет самое прямое отношение к нашему рассказу о волшебном стекле «Красного Мая».

122 года назад покой шлинских берегов нарушили звонкие удары топоров по вековым соснам: купцы Болотины решили построить здесь химический завод. Место — лучше не найти, дороги удобные — и в Москву, и в Петербург, и в глубинные районы России.

Четырнадцать лет спустя производственный профиль завода, говоря языком современников, изменился: запылал огонь в первой стекловаренной печи. Дело оказалось выгодным, высокоприбыльным, хозяева — дальновидными. Набрали талантливых мастеров, умельцев, самоучек, которые буквально в несколько лет сделали завод известным на всю страну. Продукция вышеволоцких стеклоделов была отмечена золотой медалью на Всероссийской художественной выставке...

Я много раз бывал на «Красном Мае» и всегда поражался самобытному искусству его мастеров, познавших секреты стекла и алмазной грани. Какое-то особое изящество, особая стать у каждой вещи, сработанной красномайцами. Некогда предметом гордости были здесь стеклянные керосиновые лампы, многоцветные, легкие, воздушные. Нехитрый вроде бы бытовой предмет, а сколько вдохновения, сколько выдумки вложили в него мастера, если и сегодня мы с восхищением смотрим на эти совсем не отжившие свой век «керосинки»: настоящее искусство не боится времени. И потому в заводском музее стеклянная лампа — один из самых дорогих экспонатов. А рядом с ней... Нет, об этом музее надо рассказывать особо, ибо он — одно из хранилищ нашего национального стеклодельного искусства. И совсем не случайно заехали сюда, на «Красный Май», Юрий Гагарин, гостивший в Вышнем Волочке, на родине знаменитого почина Валентины Гагановой: он слышал о волшебном стекле и хотел увидеть его. Увидел, восхитился и сказал самые добрые слова тем, кто стоит у печей, гранит хрусталь, придумывает древнему материалу все новые и новые формы...

Итак, на вопрос «Откуда это?» я в какой-то мере ответил. Вот отсюда, с берегов Шлины, и привезли в олимпийскую Москву свои произведения красномайцы.

Но это была далеко не первая их встреча со столицей.

После революции завод как бы родился заново. Он рос, строился. Совершенствовалась технология, расширялся профиль, появлялись новые производства. Но неизменным оставалась верность традициям тех, кто осваивал это ремесло, стремление не уронить честь марки. И потому редкая выставка обходилась без красномайцев. Множились награды самого высокого достоинства за изделия, которые несли красоту в наш быт. От заказчиков не было отбоя. Но самый главный, самый ответственный и почетный заказ «Красный Май» получил летом 1945 года...

Помните, в начале этого рассказа я говорил о ру-



На снимке (сидят, слева направо): С. Бескинская, директор завода Л. Шапиро. Л. Кучинская, Н. Эверт; (стоят): А. Новиков, сотрудник заводского музея Т. Галайко, В. Хролов, С. Коноплев.

биновой звезде, которая как бы открывала и освещала своим теплым, спокойным светом всю выставку на Кузнечком мосту? Мало кто знал, что звездочку эту красномайцы почитали самым дорогим экспонатом...

Ярко горят над Москвой, над страной, над миром кремлевские звезды. Они воспеты в песнях и стихах.

Впервые звезды на кремлевских башнях были установлены в 1937 году. Стекло для них изготавливали в Донбассе. Оно прослужило семь лет и потребовало замены. Новое стекло — новое по технологии, долговечное — поручили изготовить мастерам вышеволочского завода. Думаю, что читателям будет интересно узнать, как делались опытные образцы звездного стекла. На изготовление многослойного рубина только для одной звезды потребовалось 32 тонны высококачественного люберецкого песка, 3 тонны цинковых муфельных белил, полторы тонны борной кислоты, 16 тонн кальцинированной соды, три тонны поташа, полторы тонны калиевой селитры. Но главное — потребовался вдохновенный труд всего коллектива, весь опыт мастеров, чтобы государственной важности заказ был выполнен. Красномайцы с этой задачей справились: яркие рубиновые звезды загорелись над столицей точно в назначенный срок.

Вот почему олимпийская экспозиция на Кузнечком и открывалась красной звездочкой...

А теперь настала пора ответить на второй вопрос: «Кто они, эти волшебники?»

Самые обыкновенные люди, посвятившие свою жизнь искусству. Искусству создавать прекрасное. Они пришли на берега Шлины в разное время и из разных городов, чтобы составить единый коллектив, чтобы стать красномайцами. Одни родились и выросли в этих местах и начинали свой путь к вершинам мастерства здесь, на заводе, одолевая ступеньку за ступенькой. Другие явились уже известными художниками стекла, пройдя академические студии специальных училищ и институтов, поработав на заводах. И вообще они очень разные — и в жизни и в творчестве. Но при различии их индивидуальных творческих почерков красномайский стиль отличается ред-

кой цельностью, своеобразием, неповторимостью — и в уникальных образцах и во многих лучших изделиях массовой продукции.

Визитная карточка знаменитого завода — произведения из сульфидного стекла. Казалось бы, еще совсем недавно этот новый в ту пору материал (его создали в 1958 году ленинградский технолог Е. А. Иванова и инженер-тверяк А. А. Кирьенен) был предметом экспериментов, объектом споров и дискуссий. Он раскрывал для художников стекла невиданные прежде возможности, расширяя цветовую гамму, делая более выразительной пластику, декор.. Но все это нужно было извлечь из загадочного материала, познать его тайны, разгадать секреты, разглядеть в нем то, что потом станет очевидностью...

Помню наш давнишний разговор с ныне известным стекольных дел мастером, заслуженным художником РСФСР Светланой Бескинской. Тогда была она главным художником стекольного управления Калининского совнархоза, много и успешно работала на «Красном Мае», осваивая вместе с коллегами это самое сульфидно-цинковое. Познакомившись с первыми «сульфидными» изделиями, я усомнился в том, что у нового стекла «фантастические возможности» и что «химией» можно поверить гармонию: довольно робким был старт на неизведанном пути; сила традиций, инерция ремесла, десятилетиями складывавшееся отношение к выразительным возможностям стекла тянули художников на давно проторенные дорожки. Потенциальные возможности сульфидного стекла и их тогдашняя реализация были в явном конфликте. Скажем, как если бы из сборного железобетона и современных конструкций стали строить здания в традициях греческой классики...

Примерно такие соображения высказывал я Светлане Михайловне и получал незамедлительно довольно убедительные опровержения. Но это было только на словах.

— Будут и дела, дайте срок! — возражала Бескинская.

А сроков не давали. Ведь не в маленькой лаборатории, а на большом современном заводе осваивался

новый материал. Был план, был вал, ассортимент и т. д. Но сульфидное так увлекло художников, весь коллектив перспективами, что довольно быстро был взят «барьер неизвестности»; опровергнут пессимизм скептиков.

Уже несколько лет спустя изделия красномайцев из сульфидного стекла называли «русским чудом».

Прочитав несколько строк из каталога выставки на Кузнецком: «Сегодня «Красный Май», является, по существу, единственным предприятием не только у нас в стране, но и во всем мире, где сульфидное стекло закрепилось как неперемное звено заводского ассортимента. Стеклоделы сумели внести много прогрессивного в процесс изготовления и декорирования изделий.

...Податливость этого материала термической обработке позволила добиться совершенства геометрического цветного орнамента, постепенных переходов тонов на изделиях и получить новые виды окрашенных стекол — дымчатых и опаловых,... удалось применить необычный декор на хрустале, состоящий из туманно-белых, лиловых, мглистых и бархатно-черных пятен и лент с нерезкими ориаментами, словно бы тающими в толще стекла».

Да, это действительно сказочное зрелище! Мозаика экспозиции сложилась из десятков произведений, отмеченных ярко выраженной индивидуальностью их создателей.

Оригинальными решениями отличаются новые декоративные композиции Светланы Бескинской — своеобразные по колориту и пластике, полные сдержанного внутреннего лиризма, характерного для ее творчества.

Не спутаешь с другими работы одного из ветеранов «Красного Мая», заслуженного художника РСФСР Анатолия Силко. Он из тех, кто осваивал сульфидное стекло и остался верен ему в своих произведениях — сюжетных композициях, вазах, приборах.

Выразителен почерк Владимира Хролова, тяготеющего к русскому фольклору, к динамичным композициям, острохарактерной форме в сочетании с чистым, открытым цветом.

Признанным мастером стекла является заслуженный художник РСФСР Виктор Шевченко. Богатая, выразительная пластика, аллегоричность, многообразие цветовых решений отличают его произведения. Вот уже несколько лет работает он главным художником «Красного Мая».

Интересно было представлено в экспозиции творчество Сергея Коноплева, Любови Грошковой, Людмилы Кучинской, Алексея Новикова, Наталии Эверт. Каждый из них вложил свою долю в успех выставки, каждый достойно поддержал марку красномайцев, продемонстрировав неисчерпаемые возможности стекла, изобретательность, смелый поиск...

«Химия», помноженная на талант и мастерство, стала поэзией.

Вот вам ответ на второй вопрос: «Кто они?» Ответ, увы, далеко не полный. Ибо, говоря об олимпийском дебюте красномайцев, о творчестве вышеупомянутых художников, завоевавших широкое признание, следовало бы назвать всех, кто трудится на знаменитом заводе. Все они — от рабочего до директора — причастны к славе волшебного красномайского стекла.



На этом и собирался я закончить свой рассказ. Но жизнь заставила продолжить его.

Когда заметки о красномайском стекле были уже написаны и отправлены в типографию, мне позвонил

редактор «Калининской правды» Павел Александрович Иванов.

— Читал сегодняшние газеты? — спросил он. — Красномайцы опять отличились...

Положив трубку, я отыскал Указ Президиума Верховного Совета СССР, в котором говорилось:

«За досрочное выполнение заданий десятой пятилетки наградить стекольный завод «Красный Май» Министерства промышленности строительных материалов РСФСР орденом Трудового Красного Знамени»...

Вручая красномайцам высокую награду Родины, первый секретарь Калининского обкома партии, член ЦК КПСС Павел Артемович Леонов сказал:

«Это большая победа и заслуженная оценка труда, данная партией и правительством многим поколениям славного коллектива завода. Тем, кто еще в годы революции 1905—1907 годов выступал против царизма, сражался на фронтах гражданской войны. Тем, кто в первые пятилетки своим героическим трудом наращивал мощности завода. Тем, кто защищал нашу Родину от фашистов и трудился на производстве в годы Великой Отечественной войны. Тем, кто досрочно выполнил задания десятой пятилетки, показывал и показывает образцы высокопроизводительного самоотверженного труда, обеспечивает высокие технико-экономические показатели работы предприятия»...

Особенно знаменательным был этот день для шифовницы стекла Нины Васильевны Васильковой: ей, делегату XXVI съезда КПСС, вручили Золотую Звезду Героя Социалистического Труда. Ордена Октябрьской Революции удостоены наборщица стекломассы В. А. Маркелова и директор завода Л. Д. Шапиро. А всего высокие правительственные награды по итогам пятилетки получили сорок красномайцев. Среди них и старший художник А. М. Силко...

Вот таким — радостным, праздничным — оказалось послесловие к рассказу о красномайских стеклоделах.



КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ

☆☆☆

*Моя звезда меня ведет,
пока не упадет.*

Я глазами держу
эту капельку красную
на оси мирового колодца,
я всем зрением
чувствую связь ненапрасную:
отвернусь — оборвется
и в лопатку мою угодит
искрой малой,
слева выступит на груди
каплей алой...

☆☆☆

В комнате тревога невесомости,
неуют каюты корабля.
Это в расширяющемся космосе
уменьшающаяся Земля.
Господи, нет полюса у компаса,
нету ни опоры, ни руля.
В космосе с кометой познакомишься —
даст опять комета кругая!

Мчится чеповек в ракетном корпусе,
отмеряет первый свой парсек.
Он не умещается на глобусе —
расширяющийся чеповек.
В конусе пылающем разгонишься:
до свиданья, дом мой и семья!
Это в расширяющемся космосе
комплекс расширяющихся «я»...

☆☆☆

Душа сопротивляется тому,
Что совпадают человек и место.
Душа сопротивляется всему,
Что слишком установлено, известно.

Дано пойти нам лишь по одному
Из всех путей. Не потому ли тесно!
Глазам души являются чудесно
Возможности, ушедшие во тьму.

Существованья зыблются миражем...
Сны не досмотрим, думы не доскажем
И не развяжем крылья красоты.

Реальность неправа и незаконна,
Когда в ней стынешь нынешняя ты,
Не ставшая Мадонною мадонна...

☆☆☆

Эта бесконечная прямая —
времени непостижимый ход...

На меня в упор и не мигая
с любопытством жутким смотрит кот,
мне внушает все наоборот:

— Время завихряется, кругами
ходит проторенною тропой,
кружится, как небо с облаками,
прошное стирает за собой.
Современник я любого века,
чую время пучше человека,
на меня, как ты, глядеп Сенека:
новости — по сути — никакой!

☆☆☆

Ты за будущим в погоне,
ты торопишь день и год:
Вырываясь из ладони,
компас тянется вперед.

Вдруг заметишь, что невольно
упираешься на спуске,
и свидетельствует стрелка —
некий полюс позвди...

☆☆☆

...дайте мне досказать, доказать,
а потом я и сам опровергну.
Не спешите меня наказать —
только мертвое с подлинным верно.

Пусть зимой опровергнуто пето,
тьмой ночной опровергнут день,
опровергнутый тезис рассвета —
не итог, а виток и ступень.

☆☆☆

Дорогу считай по верстам,
птицу — по полетам,
любовь — по призывам,
молодость — по веснам,
зрелость — по петам,
старость — по зимам.

☆☆☆

Внезапно кончается лето,
хотя еще солнце в глаза,
и светится белая лента
прибоя, и вся бирюза
ведет себя великолепно.
Внезапно кончается пето
за два с половиной часа.

Приснилось, наверное, это —
и море, и тридцать в тени.
Проснулся — проверка билета,
табло: «Застегните ремни».

Сплеча отсекается лето.
У всех пассажиров плащи
уже наготове. В Москве-то
промоглая хмарь и дожди...

Сказать бы мне вслед за спортсменом,
соседом, сосущим лимон:
хвала скоростям современным,
прыжкам из сезона в сезон!
Но в сердце тревога и смута,
как будто измена кому-то,
когда обрывается круто
и лето, и песня, и сон.

☆☆☆

Ложь искусства сильна,
как белая магия,
но когда в одиночестве
вечным пером
прикасаюсь к белой бумаге, я
к безыскусности приговорен.
Разбираться в себе —
дело сложное,
тут оплошности,
там грехи...
Но наименее ложное —
это стихи.

Старый поэт в Крыму

Не ради почести и денег,
а потому, что был поэт
и всех собратьев современник
в той области, где тенья нет,
на берегу, на точке крайней
старел, писал и рисовал,
был в буднях будничным, но втайне
векам вопросы задавал.
И женщине и государству
не предавался он сполна
затем, что чувствовал пространство,
в котором солнце и луна.
Других не хуже и не лучше,
но только был таким поэт,
что мог он рыбою летучей
пересекать гваницу сред.

☆☆☆

Не то, что не признан,
а нынче не призван,
поэт из запаса,
в предчувствии часа
живешь ты давно,
а коль проворонишь
свой час —
похоронишь
себя, как зерно.

☆☆☆

Я своими руками хочу развести
друг от друга подальше
саблю и горло,
пулю и сердце,
топор и тополь,
пламя и знамя,
любовь и кровь —
постойте, не смейте
притягиваться
и рифмоваться!



Поэзия



ОБОДИЯВ ШАМХАЛОВ

☆☆☆

Сотри слезу, любимая, сотри,
Ведь не поминки в нашем доме старом.
Смотри, как небеса чисты, смотри:
Пасутся звезд бесчисленных отары.

И, как чабан, янтарная луна
Блуждает одиноко в поднебесьи...
Неизъяснимой прелести полна
Земля в своем полночном равновесии.

Сотри слезу, любимая, и те
Бесчисленные, позабуди тревоги,
Ведь этот мир стоит на доброте
И многое сбывается в итоге.

Сотри слезу и, прядь со лба убрав,
Смотри на вещи весело и прямо.
Покуда жив твой сын Ободияв,
Тебе не стоит волноваться, мама.

Не будем говорить, как труден путь,
Подспудный путь ручья или ребенка...
Все это искупимо, только луть
Живут они и радостно и звонко!

☆☆☆

Я тосковал, я более не мог,
Но вот и наступил конец разлуке:
Вершины гор, и море возле ног,
И, как собаки, волны лижут руки.

И древние аупы с высоты,
И крепости, и темные скрижали
Мне словно говорят: вернулся ты...
Мне словно говорят: тебя мы ждали...

Со склонов гор сползают облака,
Орел ларит медлительно и гордо...
Пока живу и чувствую пока —
Родная красота берет за горло.

Я вами окружен, какой прекрасный плен,
И реки, и леса, ползущие на скалы!..
Не этот ли полон, где горы — вместо стен
Где крышей — небеса, моя душа искала!..

Перевел с аварского
Евг. БЛАЖЕВСКИЙ



АНАТОЛИЙ ПАРПАРА

☆☆☆

Ты, ждущая мелодий от поэта,
Чтоб грубый слух изысканным паскаты,
Не знаешь, как дается лесня эта,
Не ведаешь, как мучает тоска.
Ты, жаждущая нравственного права
Поэта подозреваю подвергать,
Ничтоже мящая, что громкой спавой
Поэту в жизни надо обладать.
Ты, не жапающая поднебесья,
Не видишь боли горестной творца.
Смотри:
Пред выходом смывает песня
И кровь и пот с усталою лица.

Юшарский каньон

Здесь даже внимательный взгляд
не скопзыт —
Невольно стремится крутыми рывками.
От самого низа, где бук и самшит,
До самого верха, где узкий зенит
Как бы обнимает с усипием камень.
Здесь лтица не вьет ни пристанищ, ни гнезд,
И солнце гостит, но не более часа.
Лишь вечером бьется о скапы норд-ост,
Лишь ночью появятся несколько звезд,
И то если ласковым день состоялся.
Но дети пришли, и восторг принесли,
И все осмотрели дотошно-влюбленно,
И, сповно улыбки, цветы расцвели,
И ветер щенком лег у самой земли,
И смехом наполнилось горло каньона.
Но вот их автобус гудком подозвал.
И шумно стеклись они к сильной машине.
Врубился мотор, и автобус пропал...
И долго о детях каньон тосковал
И горестно камни вращал в долине.

Площадь Руде Армады¹

На площади Руде Армады,
Где чист безмятежный зенит,
Туристов джинсовое стадо
На лавках разнеженно спит.
На площади Руде Армады,
в Бехине — простом городке,
Где, пиву холодному рады,
Мужчины сидят в господке,

¹ Площадь Красной Армии.

На площади Руде Армады,
Где детство беспечно шапит,
Где, всех оделяя прохпадой,
Фонтан свои воды струит,
На площади Руде Армады
Доска небольшая висит:
И фотовитрина отрадно
Мне душу сейчас весепит.
На карточке — год сорок пятый.
Победный, неистовый гуп.
И парень из Руде Армады
Вопьготно гармонь распахнуп.
Я в мае пикующем не был,
Но вижу:
Народ пиковап.
Недаром тапантпиво Незвап
Об этом стихи написап.
Но взгляд мой невольно грустнеет:
Ведь память о радостных днях,
Как фотобумага, жептеет
В мещанских, беспечных умах.
Иные восторги, утраты,
Иной счет
Удач и обид...
На площади Руде Армады
Доска неприметно висит.
Но тот, кто изведап руины,
За рабство фашистское стыд,
Подопгу у фотовитрины
С внучатами вместе стоит.

☆☆☆

Густая мгно течет над Кош-Агачем,
Впиваясь в гор густые невода.
Как свет огня на судне на рыбащем,
Сквозь мгно пробьется редкая звезда.
И над высотным этим ппоскогорьем
Уже царит, как самодержец, мрак.
И тяжепо в борьбе со своевопьем,
И душно так. И одиноко так.
Но вот душа вздыхает окрыпенно,
И глазу вдруг становится светпей,
Когда встает над Севером корона
Необоримых радужных пучей.
И вспоминаешь Рериха полотна,
И видятся узорные венцы
Той шамбопы², о коей небесподно
Индийские мечтапи мудрецы.

Женщине, потерявшей сына

Так эти лучи животворны,
Так моря пленительна песнь,
Что грустным являться — позорно,
Что скучным быть — горькая честь.
И ты, в ком таится кручина
Подальше от взглядов — на дне,
О смерти ни слова. Мужчины
Вели себя так на войне.
Конечно, до срока, до срока,
Забыв о добре и любви,
Обрушилось горе жестоко
На хрупкие плечи твои.
Но ты не согнулась.
И дочки
Взрослеющий взгляд так лучист!
Обрублена ветвь, но из почки
На свет вырывается лист.

² Шамбола — сказочная страна у индусов.



ЕГОР МИТАСОВ

☆☆☆

Уезжаю на несколько дней.
Оставляю себя на друзей.
За себя я давно не боюсь.
Я быстрее, чем приеду — вернусь...

И прочту по глазам, что не ждали.
Это жизнь. Это все не беда.
А чтоб больше меня не теряли,
Не уеду уже никуда.

Вальс

Первый снег закружит у окна.
Ты вздохнешь... А со старой пластинки
Я шепну: «Это чья-то весна».
Снова кружатся в вальсе снежинки.

Этот вальс, он знакомый до слез!..
Ах, как первое счастье кружило!
Ты плыла среди белых берез.
Ты куда-то спешила, спешила.

Вечный вальс о прекрасной поре.
И поверь — он для нас повторится.
И хотя голова в серебре,
Ах, как хочется в нем закружиться!

На лестничной площадке

«Со свиданьем, дядя Егор.
Видно, тоже в доме неполадка!
Что случилось! С каких это пор
Ты выходишь курить на площадку!»

Уходя, я сказал: «Будь здоров!»
Объясняться не видел причины,
Что в квартире завел кенаров
И боюсь отравить никотином.

☆☆☆

Ты запомнилась мне над тетрадками.
У копилки, ссутулясь, сидишь.
Под военной шинелью с заплатками
В сорок третьем ночами не спишь.

Ты учила считать и писать
И любить нашу русскую землю,
И, прощаясь, просила как мать:
«Не забудьте родную деревню».

Взгорья кажутся ниже с тех пор.
И тобой облюбованный камень...
Опоздал непослушный Егор
Сдать тебе свой последний экзамен.

☆☆☆

В тихом поле дорога,
Вдоль дороги цветы.
До родного порога
Три заветных версты.

И вечерней порою
С высоты ветряка
Вижу: вновь под горою
Вьется детства река.

Может, все, что осталось
На земле у меня,—
Эта малая малость
Из далекого дня.

В материнской подушке
Хмель родимой земли.
Запах глиняной кружки,
Три окошка вдали.

Сердце чувствует тревогу...
Опоздать не боюсь.
Я к родному порогу
Как с повинной вернусь.

☆☆☆

Вспоминаю отцовский порог,
Как из тесной шагнул колыбели,
Как стоял на распутье дорог...
По какой доберусь я до цели!..

Помню, как я оставил село,
Навалились заботы, тревоги...
«Нынче, сын мой, везде тяжело»,—
Говорил председатель безногий.

Не забыть мне наш вдовый колхоз.
Не забыть, кто за это в ответе...
И чумазный пытит паровоз,
На перронах бездомные дети...

Вновь стою на распутье дорог,
По какой доберусь я до цели!..
Мне смеется отцовский порог.
Круг замкнулся на нем. Неужели?

Другу

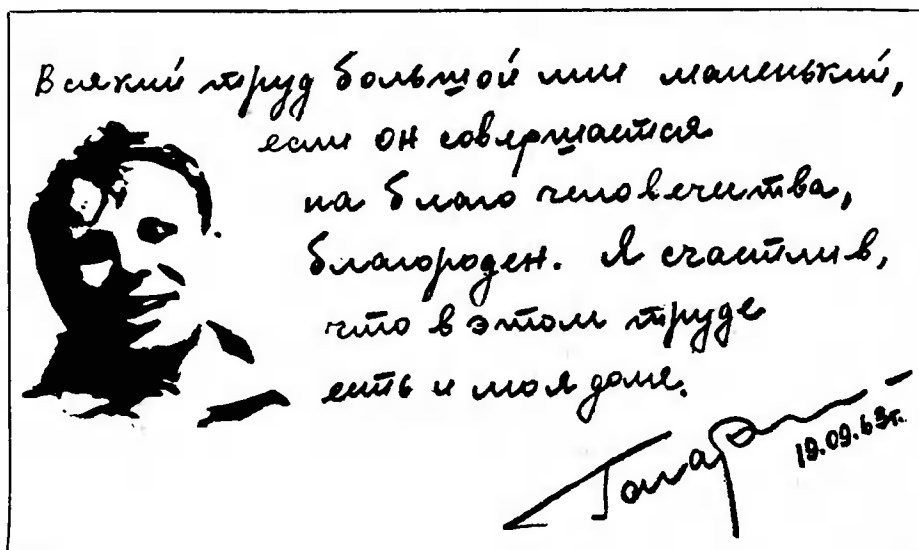
Я заболел. Не простудился.
Я в прошлое не жег мосты.
Я той болезнью заразился,
Какой давно болеешь ты.

Под небесами все парю,
Простор земной обзораю.
Но что я миру подарю!
Пока и сам еще не знаю...

ВЛАДИМИР ГУБАРЕВ

ПОЧЕРК ГАГАРИНА

К 20-летию
первого
полета
человека
в Космос



Гагарин с любопытством перелистывал книгу.

— Уже историческая ценность. — Он улыбнулся. — Наверное, единственный экземпляр в мире?

— По-моему, да. Не хватает всего несколько строк, написанных главным виновником торжества, — заметил я.

— Так Сергей Павлович говорит. «Виновник торжества» и «американец» — это его. — Гагарин замолчал.

Наверное, напрасно я назвал Гагарина «виновником торжества», ведь Королев обычно в ином смысле употреблял это выражение. Если случалась неудача, то председателем комиссии он предлагал назначить именно того человека, который был повинен в ошибке. К Юрию Алексеевичу это не имело отношения.

Гагарин, по-видимому, заметил смущение молодого журналиста и сразу же пришел на помощь.

— А просто расписаться нельзя? — спросил он.

— Нужно обязательно несколько слов: что вы думаете о космосе. Так задумано...

— Нелегко. — Юрий Алексеевич перевернул страницу, прочел вслух: — «Исследование космоса — это начало большого этапа научно-технического прогресса, который внесет большие новые изменения в жизнь человечества». Неужели, Келдыш?

— Он.

— На госкомиссии у Мстислава Всеволодовича был какой-то странный взгляд. Он смотрел на меня пристально, изучающе. Но по-доброму. — Гагарин улыбнулся. — Я очень волновался, и эта доброта

успокаивала. Они сидели за столом рядом — Сергей Павлович и Мстислав Всеволодович... Они часто бывали вместе... И в монтажно-испытательный корпус тоже вдвоем приехали. Мы с Германом «обживали» корабль. Постояли, посмотрели... Ничего не расспрашивали, наверное, не хотели мешать... А Королев тоже есть в этой книге? — неожиданно спросил Гагарин.

— Да. Это он написал: «Надеюсь, что по этой дороге удастся когда-нибудь пройти и мне». — Я показал на страницу книги, где расписался Сергей Павлович.

— Действительно, уникальная книга, — повторил Гагарин, — пожалуй, единственная...

— Теперь ваша очередь, — напомнил я.

— Обязательно...

Гагарин достал блокнот, что-то написал в нем, зачеркнул, задумался...

Я часто открываю эту книгу: «Дорога в космос. Рассказ летчика-космонавта СССР» — значит на ее титульном листе. Первая книга Юрия Гагарина.

Сразу после старта первого космонавта посчастливилось мне встречаться с многими из тех, кто отправлял его в полет. И каждого — вне зависимости от того, был он известным ученым, или конструктором, или рядовым сотрудником института — я просил написать несколько слов: что он думает о космосе.

На последней странице книги сделал запись: Председатель государственной комиссии.

— У меня должность такая, — улыбнулся он, — ставить свою подпись последней.

«Самое главное во всем этом замечательном, что написано в книге «Дорога в космос», — прочитал я, — что это уже прошлое!»

Наверное, тогда председатель был прав — только что завершен полет, и казалось, все уже в прошлом. Но идут годы, отдаляют от нас то апрельское утро 61-го года, а оно становится все ближе, зримей. Да и мы пристальней вглядываемся в события, в тех людей, что стояли на стартовой площадке Байконура, провожая в полет Юрия Гагарина. И первым среди них мы называем Сергея Павловича Королева.

На заседании Государственной комиссии Сергей Павлович удивил всех. Председатель предоставил ему слово. От технического руководства пуска ждал подробного рассказа о подготовке корабля и носителя, о комплексных испытаниях. Неприятности были, и еще накануне «Эс-Пэ» в довольно резких выражениях отчитывал и рядовых инженеров и главных конструкторов. Несколько раз звучало знаменитое королевское: «Отправляю в Москву по шпалам!», — что означало наивысшую степень гнева... Да, сейчас ему представлялась прекрасная возможность детально проанализировать все сбои в подготовке к пуску, и невзирая на звания и положения, публично «дать порку» всем, кто в предстартовые дни доставил немало неприятных минут госкомиссии.

Сам Сергей Павлович готовился к таким заседаниям тщательно, считал их необходимыми, потому что здесь, в комнате, собирались все, кто имел отношение к пуску. «Наше дело коллективное, — часто повторял он, — и каждая ошибка не должна замалчиваться. Будем разбираться вместе...» И, что греха таить, заседания госкомиссии продолжались долго, причем Сергей Павлович не прерывал выступающих, даже если ему что-то не нравилось в их докладах или их выводы были неверны. На стартовой площадке Королев становился ярым: резко отдавал распоряжения, не терпел «дискуссий», требовал кратких и четких ответов на свои вопросы.

И вот теперь председатель предоставил ему слово...

Сергей Павлович встал медленно, обвел взглядом присутствующих. Келдыш, который сидел рядом, приподнял голову. Глушко что-то рисовал на листке бумаги. Военные, среди которых выделялся Каманин, — он смотрел прямо перед собой — повернулись в его сторону... В конце стола заместители Сергея Павловича, сразу за ними — представители смежных предприятий, стартовики — все затихли...

— Космический корабль и ракета-носитель, — сказал Сергей Павлович, — прошли комплекс испытаний в МИКе. Замечаний нет.

Королев сел. Председатель госкомиссии, приготовившийся записывать за техническим руководителем запуска, недоуменно поднял на него глаза: «Неужели все?» Келдыш улыбнулся, кажется, он единственный, кто предугадал, что Королев сегодня выступит именно так. И Мстислава Всеволодовича — через несколько дней в газетах его назовут «Теоретиком космонавтики» — обрадовало то, насколько хорошо он изучил своего друга...

В тишине было слышно, как Пилюгин наливает в стакан воду. Почему-то все посмотрело на него, и Николай Алексеевич смутился. Отставил стакан в сторону, пальцы потянулись к кубичку из целлофана — шесть штук их уже лежало перед ним. У Пилюгина была привычка мастерить такие кубики из обертки сигаретных коробок.

Королев не замечал этой тишины.

Он смотрел на группу военных, но видел лишь

одного — того старшего лейтенанта, о котором через несколько минут скажет Каманин.

«Волнуется, — подумал Королев, — конечно же, знает — его фамилия прозвучит сейчас, но еще не верит в это... И Титов знает, и остальные...»

Нет, ни разу не говорилось, что первым назначен Гагарин. Решение держалось в тайне от большинства присутствующих, не это было главным до внешнего дня. Основное происходило там, в монтажно-испытательном корпусе...

При встречах — будущие космонавты прилетели на запуск корабля-спутника — Сергей Павлович из чем не выделял ни Гагарина, ни Титова из остальных. И это выглядело странным, потому что уже при первом знакомстве Гагарин ему понравился: Королев не сумел да и не захотел этого скрывать. Именно тогда вернувшись с предприятия, Попович сказал Юрию: «Полетишь ты». Гагарин рассмеялся, отшутился, но и он почувствовал симпатию Главного...

Конечно же, решение пришло позже. Хотя к самому Сергею Павловичу намного раньше, чем к другим. Еще в декабре, том трудном декабре, каждый день которого он помнит до мельчайших подробностей... Неудача с кораблем-спутником первого числа...

Космонавты приехали к нему как раз после неудачи. Они рассказывали о своей подготовке, заверяли его, что готовы отдать жизнь во имя космоса, а он только слушал их...

Говорил Гагарин, Сергей Павлович хорошо помнил его с первой встречи.

— Мы понимаем, насколько сложна техника... Мы готовы...

— Нет, полет состоится только в том случае, — неожиданно перебил его Сергей Павлович, — когда мы будем полностью уверены в успехе!

Он был благодарен этим молодым летчикам. Они успокаивали его. Им предстояло рисковать жизнью, а этот старший лейтенант с удивительно притной, располагающей к себе улыбкой говорил так, словно в космос предстояло лететь ему, Королеву.

А может быть, так и есть...

— Старший лейтенант Гагарин Юрий Алексеевич... — вдруг услышал Королев, — запасной пилот — старший лейтенант Титов Герман Степанович...

Говорил Каманин. Он рекомендовал Государственной комиссии первого пилота «Востока».

Голос Гагарина прозвучал неожиданно звонко:

— Спасибо за большое доверие. Задание выполню. Что-то было в нем мальчишеское. И все заулыбались, смотрели теперь только на этого старшего лейтенанта, который через два дня...

Стоп! Целых два дня?!

Заседание комиссии закончилось. Гагарина поздравляли — сначала его друзья-летчики, потом те, кто был поближе, а затем уже все столпились вокруг него.

Сергей Павлович пожал ему руку одним из последних.

— Поздравляю вас, Юрий Алексеевич. Мы еще поговорим, — сказал он и быстро зашагал к двери.

Неподалеку от одного из стартовых комплексов Байконура есть два деревянных домика. Теперь здесь музей. «В Домике Гагарина», где Юрий Алексеевич провел последнюю ночь перед стартом, сохраняется все так, как это было 11 апреля 1961 года. В одной комнате — две заправленные кровати. На тумбочке — шахматы. Гагарин и Титов тогда сыграли несколько партий. В соседней комнате находились врачи. Кухонный стол застелен той же

клеенкой. Вечером 11 апреля сюда пришел Костя Феоктистов. Втроем они сели и еще раз «прошлись» по программе полета. Особой необходимости в этом не было, но Феоктистова попросил зайти к космонавтам Сергей Павлович.

Королев жил рядом. Точно такой же дом. У подушки — телефонный аппарат. Он звонил в любое время суток. А до МИКа быстрым шагом — минут пятнадцать...

Сергей Павлович заходил в соседний домик несколько раз. Не расспрашивал ни о чем. Просто подтверждал, что подготовка к пуску идет по графику. Он словно искал у них поддержки.

— Все будет хорошо, Сергей Павлович. — Гагарин улыбался.

— Мы не сомневаемся, — добавил Титов. — Скоро уже отбой...

Гагарин аккуратно повесил китель, рубашку. Он не предполагал, что уже никогда не удастся воспользоваться этой формой. Она так и останется в комнате — навсегда.

Оба заснули быстро. К удивлению врачей, что наблюдали за ними. Ночью приходил Королев. Поинтересовался, как спят. «Спокойно», — ответил Каманин.

Королев посидел на скамейке, долго смотрел на темные окна. Потом встал, обошел вокруг дома, вновь заглянул в окно, а затем быстро направился к калитке. Вдали сияли прожектора, и Королев зашагал в их сторону — там стартовая площадка.

Пытались ли Королев и Гагарин представить, насколько изменится содержание слов «полет человека в космос» после 12 апреля? Не раз тот же Королев произносил их, а Гагарин слышал их от методистов и инструкторов, готовивших его к старту. Но думали ли Королев и Гагарин, что 12 апреля они приобретут совсем иной смысл и другое значение?

Как ни странно, живя в завтрашнем дне, они не думали о нем. Оба мечтали о 12 апреле, стремились к нему, делали все возможное и даже невозможное, чтобы приблизить этот старт, но что будет после него — не знали. И не хотели знать!

Гагарин спокойно спал...

А Королев был таким же Главным конструктором, к которому привыкли его друзья и соратники. В эту ночь его видели везде, он переговаривал с десятками людей, он был обычным «Эс-Пэ», которого побаивались и любили.

...Потом Москва будет празднично и торжественно встречать Первого космонавта планеты. Его сразу же полюбят миллионы людей. За улыбку, за простоту, обаяние, смелость, доверчивость. За то, что он так близок всем.

Он будет идти по ковровой дорожке от самолета, и миллионы увидят, что шнурок на ботинке развязался. И все заволнуются: а вдруг наступит, споткнется и, не дай боже, упадет. А он не заметит своего развязавшегося шнурка, он будет шагать легко и как-то весело, словно для него, этого парнишки из Смоленщины, очень привычно видеть ликующую Москву, восторженные лица, человеческое счастье. Неужели это потому, что он слетал в космос? И если у людей такая радость, то при первой возможности можно махнуть и подальше, на какой-нибудь Марс...

Он шагал по московской земле, удивленный, что его так встречают... Впрочем, пожалуй, он был един-

ственным, кто понимал: не его, Юру Гагарина, а Первого космонавта приветствует Земля...

Вечером на приеме Сергей Павлович подошел к космонавтам.

— Видите, какой шум вы устроили. — Он улыбался. — Подождите, не то еще будет... Но 12 апреля уже не повторить, — вдруг сказал Королев, и в его словах слышалась грусть...

Каждая минута этого дня высвечена воспоминаниями тысяч людей, которые были на Байконуре, встречали Юрия Гагарина в приволжских степях, следили за его полетом на наземных измерительных пунктах.

О 12 апреля 1961 года написаны книги, сняты фильмы. Рядом с Гагариным — всегда Королев, и иначе не может быть.

Этот день (пожалуй, он был единственным) в полной мере раскрыл характеры обоих — Королева и Гагарина. Он показал: история человечества не случайно соединила их судьбы.

Гагарин собран, сдержан. Он отстранился от самого себя. Юрий Алексеевич прекрасно понимает, как беспокоятся за него и волнуются все, кто провожает его к ракете, поднимается вместе на лифте к кораблю. Они пытаются успокаивать его, но на самом деле сами нуждаются в тех самых словах, что произносят. И Гагарин каждым словом, жестом показывает им: «Все будет хорошо!» Он снимает напряжение, и следя за ним, люди становятся увереннее в себе.

А из остающихся на Земле лишь Королев ничем не выдает своего волнения. Он подчеркнуто спокоен, деловит.

Гагарин остается в корабле один.

Через несколько минут раздалось знаменитое: «Поехали!» И на наблюдательном пункте раздалось аплодирование, хотя никаких оснований для ликования еще не было: ракета только начинала подъем, и все могло произойти. Но люди, прекрасно понимающие, насколько еще бесконечно далеко до космоса, не могли сдержаться...

На связи с Гагариным был Королев.

Много раз я прослушивал запись радиопереговоров. Ни до старта, ни во время вывода на орбиту — ни разу Королев не выдал своего волнения. Казалось, он не испытывает никаких эмоций.

Они оба — Гагарин и Королев — были спокойны.

Но есть киносъемка. Сергей Павлович у микрофона. Он ведет переговоры с бортом корабля. И мы видим его лицо... Этот человек на экране мало похож на привычного Королева. Волнуется он бесконечно!

А ведь съемка проходила позже, уже после возвращения Гагарина. Кинематографисты попросили Сергея Павловича повторить все, что он говорил во время старта. И Королев вновь пережил те гагаринские минуты, теперь уже не сдерживая себя.

Наконец Юрий Алексеевич взял книгу в руки, проверил авторучку.

«Всякий труд, большой или маленький, если он совершается на благо человечества, благороден. Я счастлив, что в этом труде есть и моя доля» — такую надпись он оставил на своей «Дороге в космос».

Во всем он был верен себе, впрочем, иначе он никогда бы не стал ГАГАРИНЫМ.



**ИГОРЬ
МОТЯШОВ**

ПРИТЯЖЕНИЕ ЗЕМЛИ

Георгию Мокеевичу Маркову — 70 лет. Трудно в это поверить, потому что объем его творческой и общественной деятельности возрастает с каждым годом. Он работает, работает, работает. Не зная усталости, но со спокойной обстоятельностью, которая так характерна для его жизни и труда в литературе.

В прозе Георгия Маркова, в поэтике его романов «Строговы», «Соль земли», «Отец и сын», «Сибирь», других книг особое место занимает образ земли — не только кормилицы, кладовой сокрытых в ее недрах и рассыпанных по ее поверхности богатств, источника высокой радости общения с бесконечно изменчивой и неисчерпаемо прекрасной природой, но и праматери человечества, колыбели культуры в широком, горьковском, смысле, неумирающего стража историн, зеркала личной совести.

Не составляет исключения и «Земля Ивана Егорыча» — книга, вобравшая наряду с заглавным рассказом две повести недавних лет: «Завещание» и «Тростинка на ветру».

В «Завещании» инвалид войны, полковник Михаил Иванович Нестеров ради верности клятве, данной погибшему на фронте другу, оставляет довоенную профессию археолога, приезжает в родной город Степана Кольцова Приреченск, чтобы навсегда поселиться там, помогать вдове Степана Лиде, довести до конца начатые другом геологические поиски. А Лиде словно спешит подвести черту подо всем своим горьким прошлым: потерей мужа и утонувшего в реке сына Тимошки. На новом месте с другим человеком начинает новую жизнь.

Нестеров, для которого свято все, что связано с жизнью и работой ушедшего друга, не может принять сердцем этой Лидиной поспешности, да и сама она чувствует перед Нестеровым неловкость, даже виноватость. «Ты как часовой моей совести», — говорит она ему. Но вправе ли Нестеров предъявлять этой женщине те же требования, по каким живет

На фото: Г. М. Марков среди работниц Томского тепличного комбината.

он сам? Не явится ли то, в чем он находит счастье для себя, для другого несчастьем? Да и второй пункт их со Степаном клятвы ясно говорит о том, что «если у Лиды возникнет новая любовь», он, Нестеров, «не только не будет чинить Лиде каких-либо препятствий, но отнесется к этому с пониманием, ответственностью и заботой старшего».

Читая повести Георгия Маркова, неизменно ощущаешь это понимание, ответственность и заботу старшего не только в дорогах автору героях, но и в отношении самого писателя к каждому из его персонажей, к человеку вообще. Легко раздать ирлычки: «хороший», «плохой». Куда труднее осознать, почему в сходных обстоятельствах даже хорошие, по принятым меркам, люди ведут себя непохоже, приходит подчас к прямо противоположным решениям. Взять ту же Лиду, которую, как оказалось, связывало с Приреченском лишь чувство благодарности Нестерovu. Значит, не столь велика была ее преданность Степану, чтобы бесконечно дорогим осталось навсегда то, что любил, чем жил он: Приреченск с окружающей его тайгой, разыскания, относящиеся к давней экспедиции Тульчинского. Значит, разрыв этой связи не был для Лиды трагичным.

...Дом, семья, родной город или деревня, их ближние и дальние окрестности, своя страна, вся земля и, наконец, Вселенная. От малой (невидимой и на самой крупномасштабной карте) точки, постепенно расширяясь кольцами горизонта, уходя в неведомую даже астрономам бесконечность, начинается наш мир. Тот, что становится нашим существом еще до того, как мы явились в свет, благодаря памяти бесчисленных поколений.

Нет патриотизма ни планетарного, ни отечественного, если они не вырастают из атомов повседневных связей человека с людьми, если не лежит в их основе чувство органической причастности к родному очагу, к земле «малой родины», к людям, которые рядом, к делам предков. Ивану Егорычу, бывшему секретарю райкома, отнюдь не просто оставить то невозполнимое, что сохранилось в его доме вещественной памятью о покойной жене Зине, сорок лет проработавшей в школе. Покинуть ее могилу? Но, казалось бы, какое отношение имеет к решению Ивана Егорыча его преемник Чистяков? Однако Крылов был бы иным человеком, если бы не подумал, как может отозваться его отъезд из Тепловского на авторитете молодого секретаря. А не подведет ли он Чистякова в том смысле, что народ начнет поговаривать: «Слышали, как в Тепловском ветеранов берегут? Даже бывший первый секретарь куда-то сматался, едва только на пенсию вышел».

Вся жизнь Ивана Егорыча прошла среди людей и для людей — неповторимых, с индивидуальными судьбами, которые его радовали или огорчали, которых он любил или недолюбливал, поощрял, журил, воспитывал и которые столь прочно вошли в его собственную судьбу, что стали ее частью. Триста тепловцев не вернулись с прошлой войны. Их имена навечно отлиты на чугунных страницах книги-памятника, возвышающегося при въезде в райцентр. И каждое имя напоминает Ивану Егорычу о живом человеке. Многих он знал лично. Были среди них и близкие его друзья. Каждый приход к памятнику для Крылова как встреча с ними. И как же ему, прошедшему фронт с первого до победного дня, чудом уцелевшему, уйти от этих душевно необходимых ему встреч?

Когда Иван Егорыч хлопочет, дойдя до области, об установлении памятника всем без исключения погибшим на войне тепловцам, когда, уже пенсионером, просит председателя поселкового Совета Печеникина привести в порядок местное кладбище, он движим

мыслью, которой делится с тем же Печеникиным: «Усопшим, братец мой, от нас ничего не надо, а вот нам без них не обойтись».

Любовь, знание, память — таковы, по убеждению писателя, главные силы земного притяжения, помогающие человеку прочно стоять в любых испытаниях, прямо глядеть в глаза окружающим, без страха обращать взор и внутрь себя, не боясь обнаружить там такое, от чего и самые, казалось бы, хладнокровные теряют покой и уверенность. Недаром Нестеров в одном из писем Лиде обронит фразу, что «прошлое неистребимо и память о нем, может быть, самое сильное доказательство благородства души».

Крылов, Нестеров, секретарь городского комитета партии Валерий Кондратьев в повести «Тростинка на ветру» — через все произведения Маркова проходит образ коммуниста, нередко руководителя районного или областного масштаба, ученого, организатора исследовательской либо хозяйственной деятельности, личности социально активной, инициативной, целеустремленной. Люди разных поколений, они сближаются в главном — в том, о чем комсомолка 70-х годов Варя Березкина, подражая настроениям старшей сестры Нади, жены Валерия, скажет: «Идеалист ты, Валера! Такие, как ты, в двадцатые годы жили... Теперь другое время — все рвут, все приобретают...»

Парадокс Вариного высказывания в том, что, претендуя на современность, оно старо. В те же 20-е годы небезызвестный Присыпкин заявлял, что теперь другое время и людям для себя пожить хочется. И тогда рвачи и приобретатели, ища себе оправдания в якобы всеобщем поветрии, раздраженно высмеивали «идеалистов», чьи совесть и бескорыстие были живым опровержением их «философии». И умная, справедливая Варя скоро это понимает.

Задумаемся и мы: а в самом ли деле такие уж «идеалисты» Иван Егорыч, живущий в двух смежных комнатках старого деревянного дома, хотя мог бы выбрать жилье поудобнее; или уезжающий от благ большого города сначала в районную глубинку, затем в таежную Пихтовку Нестеров; или Валерий Кондратьев, отказывающийся от премии за проектирование паропровода и говорящий категорическое «нет», когда жена просит помочь Варе пересдать завалянный экзамен («Один твой звонок ректору медицинского института все может изменить»). Разве не о себе, не о своем авторитете руководителя, коммуниста заботится Иван Егорыч, когда объясняет жене: «Вот, Зина... переселим всех специалистов и механизаторов в новые каменные дома, и тогда до нас... дойдет черед. Ведь не так уж плохо мы живем. Многие живут хуже? Не о том ли, чтобы, как говорит он сам, не создать «оснований для беспокойств собственной совести», думает и Кондратьев, вычеркивая себя из списка премированных, ибо не забывает, что премия присуждена от имени горкома и горсовета, где руководящее лицо он. «Я должен по долгу, возложенному на меня, во все вносить справедливость», — говорит Валерий. А справедливость, как и любая нравственная категория, неделима. Она не может быть одной для «избранных», иной для остальных. Она либо соблюдается на всех уровнях (и тогда мы вправе взыскивать по всей строгости за каждое отступление от нее), либо нарушается (и тогда нарушитель теряет моральное право спрашивать с других).

Для таких, как Крылов, Нестеров, Кондратьев, справедливость неотделима от понятий совести, гражданского долга. Ведь долг можно истолковать и как кредит, не требующий возврата. Именно так считает Надя, убеждая сестру осесть в городе: «Хватит! На нас бабушка с дедом, мать с отцом наработали!» Верно: наработали. Но справедливо ли видеть

в этом повод для изживенческих настроений? Не о наследовании родительской сберкнижки речь, а о том, что является достоянием общим, народным, государственным, что легко прожить, да трудно нажить и что мы, живущие, обязаны сохранить и умножить для передачи будущим поколениям.

Людам крыловско-кондратьевского склада приходится не только на стороне, но подчас и в кругу сослуживцев и даже в собственной семье, как показывает Марков, встречаться с непониманием, а то и с недоверием, сопровождаемым циничными смешками, либо открытым противодействием. Бывает, обстоятельства складываются таким образом, что и само «общественное мнение» начинает работать против общественной морали. В таких условиях руководителю бывает особенно трудно сохранить кристальную чистоту и бескомпромиссность жизненной позиции, единство слова и дела. Но как важно сохранить их! Ибо только личная нравственная безупречность придает нашим словам и поступкам неопровержимый вес правды.

У Крылова, Нестерова, Кондратьева, Калинкиной, погибшего на войне Степана Кольцова все настоящее: любовь и доброта, товарищество и дружба, жалость и милосердие, вера в коммунистические идеалы и собственные моральные принципы. Им нечего таить и скрывать от людей, нет причин лицедействовать и притворяться. Это люди без позы и масок. Их открытость, естественность, искренность вселяют уверенность в окружающих: на таких можно положиться, они не подведут, не обманут, пусть даже и невольно, но легкомыслию или равнодушию. Они надежны. И залог надежности — цельность, гармоничность, нравственное здоровье подобных натур. «Солю земли» назвал Марков людей этого склада в одноименном романе.

Опираясь на духовно-нравственный опыт предшественников, эти люди ни на миг не утрачивают кровной связи с теми, кто сам, подобно колхозному шоферу Прохору Федосеичу Николюкину или старому кооператору Пахому Васильичу Парамонову в повести «Тростинка на ветру», является в определенном смысле носителем народного идеала добра и правды. Отчасти они продолжают в творчестве Маркова линию деда Фишки из «Строговых», Марая Добролетова из «Соли земли», Мамки из «Сибири», разумеется, с колоссальной поправкой на новые, социалистические условия бытия, в которых формируются характеры, подобные парамоновскому. Не упуская тех деталей и подробностей, благодаря которым мы заодно с Варей Березкиной видим в Пахове Васильевиче нашего старшего современника, писатель подчеркивает, однако, в этом образе прежде всего те стержневые черты, достоинство которых не в изменчивости, а в постоянстве: доброту, стремление понять людей, умение даже на очевидные обиды и зло не отвечать механически злом и обидами, дабы не увеличивать общее количество зла в мире.

Может быть, не меньше, чем честность и совесть, справедливая Валерия, повлияла на всю будущую жизнь Вари парамоновская доброта, его совет помнить, что «обиды, как песок в воде: не растворятся, на дно садятся», что надо учиться «человека видеть целиком», поскольку тот неделим, напоминание, что «у доброго дерева и побеги добрые».

Проза Георгия Маркова философична, интеллектуальна, но она отнюдь не рассудочна. Она предметно-пластична. Ее психологическая точность, ее сдержанный лиризм подобны туго сжатой пружине, таящей запас на долго рассчитанной энергии. Писатель как бы намеренно избегает роли проповедника. Ка-

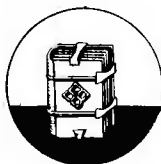
жется, единственная его забота — нарисовать действительность такой, какой видится она писателю и его персонажам, а уж эта действительность сама скажет читательскому уму и сердцу все о себе.

Судьбы, которые проследживает писатель, драматичны, подчас трагически оборваны или изломаны войной, болезнью, несчастным случаем, осложнены чьей-либо несправедливостью, подлостью, глупостью. Но читатель даже из описания человеческих драм и обид выносит не чувство горечи и запоздало-бессильного сострадания героям, а ощущение гордости за человека, его жизнестойкость, способность в самых крутых обстоятельствах, пока бьется сердце, сознательно определять свой путь, находить достойное место среди людей и быть счастливым.

Эта гармоничность словно бы изначально, хотя и в разной степени присуща самым молодым персонажам «Тростинки на ветру»: Варе, Мишке Огурцову, их сверстникам. Перед нами молодежь, рожденная и выросшая в условиях развитого социалистического общества, не знающая надрывной, истеричной рефлексии, нравственно здоровая, уверенная в завтрашнем дне, живущая в убеждении, что окружающий мир при всех его несовершенствах, противоречиях и неустойчивости — это ее мир и не кому-то другому, а именно ей, молодежи, предстоит этот мир улучшать, совершенствовать, благоустраивать для себя и своих потомков.

Она активно ищет себя в этом мире, с нетерпением юности пытается как можно скорее и правильнее определить свой путь. Уже на первых порах удача ждет Мишку Огурцова, чьи жизненные притязания полностью совпадают с его личными возможностями и с насущной общественной потребностью в труде сельского механизатора. Сложнее Варе, которая действительно, как тростинка на ветру, поначалу больше склонна следовать сторонним веяниям, нежели зову собственного сердца и разума. По-разному могла сложиться судьба юной героини. Не так-то просто пройти через первые соблазны и неудачи, не поддаваться чужой воле, шаблону массового поведения. Нелегким стал путь возвращения Вари в родную деревню. И, видимо, не случайно, вспоминая о том, что Вари росла «в объятиях рощ и полей», что с детства ее «целовали утренние холодные туманы» и глотала она «сытные запахи спелых конопляников», писатель находит слова, словно бы стирающие грань между телом человека и плотью окружающей его природы. Не одна зарождающаяся любовь к Мишке, привязанность к школьным друзьям, но и чувство родства с природой создают то притяжение земли, которое более всего помогает Варе принять единственно верное решение.

Почти все книги Георгия Маркова (включая недавний сборник публицистики «К юности») выходили в издательстве «Молодая гвардия». Это закономерно. По самому складу своего таланта, по романтическому, революционному пафосу жизнеутверждения и жизнетворчества, по чистоте нравственного чувства и максималистской требовательности к себе и своим героям, по стремлению к человеческой цельности и гармонии Марков — писатель юношеский. Он юношеский писатель и потому, что каждое его произведение независимо от того, есть ли в нем персонажи юные, ставит перед молодым читателем главные вопросы: каким быть, как и для чего жить, по каким образцам строить свою жизнь, свое счастье? И не просто ставит, а и помогает находить ответы, чтобы крепче и надежнее стоять на земле.



**ВИКТОР
КОРКИЯ**



МУЗЫКА ДУШИ

«**М**ало найдется поэтов, у которых столько самого искреннего, отнюдь не напоказ, недовольства собой и даже какой-то виноватости, словно обманул читательские ожидания, как у Николая Старшинова», — пишет критик А. Турков, предвзято его «Избранное» (Москва, «Художественная литература», 1980). Это — верное наблюдение; пожалуй, стоит только добавить, что речь идет не просто о «виноватости», хотя признаний во всякого рода «винах» в стихах Николая Старшинова рассыпано немало, а о совестливости, испокон веков присущей всякому настоящему поэту.

Николай Старшинов начал писать еще на фронте, вскоре после того, как «в свои семнадцать лет стал в солдатский строй». Он из тех, кто испытал все тяготы Великой Отечественной, пройдя войну в пехоте, из тех, чья юность

По лесам, по горам, по болотам
Пронесла в бесконечных ночах
Двухпудовый станок пулемета
На своих неокрепших плечах.
Поднималась она под обстрелом
И, поля разминировав, шла.
И, случалось, под пулями пела.
А иначе она не могла.

Поколение, прошедшее через войну, выдвинуло целую плеяду крупных поэтов: Наровчатова и Луконина, Слуцкого и Винокурова, Межирова и Ваншенкина, за каждым из этих имен — судьба, ставшая поэзией. Среди них Николай Старшинов выглядел, особенно поначалу, как-то скромно, я бы сказал, застенчиво. Его поэзия казалась будничной, повседневной, хотя он в отличие, скажем, от Винокурова никогда принципиально не воспевал быт, не противопоставлял праздник жизни обыденности. Но уже и в ранних стихах Николая Старшинова проскальзывают неожиданные резкость поэтического высказывания, умение сказать о главном просто и веско, «по-солдатски», сказать, как отрубить.

Ракет зеленые огни
По бледным лицам полоснули.
Пониже голову пригни
И, как шальной, не лезь под пули.

Приказ: «Вперед!»
Команда: «Встать!»
Опять товарища бужу я.
А кто-то звал родную мать,
А кто-то вспоминал — чужую.

Когда, нарушив забытье,
Орудия заголосили,
Никто не крикнул: «За Россию!..»

А шли и гибли
За нее.

Из этого написанного в 1944 году стихотворения обычно приводят последнюю строфу, ставшую уже хрестоматийной. Но поэт пишет не строфы, а стихи, если бы не было «пониже голову пригни и, как шальной, не лезь под пули», если бы, повторю, не было этого острейшего физического ощущения подстерегающей на каждом шагу гибели, не было бы и последней строфы, не было бы и стихотворения. Кстати сказать, чтобы написать такие стихи тогда, в 1944-м, нужно было обладать незаурядным гражданским мужеством, и, естественно, это далеко не всем в то время пришлось по душе. Многих задевала за живое и полемическая острота, «ершистость» молодого поэта, который осмелился бросить в лицо некоему «литературному тузу»:

Нотации и чтение морали
Я сам люблю.
Мели себе, мели...
А нам, удбь России доверяли,
И кажется, что мы не подвели.

Эти резкие, исполненные чувства собственного достоинства строки приобрели известность, стали в какой-то степени поэтическим «личным клеймом» Николая Старшинова. Но 1945 годом помечены и другие стихи — пронзительные, близкие по складу к народной песне.

Эх ты, мама, моя мама,
Выслушай меня ты...
Не ходи со мною, мама,
До военкомата.

И не стой, не стой в печали,
Прислонившись к тыну.
И не плачь, не плачь ночам
По родному сыну...

Песенность стиха — драгоценное качество русской поэзии — стала отличительным признаком большинства зрелых произведений Николая Старшинова. Неважно, положены стихи на музыку или нет — мелодия присутствует в них:

Только вспомню тебя — затоскую.
Одолеет меня непокой...
Где найти мне другую такую?
Да нигде не найти мне такой!

Нет у глаз твоих светлых бездонней.
В них лучится сиреневый свет.
И прохладных и добрых ладоней,
Как твои, не бывало и нет.

Облечу океаны и сушу,
Побываю в раю и в аду,
Но такую высокую душу
Никогда и нигде не найду.

Как органично сплелись воедино чистота классического русского романа и современная разговорная интонация, задушевность и смятение души, печаль и добро.

Любовь к музыке, к русской песне проходит через всю жизнь, через все творчество Николая Старшинова. Эта любовь проявляется по-разному: в стихах то звучит торжественность марша, то молодецкое веселое частушки, то проникновенные переливы гармонии:

Тебя, бывшее, только тронь,
Все вспомню по порядку...
Вот мне отец купил гармонь,
Обычную двухрядку...

Купленная «за гроши на Павелецком рынке» гармонь не просто предмет и даже не символ, а скорее близкое, родное существо, чуть ли не член семьи, она помогает жить, согревает не слишком устроенный предвоенный московский быт. А потом «нагрянула война и все перевернула...»

Бои и новые бои,
И вновь — за схваткой схватка...
Ах, где ж вы, роличи мои,
Где ты, моя двухрядка?..

Приземленные, «бытовые», казалось бы, стихи поднимаются вдруг до настоящего трагизма:

Потом под Вязьмой —
Ах, война!
На госпитальной койке
Играл безногий старшина
О разудалой тройке...

Нет смысла, впрочем, пытаться пересказывать это удивительное стихотворение, лучше перечитать его от начала до конца. Конечно же, оно не только о гармонии. Это баллада и о судьбе самого Николая Старшинова, и о певчей душе народа, и о всех тех, кто прошел через самые страшные испытания и в ком «душа осталась».

Николай Старшинов родился, вырос и большую часть жизни прожил в Москве, однако его трудно назвать «городским» поэтом, недаром он и сам однажды иронически признался: «От меня подруга-муза сбежала в сельские места». Впрочем, поэт верен себе, он не забывает, что он из города, но при этом его «не терзают», как Николая Рубцова, «границы меж городом и селом», он ощущает себя своим и в старомосковском переулке, и в подмосковном осиннике, у Белорусского вокзала, откуда рядовым ушел на фронт, и на берегу небольшой речки Сумерь.

Любовь к природе — непростое чувство. Непростое хотя бы уже потому, что это любовь к родине. А эта любовь чурается деклараций, не выносит напыщенности и фальши. Названия деревень, речек, близких и дорогих сердцу поэта мест все время звучат в стихах, переключаются друг с другом, несут в себе музыку: Сумерь, Зуша, Великие Луки, «фронтальная река Угра», Рахманово, Ловать... Это своего рода признание, признание в любви. Николай Старшинов признается в ней мягко, чуть элегично, однако и здесь может порой выпадать резко и однозначно, как в стихотворении «Подмосковной природе»:

Шинель надену, автомат возьму,
Как в юности, на поле боя выйду.
Я знаю насмерть, что тебя в обиду
Не дам я никогда и никому!

Серьезные поэты пишут порой «несерьезные», шуточные, иронические стихи. В «серьезных» же стихах большинства лирических поэтов улыбка, как правило, несчастливый гость. А между тем юмор всегда присутствует в жизни, в то время как грусть, помноженная на грусть, становится уже занудством. Николай Старшинов наделен неподдельным народным юмором и, что, на мой взгляд, самое ценное, умеет сдобрить едкой шуткой лирическое по сути стихотворение. При этом он никогда не ставит себе целью специально рассмешить читателя, его улыбка — от радости жизни, и на жизнь она заставляет взглянуть по-новому, просветленно, как, например, в его известных стихах о галке:

...У меня от бед мутился разум...
А она, спокойствие храня.
Светло-голубым и наглым взглядом
Пристально глядела на меня.

Словно бы по делу, с разговором,
Словно все доступно ей самой...
Был бы это мудрый черный ворон,
А ведь это галка, боже мой!

Так бы рысь глядела, ошестинясь,
Ну, а здесь такой дурацкий взгляд!..
И тогда я этого не вынес, —
Рассмеялся, словно психопат.

И как будто совершилось чудо —
Беды позабылись навсегда...

Когда же на героя стихотворения «навалилась новая беда», он «отправился, как прежде, в те же подмосковные места»:

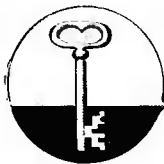
...Повернул по лозняку направо,
К ручейку знакомому,
И вдруг...

Я от неожиданности замер:
Лапками по травке семеня,
С голубыми наглыми глазами
Выскочила галка на меня.

Та же важность и довольство то же,
Тот же бесконечно глупый взгляд.
Я опять не выдержал: «О боже,
Да ведь эта дура — сущий клад!..»

По ногам меня стегает лоза,
Хлещут по лицу и по плечу,
И никак не просыхают слезы.
Ну, а я бегу и хохочу...

Николай Старшинов прочно и по праву занял свое место в русской советской поэзии, его «Избранное» наглядно свидетельствует об этом. Впереди у него новые стихи, новые книги. И нет сомнения, что и в них будет звучать та свойственная ему музыка души, без которой нет жизни, нет поэзии.



ЛЕВ
ОЗЕРОВ

МГНОВЕНИЕ— ВЕЧНОСТЬ

О стихотворении А. А. Фета
«Шепот, робкое дыханье»

Это — одно из самых тихих, можно сказать, тишайших стихотворений в русской поэзии, пронзосимое едва заметным шевелением губ, — вызвало неописуемую читательскую и критическую бурю. Эта буря не утихла долгие годы, долгие десятилетия, отзвуки ее слышны до нынешнего дня.

Шепот, робкое дыханье,
Треби соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,

Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,

В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..

Стихотворение «Шепот, робкое дыханье...», написанное в 1850 году, впервые напечатано в «Москвитяине» в том же году (№ 2). Оно стало классическим и по многим причинам центральным в творчестве поэта.

С виду наивное, стихотворение Фета несет серьезную психологическую нагрузку. Эта нагрузка может открыться только пристальному взгляду. Так,



Д. Д. Благой заметил, что между началом и концом стихотворения проходит несколько часов, но они тоже (психологически вполне оправданно: любящие не только не наблюдают часов, но и не чувствуют времени) слиты всем строем стихотворения как бы в одно-единственное мгновение.

Одно-единственное мгновение приравняется к вечности. У Фета нет этого слова — «вечность». Но ценность мгновения равна именно ей, вечности. Это — в подтексте произведения.

Слова разнохарактерные и несхожие («Шепот», «Серебро», «Тени», «Пурпур», «Слезы», «Заря») становятся звеньями одной цепи. В этой миниатюре нет ни одного лишнего, ни одного случайного слова. Все едино. Все выверено. Поэтическая картина Фета монолитна.

Некогда композитор Шуман сказал, что впечатление от музыки так же трудно передать, как трудно взвесить лунный свет. Со стихами Фета происходит примерно то же самое.

Фет боялся рационалистического подхода к образу, опасался, что живые изгибы его стихотворных созданий оцепенеют от прикосновения холодного рассудка.

Стихи можно анализировать при одном условии — любя поэзию. Тогда «пурпур розы» не блекнет, не меркнет.

Вверху — портрет А. А. Фета. 1846 г.

Мы вглядываемся в текст стихотворения и видим его привлекательные и смутные черты. Оно жавет, не зная старости. Если это мотылек (образ не мой, а М. Е. Салтыкова-Щедрина), то пыльца на крыльях его не осыпалась. Кажется, что это стихотворение не написано, а найдено, как подкова на дороге, как камешек, что оно всегда существовало, не могло не существовать, потому что в нем дивно отразились законы поэтической речи, музыка стиха, переливы голоса и сердцебиение самого Фета, пишущего это стихотворение.

Наряду с образами-намёками, со словами-вспышками (как в моментальной фотографии или на киноленте), с безглагольными словами немаловажную роль играют в этом стихотворении паузы — весьма частые у Фета. Без них невозможна и музыка его стихов. «Людские так грубы слова, их даже нашептывать стыдно», — признается Фет. И он не столько пишет о соловьином пении, о зыби ручья, о ночной светотени, об утренней заре, сколько говорит с читателем соловьиным пением, зыбью ручья, ночной светотенью, утренней зарей.

Фетовское слово поется, поется легко, охотно, самозабвенно. Оно окружено мелодией, как сиянием. Когда вы читаете «Шепот, робкое дыханье...», вы не только думаете о шепоте, не только слышите это робкое дыханье, не только улавливаете трели соловья, его щелк — вас волнуют сильные чувства. Вы думаете о жизни. В мире, рисуемом поэтом, все едино и все говорит человеку: жить!

«Шепот, робкое дыханье...» — это «мастерское стихотворение», по слову Льва Толстого, оно вошло во все хрестоматии и антологии и всесторонне характеризует поэта. В этом стихотворении Фет, хотя он и обращается к словам, сумел сказать и словом, и душой, и мелодикой.

Сразу же бьет в глаза и приковывает внимание то, что в стихотворении нет ни одного глагола. При 15 подлежащих ни одного сказуемого!

Критика обвинила поэта в нарочитом вызове всем общепринятым правилам грамматики и эстетики. Критик Н. К. Михайловский заметил: «Фет, ведь это «Шепот, робкое дыханье, трели соловья»... безглагольное стихотворение, безначальный конец, бесконечное начало, словом, нечто архипоэтическое».

Стихотворение «Шепот, робкое дыханье...», понравившееся даже такому суровому критику Фета, как Салтыков-Щедрин, оказалось не по душе А. Н. Толстому. В беседе с коллективом редакции журнала «Смена» (1933 год) он сказал: «Я эти стихи не люблю. Они sentimentальны. Это упаднические стихи. Глаголы пропущены. Их надо в своем воображении воссоздать. Наше воображение подсказывает банальные глаголы. Если бы он назвал какой-нибудь глагол, необычайно точный, передающий шорох листьев, который бывает в июле перед грозой, если бы употребил глагол, то запахло бы настоящей грозой».

А. Н. Толстой в момент, когда разговаривал с журналистами, очевидно, позабыл, что в тексте этого стихотворения нет никакого «шороха листьев», нет приближающейся грозы.

Упадничество и пропущенные глаголы А. Н. Толстой ставит в прямую и непосредственную зависимость. Следуя этому рассуждению, обилие глаголов означало бы не упадничество, а духоподъемность. Автор «Хожения по мукам» судит о лирической миниатюре с точки зрения бытописателя и рассказчика, который, естественно, без глаголов обходиться не может, если б даже и хотел обойтись без них.

Помню стихотворения «Шепот, робкое дыханье...», ставшего хрестоматийным, у Фета есть и другие стихотворения без глаголов. Это, тем самым говорит

поэт, не счастливая обмолвка, а осознанный стилизованный прием, один из способов лирического высказывания.

Буря на небе вечернем,
Моря сердитого шум —
Буря на море и думы.
Много мучительных дум —
Буря на море и думы,
Хор возрастающих дум —
Черная туча за тучей,
Моря сердитого шум.

Отсутствие глаголов не делает эту миниатюру безглагольной. Напротив, здесь все в действии, в движении: тучи, буря, море, думы. Все стихотворение может быть показано как образец поэтической динамики, стремительности и лаконичности.

Стихотворение «Шепот, робкое дыханье...» также исполнено трепета жизни, движения. Но движения не бурного, резкого, порывистого, а затаенного и затененного, едва приметного. Существительные и прилагательные, в том числе и эпитеты, здесь и в стихотворении «Буря на небе вечернем...» силою искусства обретают художественные качества глаголов, они как бы меняют свое грамматическое лицо и играют роль, которую им повелевает играть поэт. Роль глаголов.

От начала до конца безглагольно (в грамматическом смысле) стихотворение «Это утро, радость эта...»

Любопытно, что безглагольное стихотворение почти одновременно с фетовским «Шепот, робкое дыханье...» написано в 1851 году и Тютчевым («Дума за думой, волна за волной...») и в дальнейшем — другими поэтами.

Каким же способом, какими средствами Фет добивается впечатления, притом сильного впечатления, создаваемого стихотворением «Шепот, робкое дыханье...»? Как на картинах импрессионистов, здесь контуры размыты, смысл мерцает за словами. Образ только намечен, брошен, очень много значит догадка читателя. Самый ритм, самая расстановка слов, самый поэтический синтаксис подсказывают читателю картину, которая стоит за словами, предложенными ему поэтом.

Справедливости ради надо сказать, что Фет далеко не первый в русской поэзии прибегал к перечисленному признаку и свойству для воссоздания целостной картины. У Пушкина мы встречаем описание Москвы, в которую въезжал ларинский возок, или же приезд гостей на именины Татьяны, или не менее известное описание сражения в Полтаве: «бой барабанный, крики, скрежет, гром пушек, топот, ржанье, стон и смерть и ад со всех сторон». Принцип тот же, перечисление играет образно-динамическую функцию. В литературе мира перечисление становится свойством эпоса — вспомним хотя бы список кораблей в «Илиаде» Гомера.

Перечисление в художественном произведении, особенно в лирическом, имеет то свойство, что из сочетания перечисленных признаков, вещей, событий воссоздается целостная картина. Здесь каждое выражение — кинокадр, и в сумме, в движении, в смене их мы как бы смотрим лирическую ленту: вся миниатюра движется стремительно, все стихотворение составляет одно слитное предложение, которое хочется произнести на едином дыхании. Эта стремительность смены картин целиком заменяет глагол, которого формально нет в этом стихотворении, но который, по существу, в нем присутствует.

Местоимения обретают функции глаголов и служат, может быть, еще большей, чем в глаголах, динамике стиха. Фетовское начинание было подхвачено

поззией начала двадцатого века и продолжено нашими современниками. Стоит, к примеру, вспомнить стихотворение Бориса Пастернака «Определение поэзии»:

Это — круто налившийся свист,
Это — щелканье сдавленных лединок,
Это — ночь, леденящая лист,
Это — двух соловьев поединок.

Стремление к конденсированной и динамичной речи делает глагол подразумеваемым, само собой разумеющимся понятием, заключенным в тире.

В «Очерках былого» С. А. Толстой пишет о своем отце А. Н. Толстом: «Про известное стихотворение «Шепот, робкое дыханье» отец в 80-х годах говорил приблизительно так: «Это мастерское стихотворение; в нем нет ни единого глагола (сказуемого). Каждое выражение — картина; не совсем удачно разве только выражение «В дымных тучках пурпур розы». Но прочтите эти стихи любому мужику, он будет недоумевать, не только в чем их красота, но и в чем их смысл. Это — вещь для небольшого кружка лакомок в искусстве». Эти последние слова А. Н. Толстого — в передаче его сына — недалеко от той оценки Фета, которую давали революционные демократы, а заодно с ними Салтыков-Щедрин. Но в оценке Льва Толстого для нашего анализа особенно существенно замечание: «каждое выражение — картина».

Как связываются «шепот», и «дыханье», и «соловей», и «серебро», и «ручей»? Каждое из этих выражений — этюд-картина, каждое может стоять в виде названия на выставочной раме. И все вместе они образуют цепь подвижных картин, ленту, динамичное изображение. В этом была интуитивно открыта Фетом новизна постижения мира и его изображения в поэзии. Фет работает, как живописец. Он озабочен тем, чтобы «каждое выражение» было «картиной». Поэзия стремится минимумом средств добиваться максимума образной информации.

Сейчас, на большом историческом расстоянии, кажется странным: почему современники спорили с Фетом, зачем нужно было тратить столько пороку, чтобы доказать очевидное? Но в том-то и дело, что очевидным оно оказалось в итоге длительного спора и развития.

Фет, вероятно, не заботился о логической связи предметов: «серебро ручья» и «тень», «трели» и «зая». Современный читатель подготовлен к такому восприятию разрозненного. У читателя есть этот опыт. Безглагольность? Ну и что же — это так естественно. Читатель легко ее приемлет. Мы действительно приобщаемся к миру прекрасного, мы ищем способа включения красоты в общественную жизнь.

Сейчас, беря в руки томик фетовской лирики, мы не всегда чувствуем историческую перспективу. Все его стихи выстроились в один ряд. А между тем историки литературы без особого труда отметят долговременную, более чем полувековую, прерывистую, нервную линию творческого развития поэта. Первый сборник Фета вышел одновременно с лермонтовским, а последний фетовский сборник — одновременно с книгами некоторых символистов, скажем, с первым сборником Бальмонта.

Да, конечно, среди многих прекрасных лириков прошлого — девятнадцатого — века, столь богатого поэтическими талантами, не затерялось и имя Афанасия Фета. Когда в 1915 году Блок просил ответить, какие писатели прошлого века оказали на него наибольшее влияние, он ответил: «Жуковский, Соловьев, Фет». В предисловии к сборнику «За гранью прошлых дней» (1919) Блок замечает: «Заглавие книжки заимствовано из стихов Фета, которые не-

когда были для меня путеводной звездой». О своем пристрастии к поэзии Фета говорили многие поэты начала века, а в нашу эпоху — современники наши, старые и молодые.

«Шепот, робкое дыханье...» — лишь одна из граней фетовской лирики. Этот поэт многообразней, чем принято думать. Прав был чуткий Паустовский: в нашу эпоху зарождается новая лирика межзвездных пространств. И он напомнил читателю то, о чем позабыли историки. «Первые слова об этом (о межзвездных пространствах. — Л. О.) сказал старый поэт, глядя из своего ночного сада на роящееся звездное небо где-то в земной глуши около Курска». Возможно, Паустовский имел в виду стихотворение «На стоге сена ночью южной...», в котором поэт, «как первый житель рая, один в лицо увидел ночь». Он увидел ночь и почувствовал ее бездну: «над этой бездной я повис».

И с замираньем и смятеньем
Я взором мерил глубину,
В которой с каждым я мгновеньем
Все невозвратнее тону.

Люди другой эпохи, мы не можем не почувствовать, с каким «замираньем и смятеньем» старый поэт «взором мерил глубину» звездных небес, глубины галактики. Он не подозревал, что эта безмерная глубина будет исследоваться и покоряться человеком. Желанье проникнуть в иные миры, ощутить величие Вселенной — это роднит нас со старым поэтом, делает его нашим собеседником.

Но, как уже говорилось, далеко не сразу произошло постижение мира фетовской поэзии. Вокруг этой поэзии, вокруг имени Фета велась длительная литературно-общественная борьба.

Одни восторгались миниатюрой «Шепот, робкое дыханье...», другие потешались над ней и ее автором. Одни говорили: чистой воды лирика. Другие: отрешенность от времени. Третьи: усадебное альбомное виршеписание. Четвертые подтрунивали, выворачивая наизнанку текст Фета:

Холод, грязные селенья,
Лужи и туман.
Крепостное разрушение,
Говор поселаян.

Редкий из наших поэтов «удостаивался» таких критических туманов и оплечух. Одни предлагали его сочинения пустить на оберточную бумагу или на обложку коммат. Другие уверено повторяли: гений. Нет, числа пародиям на фетовское стихотворение.

Топот, радостное ржанье,
Стройный эскадрон,
Трель горниста, полыханье
Веющих знамен,
...Амуниция в порядке,
Отблеск серебра,—
И марш-марш во все лопатки,
И ура, ура!..

Под этой пародией (1863) подпись «Майор Бурбон» (псевдоним Д. Д. Минаева). Пародия сопровождается издевательским комментарием. Автор сожалеет, что Фет «изменил своему настоящему направлению». «Служа в уланах, г. Фет должен был придать непременно песням своим боевой, военный характер, званию его свойственный. а он сделался статским стихотворцем, явился штафиркой на Парнас». Напомню, что «штафирка» — это подкладка под обшлага рукавов. Издевательство шло за издевательством. Комментарий к пародии еще более зол, чем самая пародия.

Были пародии, называвшиеся «Лирические песни без гражданского отлива», «С персидского: из Ибн-Фета», от Дмитрия Минаева до Козьмы Прутова пародисты не оставляли Фета в покое.

Буря вокруг «Шепота» длилась долго и надолго запомнилась.

Секретарь Толстого В. Ф. Булгаков в мемуарной книге своей делает запись 16 февраля 1910 года — за полгода до смерти писателя: «Лев Николаевич продекламировал стихотворение Фета «Шепот, робкое дыханье»:

— А ведь сколько оно шума наделало когда-то, сколько его ругали!..»

Революционно-демократическая критика видела в стихотворении «Шепот, робкое дыханье...» не столько литературу, посвященную природе и любви, сколько манифест отрешенности поэзии от житейских бурь, от запросов времени.

Облик живого автора, тароватого помещика-крепостника, в ту пору современники поэта неизменно накладывали на его стихи. Получалась картина безотрадная. Лютой скаред, противник демократических свобод, сидя в своей усадьбе, сочиняет стишки о лунной ночи и о волшебных изменениях «милого лица». Делать ему нечего, достаток есть, да еще какой достаток, на все ему наплевать, вот тебе отсюда и «робкое дыханье».

Такой умный и объективный свидетель, как судебный деятель и литератор А. Ф. Кони (1844—1927), дал убийственную характеристику Фету: «Крепостник и порицатель «великих реформ» и «слабости цензуры», удивительным образом соединивший в себе философские знания и понимание и чудный поэтический дар со строевыми идеалами кавалерийского штаб-ротмистра...»

Это может показаться неожиданным и странным, но именно такой защитник народных интересов, как Салтыков-Щедрин, к стихотворению «Шепот, робкое дыханье...» отнесся весьма благосклонно. Мы не должны, правда, забывать, что это произнес человек, очень резко критиковавший Фета и за другие его стихи и за его позицию в современном ему обществе. Салтыков-Щедрин явно не устраивало то, что мысль и чувство в стихах Фета как бы мгновенно всплывали и так же мгновенно улетучивались, что стихи эти были своенравным капризом, что желание поэта и мечты его не имеют определенной цели. «Да и не желание это совсем, а какая-то тревога желаний», — говорит Салтыков-Щедрин и высказывает резкое порицание поэту: «Слабое присутствие сознания составляет отличительный признак этого полудетского мирозерцания». Сатирика нашего явно не удовлетворяла инфантильность лирического самосознания Фета. И он строил догадки по поводу истоков этого «полудетского мирозерцания».

«Прочтешь одно, два стихотворения г. Фета всегда бывает приятно, но прочтешь целую книжку его стихотворений составляет уже труд довольно значительный». Далее Салтыков-Щедрин целиком приводит стихотворение «Шепот, робкое дыханье...» и добавляет: если это прелестное стихотворение представить вам в нескольких сотнях вариантов, «то будет немудрено, что, наконец, самая прелестность его сделается для вас несколько сомнительна».

Салтыков-Щедрин приводит другие строки из других стихотворений Фета и говорит о читателе: ему и не придет в голову, что эти стихи тоже «Шепот, робкое дыханье...» и что читатель не поймет, изображается ли здесь картина городского вечера или вечера сельского? Салтыков-Щедрин беспощаден, как всегда. Он говорит, что поэтический трапезу Фета,

за весьма редким исключением составляют: вечер весенний, вечер летний, вечер зимний, утро весеннее, утро летнее, утро зимнее; затем: кончик ножки, душистый локон и прекрасные плечи. Это не устраивало великого сатирика. Он именует произведения Фета заодно со стихами Каролины Павловой «мотыльковой поэзией». Он говорит, что этих поэтов занимает желание и волнение «божьих коровок, комаров и других милотидных насекомых». Если среди произведений Фета Салтыков-Щедрин еще находит произведения, которые рекомендует своим читателям, то в обрисовке облика Фета-человека он не находит решительно ничего привлекательного. Он показывает его как злостного крепостника. Он говорит о Фете, засевшем в своей усадьбе: «Там, на досуге, он отчасти пишет романы, отчасти человеко-ненавистничает; сперва напишет романс, потом почеловеконенавистничает; и опять напишет романс, и опять почеловеконенавистничает. И все это, для тиснения, направляет в «Русский вестник».

Пусть и не прямо, пусть косвенно, но Салтыков-Щедрин устанавливает связь между личностью Фета, между его мировоззрением и глухотой по отношению к народной жизни.

Итак, далеко не все современники Фета восприняли его поэзию так, как можем ее воспринимать мы. Более того, некоторые его современники, как мы видели, принимали эту лирику в штыки, отвергали ее, говорили, что она не соответствует духу времени. Но кто иной, как Достоевский, в полемическом задоре занял свою особую позицию, которая в наши дни кажется нам наиболее приемлемой и мудрой.

Достоевский писал: «Положим, что мы перенесемся в XVIII столетие, именно в день Лиссабонского землетрясения. Половина жителей в Лиссабоне погибает; дома разваливаются и проваливаются; имущество гибнет; всякий из оставшихся в живых что-нибудь потерял — или имение, или семью. Жители толпятся по улицам в отчаянии, пораженные, обезумевшие от ужаса. В Лиссабоне живет в это время какой-нибудь известный португальский поэт. На другой день утром выходит номер лиссабонского «Меркурия» (тогда все издавались «Меркурии»). Номер журнала, появившегося в такую минуту, возбуждает даже некоторое любопытство в несчастных лиссабонцах, несмотря на то, что им в эту минуту не до журналов; надеются, что номер вышел нарочно, чтобы дать некоторые сведения, сообщить некоторые известия о погибших, о пропавших без вести и проч. и проч. И вдруг — на самом видном месте листа бросается в глаза что-нибудь вроде следующего: «Шепот, робкое дыханье»... Не знаю наверное, как приняли бы свой «Меркурий» лиссабонцы, но мне кажется, они тут же казнили бы всенародно, на площади, своего знаменитого поэта, и вовсе не за то, что он написал стихотворение без глагола, а потому что вместо трелей соловья накануне слышались под землей такие трели, а вместо колыбания ручья появились в ту минуту такие колыбания целого города, что у бедных лиссабонцев не только не осталось охоты наблюдать «в дымных тучках пурпур розы» или «отблеск янтаря», но даже показался слишком оскорбительным и не братским поступком поэта, воспевающего такие забавные вещи в такую минуту их жизни».

Далее Достоевский продолжает развивать свое исключительной глубины предположение:

«Какое-нибудь общество, положим, на краю гибели; все, что имеет сколько-нибудь ума, души, сердца, воли, все, что сознает в себе человека и гражданина, занято одним вопросом, одним общим делом. Неужели же тогда только между одними поэ-

тами и литераторами не должно быть ни ума, ни души, ни сердца, ни любви к родине и сочувствия всеобщему благу? Служение муз, дескать, не терпит суеты. Это, положим, так. Но хорошо бы было, если б, например, поэты не удалялись в эфир и не смотрели бы отсюда свысока на остальных смертных; потому что хотя греческая антология и превосходная вещь, но ведь иногда она бывает просто не к месту, и вместо нее приятнее было бы видеть что-нибудь более подходящее к делу и помогающее ему. А искусство много может помочь иному делу своим содействием, потому что заключает в себе огромное средство и великие силы».

Прозорливое суждение Достоевского было подтверждено не только тем, как в дальнейшем поколении русских читателей стали относиться к Фету. На примере других мастеров русского слова можно проследить, как в известной степени неуместные в данный момент произведения, если они действительно произведения искусства, приобретали со временем своих благодарных, а подчас и восторженных почитателей. Рассуждение Достоевского имеет свою концовку, и мы не вправе ее не привести:

«Заметим, впрочем, следующее: положим, лиссабонцы и казнили своего любимого поэта, но ведь стихотворение, на которое они все рассердились (будь оно хоть и о розах и янтаре), могло быть великолепно по своему художественному совершенству. Мало того, поэта-то они б казнили, а через тридцать, через пятьдесят лет поставили бы ему на площади памятник за его удивительные стихи вообще, а вместе с тем и за «пурпур розы» в частности. Поэма, за которую они казнили поэта, как памятник совершенства поэзии и языка, принесла, может быть, даже и немалую пользу лиссабонцам, возбуждая в них потом эстетический восторг и чувство красоты, и легла благотворной росой на души молодого поколения».

В красоте Достоевский видит воплощение и социально-исторической пользы. Он не противопоставляет их, а соединяет. Вот почему Фет не является для него мишенью насмешек и издевок, он определяет верное историческое место его. «Мир красотою спасется» — лозунг и символ веры Достоевского близок Фету, правда, самое понимание красоты у этих двух русских писателей не тождественно. Достоевский понимает красоту как творение народа, как его идеал, Фет же ограничивает понимание красоты рамками личности, отрешает ее от общественных идеалов.

Нужно было, чтобы большое историческое время подтвердило правоту Достоевского. Для этого нужны были новые общественные условия и обстоятельства, при которых красота не противопоставлялась бы пользе, а воспринималась бы в единстве с нею, когда воспитание чувства прекрасного столь же необходимо, как и воспитание чувства гражданственности.

У современников создавалось превратное представление о Фете как о человеке; вместе с тем некоторым из современников, особенно Льву Толстому, Фет открылся во всей своей духовной сущности, всесторонне.

Кроме «истинного поэтического дарования», Толстого привлекала в Фете «искренность его характера. Он никогда не притворялся и не лицемерил, что у него было на душе, то и выходило наружу». Для Толстого Фет был, что называется, «чистокровный годовик, который косится на Вас своим агатовым глазом, и скачет, молниеносно джигаясь, и становится на дыбы, и вот-вот готов как птица перевернуться через двухаршинный забор». Толстой отмечает не-

принужденность и совершенную естественность фетовской поэтической речи.

В ту пору, когда о Фете не принято было говорить (во всяком случае, со знаком явного одобрения) на страницах журналов, когда он сам упорно всем твердил о себе как о поэте, чей путь можно было считать завершенным, Лев Толстой писал: «Я от вас все жду, как от 20-летнего поэта, и не верю, чтобы вы кончили. Я свежее и сильнее вас не знаю человека. Поток ваш все течет, давая то же известное количество ведер воды-силы, колесо, на которое он падал, сломалось, расстроилось, принято прочь, но поток все течет, и, ежели он ушел в землю, он где-нибудь опять выйдет и завертит другие колеса».

Так же, как Достоевский в образе места казни и места для памятника, Толстой в образе воды-силы многое предугадал. Он почувствовал, что поток Фета на какое-то время будет не виден, он окажется подземным потоком, но в какой-то момент жизни общества — в какой именно момент, трудно сказать — он должен, он обязательно должен вырваться наружу с новой силой. И некоторое время спустя, уже на закате своих лет, в Фете снова забурлила творческая сила, и, как он сам говорил, «Муза пробудилась от долголетнего сна и стала посещать меня так же часто, как на заре моей жизни». И на старости лет Фет пережил вторую творческую молодость и дал русской поэзии неувядаемые образцы лирики. С конца 70-х годов он писал лирические миниатюры еще с большим упорством и подъемом, чем в юности и молодые годы. «Вторая молодость» торопила его, жизнь на излете снова взбодрила его, показала всю свою привлекательность и заставила говорить о себе, находя для определений самые точные, самые воспевающие, самые мелодичные слова.

В наши дни такое стихотворение, как «Шепот, робкое дыханье...», не вызывает ни протеста, ни злобства. Оно прошло испытания многих поколений, его то возносили до небес, то топили в глубоких водах. Но оно живо и стало для нас выражением чувства влюбленных, которые могут посредством поэзии Фета объясниться друг с другом, прибегнуть к магическому кристаллу строки, чтобы их чувство обрело и лад, и склад, и смысл, и строй, и «ряд волшебных изменений милого лица». Эти две строки, останавливающие своей, казалось бы, неопределенностью и только смутным намеком на облик любимого человека, эти две строки указывают на то, что стихотворение Фета можно с одинаковым успехом помещать и в раздел стихов о природе и в раздел стихов о любви. Может быть, в этой нераздельности двух граней фетовского таланта кроется разгадка его успеха у читателя.

Тихое, шепотное, краткое, как вздох, стихотворение подняло, как уже было сказано, целую бурю. Эта лирическая миниатюра оказалась способной на многие годы, десятилетия, на столетие с лишним вызывать острую полемику идейного, художественного, эстетического характера. Мы сочли необходимым задуматься над причинами такого длительного воздействия этого стихотворения...



Внизу —
Фото
Д.м. Бальтерманца.

СЕРГЕЙ
МАРКОВ

СВАДЬБА В ХИВЕ

Н

есколько лет назад во внутреннем, старом городе древней Хивы Ичан-кале, в бывшем здании медресе Мухаммед-Аминхана открылась отвечающая всем современным требованиям гостиница. Место в ней достать было непросто. Многим, видимо, хотелось бы на одну-две ночи забыть о буд-

ничных делах-заботах, о ядерной угрозе, экологическом кризисе, многосерийных кинофильмах, остаться с самим собой на фоне вечности, отраженной в старинных стенах и башнях, куполах и минаретах.

В двухместном номере было прохладно и тихо. Сверху доносились обрывки какой-то очень известной французской мелодии. К ним примешивался необъяснимый, то затихающий, то нарастающий размашистый шум, точь-в-точь повторяющий замысловатые движения живых теней по потолку и верхней части стены. Странно, деревья вблизи вроде бы нет...

Неожиданно кто-то робко постучал в дверь. Потом еще. Лень было вылезать из-под теплого одеяла. Подождав минут пять, незнакомец медленно отворил дверь и бесшумно проник в номер. Долго раздевался, не зажигая света, что-то разматывал, развязывал, тяжело дыша, шептал, прижимая губами, равномерно и устало. Похоже, молился...

От шепота же я и проснулся, когда в комнату через небольшое оконце вплыло серое облако рассветного тумана: «Бисмилляхи ар рахман ар рахим...» Незнакомец словно почувствовал спиной, что я открыл глаза: он повернулся, пристально на меня взглянул и сердито что-то проворчал. Потом громче и отрывистей. Я удивленно, с недоумением ждал. Старик откинул штору, подошел к кровати, недружелюбно уперся взглядом...

— Вах, вах, да ты русские?! А я уж думал отругать тебя, что ни утром, ни вечером не молишься. Ну, прости, сынок. Спи спокойно. Знаешь ведь, какой нынче молодежь пошел? Недавно правнук-студент приезжал из Ташкента. Волос до плеча, штаны



ветхие, заплатанные, а на груди... Он не то что молиться, он на груди вашего бога нарисовал! Я хотел отобрать эту его майку, а он говорит: не бог это, акын какой-то заграничный... А ты спи, сынок... В самой Москве живешь? В центре? Ну, спи, прости меня, старика! Никогда в Москве не был. Куда только ни носил Аллаха, а вот в Москве не довелось... Праздник у меня сегодня, правнучка замуж выходит. Для того и приехал, чтобы посмотреть... Такой красавица! И подарок привез.. Ты прости, что помешал, я на одну ночь в гостинице, хочу неожиданно на свадьбу! А еще посижу на могиле брата, отца вспомню. Отец восемьдесят лет здесь прожл. Какой богатый был, большой человек, как великий пахлаван Махмуд! Нас двенадцать сыновей росло, так он одну свою силу между всеми разделил и удачливость. Потому и не хватило ее на всех. Младшего брата я лет на тридцать пережил...

И началась настоящая исповедь. Случайному собеседнику, человеку другого времени, иных обычаев. Расставаний в той жизни хватило б на несколько жизней. И слез, и боли, и горечи. Но говорил старик Юсуп как-то отрешенно, словно не о себе, а о ком-то далеком, давным-давно ушедшем. Он даже улыбался порой, снимая потертую дешевенькую тюбетейку и разглаживая черными, сучковатыми пальцами со сбитыми ногтями сухую, словно куст осеннего вереска, бородку. Как-то не по себе становилось от его улыбки, тревожно: глубоко запрятанные глаза, затянутые неживыми холодными морщинами, казалось, уже не способны были отражать свет...

— И мне давно уж пора,— говорил он, медленно потягивая выцветший, такой же, как сам хозяин, древний халат.— А я все живу... Вот погощу у младшенькой... Вах! — вдруг вскрикнул он.— Ты же не видел нашей свадьбы. Без этого не понять тебе страши узбеков. Ты ступай по своим делам. Ичан-калу посмотри, а в восемь вечера я тебя буду ждать здесь, возле западных ворот Ата-дарваза. Со мной пойдем. Увидишь, как моя правнучка через костер будет прыгать! Хоп, сынок,— улыбнулся Юсуп, и мурашки по коже пошли у меня от его улыбки.

Никогда не был в Средней Азии. Читал, слышал, мечтал,— и всегда мыслил привычными категориями. Особенно о Хиве. Небольшой, очень древний городок... Виделись Загорск и Суздаль, Херсонес и старый Таллин... И, встретившись с Хивой, я подсознательно искал что-то знакомое, за что можно бы зацепиться, чтобы начать освоение совершенно незнакомой культуры. Какие-то связующие нити. И не находил довольно долго.

День начался с завтрака в уютной чайхане, тоже недавно открытой неподалеку от гостиницы, под двориком медресе. Ополоснув руки из железного кувшина, стоящего справа от Дверей, сняв ботинки и усевшись по-турецки на коврик, я с удовольствием съел горячие мягкие лепешки, запивая их зеленым, душистым, а в почти безвкусным с непривычки чаем. Вышел из чайханы, настроенный на любопытно-навязчивый, экскурсионный лад. Но поначалу мне не повезло.

Туристская группа, к которой я присоединился, через час-полтора начала зевать, с открытым нетерпением поглядывать на часы и, уже почти не слушая экскурсовода, обсуждать расписание Аэрофлота.

Закупив в киосках у входа в Ичан-калу удивительно дорогие и удивительно ненужные сувениры, они сели в мягкий «Икарус» и укатили. А я остался у ворот в подавленном настроении. Хива! Хива! Все

уши прожужжали. А что Хива? Нензвестно... Грязь, слякоть, скользкие острые камни, бессмысленные башни торчат... Жаль, что договорился с дедом Юсупом идти на свадьбу, а то бы уже сейчас со спокойной душой и чувством выполненного долга — как-никак «отметился!» — взял бы портфель в руки — и прочай, древняя и вечно молодая...

Впрочем, вторая попытка — не пытка! Что, зря приехал в такую даль? «Быть упрямым учусь, снова в дверь стучусь...» Иду к экскурсионному бюро и дожидаясь новой экскурсии. На этот раз экскурсовод — архитектор Общества охраны памятников Ибрагим Каримов. Архитектор? Это уже кое-что обещает... И вторая моя экскурсия по Хиве была так же похожа на первую, как храм Василия Блаженного на один из домов Калининского проспекта.

Через час мне казалось, что я уже бывал здесь прежде, а это случается, когда к сознанию подключается сердце.

Потом мы сидели на большом зеленоватом камне в некрополе возле мавзолея пахлавана Махмуда, того самого, на которого был похож отец моего ночного знакомого деда Юсупа, и Ибрагим рассказывал уже сверх программы о своем любимом герое — великом философе, ремесленнике, воине, полiglоте, ищущем болезней, больше всего известного в восточном мире в качестве борца, победителя первых снлчей Индии, Ирана и других стран. Шестьсот лет приходят сюда люди поклониться честному и славному богатарию Махмуду, шестьсот лет живут его философские рубай, призывающие к действию, свободе, жизни. «Сильный поднимается в гору. Слабый — ходит у подножия горы. Только не стой на месте! Даже луна и звезды движутся...»

Ибрагим уговорил директора заповедника разрешить мне подняться с ним на самый высокий, 56-метровый минарет Ислам-Ходжа, на верхушке которого укреплен полумесяц-флюгер, указывающий хивинцам направление ветра. «Только предупреждаю, даже у мастеров спорта неделю после Ислам-Ходжа ноги болят», — немного покровительственно, как хозяин, улыбается Ибрагим. Действительно, преодолеть все 120 крутых, высотой по колено, ступеней минарета не слишком легко. И ноги потом ныли до самой Москвы. «А мулла, по-нашему муздин, частенько уже в солидных годах, поднимался на Ислам-Ходжа пять раз на дню,— гулко доносился сверху голос Ибрагима,— сзывать людей на молитву».

Неровные, сжимающие стены, черный, давящий потолок... Казалось, мы поднимаемся по какому-то древнему водопроводу, и сверху в любой момент может хлынуть ледяной поток. Темно. Тревожно. Лишь изредка капли света падают на ступени из узеньких прорезей бойниц...

Стены верхней площадки пестрят надписями, оставленными при помощи режущих, колющих, а то и вовсе тупых, вроде кирпича, предметов, еще до землетрясения, во время которого минарет дал несколько трещин и подниматься туристским группам стало небезопасно. И странно: от этого беззакония — надписей на стенах — проходит тревога, становится как-то теплей и уютней. Пахнет жизнью. «Аня и Витя были на минарете. 1958»; «Тагик здесь был и загорал. г. Ереван»; «Оля + Мамед Каграманов = любовь. 1965 год»; «Саша Р., Володя Б. «Динамо». Март 1974 г.»; «Был здесь я, Охрименко, и плевал с этой колокольни, июнь 72».

Дует плотный, влажный ветер. Впервые за день из-за набухших, словно промокшая вата, облаков показывается солнце. Хива, весь ее внешний горд Дишан-кала плавает в размазанных дождем темнорозовых пастельных пятнах цветущей вишни и урю-

ка. Над куполами и минаретами поднимается теплый седой пар, из-под которого начинает потихоньку выскальзывать сравнимый разве что с утренним апрельским небом солнечно-голубой, лазурный майоликовый блеск древних плиток, не замутненный пылью и липким здепшим зноем... Отсюда многое можно увидеть, многое себе представить. Как бродит по задумчивым вечерним улицам Хивы худощавый юноша с большими, не по-азатски широкими и печальными глазами. Подходит к седобородым аксакалам и долго сидит возле них, скрестив ноги, внимает мудрости, потупив взор... Лишь изредка вскинет он встывшие вдохновением очи, и все изведавшие, все постигнувшие мудрецы робко замолкают, встречаясь с его непонятным, нечеловеческим, бессмертным взглядом поэта...

Великий Махтумкули пришел сюда мальчиком. От его родины до Хивы — сотни километров. Но славились Хива глубиной и широтой познаний, даримых ее древними медресе. Приходил сюда за знаниями и из Китая, из Индии (здесь учился и дед Джавахарлала Неру). Юный Махтумкули пришел сюда пешком. Стал учиться в одном из лучших медресе — Ширгази-хана — медицине и музыке, арабскому, персидскому и многим прочим языкам, математике и стихосложению. Ведь именно в Хиве жил родоначальник естественнонаучной мысли Востока, создатель науки, которой столько обязан мир, — алгебры — великий астроном и географ Мухаммед Ибн Муса аль-Хорезми. Совсем молодым он открыл уравнение с двумя неизвестными. Больше жизни он любил математику, но не как отвлеченную, сухую науку, а как мудрость, нераздельно связанную с жизнью и поэзией. Кто знает, может быть, первые свои стихи Махтумкули создал под влиянием таких вот «душистых» и остроумных задачек, которые за много веков до его рождения загадывал студентам медресе великий математик Хорезми и оставил потомкам в своем знаменитом трактате: «Девять десятых кубического роя пчел вылетели из гнезда, привлеченные утренним запахом свежести жасмина. Вслед за ним вылетел корень квадратный пчел из того же гнезда. Лишь один самец и самка остались в кустах и о чем-то шепчутся. И говорит он ей: «А скажи-ка, женщина, сколько было всего пчел?».

Махтумкули блестяще закончил медресе, превзойдя за три года все науки, рассчитанные на одиннадцать лет. Родина ждала поэта.

Три года, что ни день, ты кров делил со мной.
Прости, я ухожу, прекрасный Ширгази.
Учил ты жить, врага и друга различая.
Мне истина открылась золотая.
Группу я, эти стены покидая,
Прости, я ухожу, прекрасный Ширгази...

Хива, ее мудрость, ее история, ее дыхание наполнили юного поэта тем, без чего немислим поэт: умением мыслить образами, наполнили думами о разуме, о жестокости и милосердии. Много лет спустя голос Махтумкули убежденно и страстно прозвучит в философских стихотворениях «Безвременье», «Святые старцы», «Страшный суд», «Птица счастья»...

...Через час горячее солнце до конца выпивает остатки утреннего дождя и поднимающегося легкого тумана. Купола и порталы Ичан-калы ослепительно сверкают, не позволяя туристам даже ненадолго прятать в чехлы свои «Кодаки», «Лентаксы», «Практики» и «Красногорский», заряженные цветной пленкой. Только бы хватило!

Особенно неистово, призывая на помощь все силы своих сложнейших голубых и розовых узоров, слепит все и вся вокруг широкий в основании, с наду-

тыми от гордости щеками, с верхушкой, словно отпиленной гигантской двуручной пилой, памятник неудовлетворенному ханскому тщеславию — недостроенный минарет Кальта-минар. По замыслу хана Мухаммеда-Амина, он должен был стать самым высоким не только на Востоке, но и во всем мире! Мечталось унизить недруга — Бухару тем, что с минарета будет видно ее как на ладони (а от Хивы до Бухары больше четырехсот километров!). Но эмир бухарский, проведая о великом строительстве, посулил хорошо заплатить мастеру, если тот и в Бухаре построит минарет такой же высоты, а то и повыше. Тогда хивинский властитель придумал сбросить мастера с верхушки своего минарета, как только он закончит стройку, а до той поры сторожить посменно! Но ученики добыли крепкие веревки и глубокой ночью помогли мастеру бежать от Хивы и Бухары — подальше от спора сильных мира сего... Так и сияет на солнце — от гордости, что едва не стал высочайшим в мире, — недостроенный минарет Кальта-минар.

...Долго стояли мы с Ибрагимом на верхней площадке Ислам-ходжа. Он рассказывал мне грустные и смешные легенды, читал на память рубай и газели хивинских поэтов — на арабском, узбекском, русском. Особенно много любимого своего Аваза, подобно многим смелым умам за нестандартность мысли объявленного сумасшедшим. Рассказывал о знаменитой Хорезмской «Академии» при дворе хорезмшаха Абулббаса Мамуна ибн Мамуна, где собирались крупнейшие ученые, поэты и художники Востока, где бывал великий ученый, энциклопедист ибн-Сина, замечательный философ и астроном Бируни, где происходили долгие диспуты, обсуждались важнейшие вопросы современной науки и культуры.

...В двадцатые—тридцатые годы нашего столетия все древние ремесла Хивы умерли. Умерли секреты, создававшиеся и хранившиеся веками, умерли или замолчали, навсегда сложив свои золотые руки, мастера. Последние тончайшей резьбы деревянные колонны и двери с волшебным хорезмским орнаментом растащили по домам, сожгли в печах, остатки догнали под дождем, сваленные в кучу. Рассыпались от времени квадратные кирпичи, сделанные из особого состава. Тускнела и осыпалась майоликовая плитка. В Ичан-кале из-под земли и пыли столетий виднелись лишь верхушки куполов и минаретов. Казалось, рождается еще одно подтверждение истины: ничто не вечно под луной...

Казалось, но не оказалось. На роду Ичан-кале было написано поистине восстать из пепла и долго еще жить. А прочитали эту «надпись» люди совсем недавно. «У нас в роду все резчики по дереву», говорил мне, не отрываясь от работы, продолжая проходить стамеской большой круг орнамента двери, молодой парень Кузыйбай Сапаев. — И отец, и дед, и прапрадед... Да и я нынче в чем другом не мастак. Но трудно пришлось сначала... Руки и кровь забыли теплоту дерева, легкость его, звучание... Но сейчас, кажется, более менее на лад пошло...»

Недавно Ичан-кала была объявлена вторым в стране после Суздаля музеем-заповедником. Начались работы по восстановлению. По городам и кишлакам разыскивали мастеров и их потомков, сохранивших секреты особого обжига глины, резьбы по чагу и дереву. Только несколько лет назад реставраторам удалось наконец раскрыть тайну знаменитой майолики... Хивинские мастера отреставрировали уже более сорока медресе, мавзолеев, мечетей, входных ворот. Появились из-под земли глубокие каменные ниши у Западных ворот, в которых когда-то русские, афганские, персидские, индийские купцы торговали керамкой и ювелирными изделиями из золота, се-

ребра, сердолика, мехами, шелками, сапогами, опиумом, вареньем, мукой, бархатом, чаем. Ныне они снова служат по назначению почти прямому. В нишах установлены киоски с сувенирами, буклетами, открытками, на которых Хива так хороша, что напоминает игрушечную крепость, выстроенную из блестящих кубиков.

Ровно в восемь у Западных ворот я встретился с дедушкой Юсупом. Тот сидел прямо на асфальте, поджав под себя ноги, и глядел туда, куда только что ушло солнце. Потемневшее за день лицо его казалось еще более скорбным, еще более неживым. Даже самые маленькие морщинки так явственно проступили на щеках, что теперь уже вовсе невозможно было определить возраст. Казалось, давно уже он переступил границу отпущенного человеку.

По крупной неровной брусчатке мы медленно прошли к центру Ичан-калы, свернули влево, обогнули полуразрушенную стену, прошли мимо подточенной почвенными водами башни... Юсуп шагал тяжело, почти не отрывая ступни от земли, всем телом опираясь на толстую, отполированную ладонью палку. Дышал часто и хрипло, то и дело останавливаясь... Наконец подошли к дому невесты, где, по обычаю, должна была состояться небольшая свадьба, как бы прелюдия к основной — в доме жениха. Горели огни, было шумно и суетливо. Мы с дедушкой потихоньку прошли через двор в одну из комнат и, сняв обувь, присели на ковер с краю. Никто из присутствующих в комнате не знал или не узнал Юсупа. Но нам тут же поднесли пиалы с чаем, глубокую миску соленых орехов, подвинули тарелку со сладостями...

У узбеков закон: гость, независимо от имени и положения, — дороже отца родного! Особенно в кишлаках мне не раз пришлось встретиться с трогательной внимательностью и гостеприимством. Гостю должно отдать лучшее, причем так, чтобы он этого не заметил. Никогда хозяин не станет сразу выпрашивать у пришедшего, по какому тот делу. И гость, в свою очередь, как бы ни поджимало время, какие бы срочные дела ни подгоняли, не должен показать нетерпения: это неуважение к хозяевам. Сядь не спеша, выпей несколько пиал чаю, осведомись о здоровье, о погоде. — «Вах, сколько дождей в этом году овцы, почти столько же, что и в году коровы!» — и только после этого своеобразного ритуала можешь перейти к делу. Впрочем, и совсем случайный гость может просидеть вот так несколько часов кряду, сытно пообедать, поблагодарить — рахмат! — и удалиться. Конечно же, говоря об этих старых добрых обычаях, нужно помнить ритм современной жизни, который чувствуется даже в самом отдаленном кишлаке. Но дух гостеприимства жив и в городских домах узбеков и, как ни странно, отчасти даже в официальных учреждениях...

Мы сидели с дедушкой Юсупом и потихоньку беседовали. Старик объяснял, как готовятся соленые орехи, вспоминал, насколько плов его молодости был лучше нынешнего. Вдруг в комнату влетела черноглазая девчушка в золотом шитой тюбетейке и длинном атласном платье. Глаза ее скользнули по лицам сидящих вдоль стен. Как солнечный зайчик, взгляд ее не сразу поймал то, за чем гнался, пролетев немного дальше, потом вернувшись, и, звонко вскрикнув, она замерла, как на фотографии, только смотрела удивительно живо, естественно и так выразительно, что никаких больших движений и слов не надо было, все само собой «чтало» Видно было, как нестерпимо хочется ей прыгнуть на колени к любимому

дедушке, целовать его губы, щеки, руки, смотреть в его глаза, слушать его задумчивый ровный голос, видно было, как о многом хотелось ей расспросить дедушку Юсупа, рассказать все, все, все! Ведь так давно не виделись! Но девушка спокойно приблизилась к деду и почтительно опустилась на колени, поцеловала его руку и поставила перед нами еще одну тарелку с угощениями. Только ее длинные блестящие темные глазенки и раскрасневшиеся щеки выдавали, что творится в душе... И все-таки не выдержала: через минуту бросилась на шею, рассмеялась, защебетала, закрутилась вокруг него, как маленькая собачонка: «Дедушка, а знаешь?.. Дедушка, а помнишь?.. Как здорово, что ты приехал!..»

Через некоторое время в комнату вошли мужчины и пригласили всех присутствующих. Как ни трудно было расстаться с дедом, обычай требовал от невесты сесть в «Жигули» двоюродного брата жениха, который должен был вести ее к ожидающему на полпути любимому. Втайне я надеялся, что хоть жених-то будет, по обычаю, на коне. Тщетно. Наверное, теперь даже в самых отдаленных уголках нашей страны ни один подобный обряд не обходится без многочисленной армии братьев-близнецов, уроженцев Тольятти. Ревели моторы, плясали по старинным стенам лучи фар, включенных на дальний свет, машина жениха ловко кружилась вокруг синих «Жигулей», в которых сидела невеста, жених осыпал ее машину конфетами и орехами...

Перед домом полыхал костер. К нему и направлялись шумные и многочисленные гости. Возбужденные лица освещались со всех сторон факелами. Было светло, как днем. Низко и глухо бухал барабан. С громкими радостными криками носились дети.

По примете, если невеста переступит через огонь, прежде чем войти в дом жениха, то сразу станет чистой, как новорожденная, освободится от всех, даже самых безобидных пороков и болезней. Костер притушили, и она, слегка приподняв блестящее длинное платье, перешагнула через огонь. Затем, ступая через порог, невеста непременно должна встать правой ногой на расстеленную шкуру барана — этим навсегда отпугиваются злые духи от домашнего очага... Совсем молоденькая, она так смутилась под взглядом гостей, что, оглянувшись в самый решающий момент на дедушку, чуть было не потеряла равновесие и не шагнула левой ногой! Но подруги, стоявшие рядом с небольшой лампой — искрой нового очага, — удержали от неверного шага. Все серьезно, сосредоточенно двинулись за невестой. Конечно, мало кто из присутствующих на той свадьбе верил в очищение костром и в злых духов. Но дедовские обычаи соблюдаются, проносятся через века, и, может быть, отчасти поэтому на таких старинных национальных свадьбах рождаются прочные, счастливые, и, главное, многодетные семьи...

Огромный двор, на четверть крытый брезентом, был уставлен рядами столов и скамеек. На стенах висели фонари и колонки усилителей. В центре, на большом ковре, микрофон для приглашенных музыкантов и произнесения тостов. Нас с дедушкой посадили на самые почетные места.

Первое слово обычно предоставляется самому дорогому и самому высокому гостю, к примеру, председателю кишлачного Совета. Но тамада, крупный, словно небольшой карагач, покрытый полосатым халатом, на верхушке которого покоится тюбетейка, по праву предоставил первое слово дедушке Юсупу — старшему в роду, которому многие из присутствующих обязаны рождением. Старик отказался от тоста, объяснив это тем, что хотел бы держать речь в присутствии молодых.

А для молодых наступил, наверное, самый волнующий и прекрасный момент в жизни. После того, как невеста провела с подругами около часа за занавеской, к ней торжественно входит жених с друзьями. Он подпоясан широким поясом, накрепко завязанным. Родственница невесты подходит к нему и пытается развязать узел. После нескольких неудач она трижды кланяется, показывая, что не в силах. Тогда жених сам медленно развязывает узел, поднимает невесту на руки и несет на ложе. Все, кроме родственницы невесты, искушенной в брачных делах, удаляются...

...«Той лар мубарек! Той лар мубарек! Благословенна ваша свадьба!» — встречают молодых громкой свадебной песней гости и осыпают сладостями. А когда шум немного стих, поднялся со своего места дедушка Юсуп. Ему тут же поднесли микрофон, но он недоверчиво отмахнулся. Когда же заговорил, слышно было, как шелестят от легкого ветерка густые перья павлина на тюбетейке онинчи — девушки-танцовщицы, приглашенной на свадьбу.

Юсуп говорил долго. Не спеша, с паузами, наполненными тишиной и бесконечным черным небом, высвеченным холодной луной. Я не понимал, о чем он говорил, но от его голоса, от какого-то внутреннего напряжения, которое заставляет смеяться и плакать, которое сжимает горло комком слез, когда мы слушаем великих актеров, читающих на иностранном языке, сделалось светло на душе. Конечно, ничего общего не было у Юсупа с великим актером, но то ли утренния его исповедь тому помогла, то ли вообще весь день, проведенный в Хиве... Рождались чистые образы, розовые, белые, голубые... «Но звуки правдивее смысла...» Да и внучка так выразительно слушала и смотрела на деда. Видно было, как свято верит она его словам, будто в них вся история ее многострадального народа, вся несказанная прелесть земли ее, вся чистота ее сегодняшней любви...

Когда все вышли, снова залился бубен и протяжно запищала зурна, я тихо спросил: «Дедушка, о чем был тост?»

— О жизни, сынок, — ответил он. — Кушай, вон тебе плов несут. А тост... Потом, потом...

Мы ели необычайно вкусный плов с морковью, зеленью, сабзой, горячей сочной бараниной, пили прозрачное холодное вино, хрустели ярко-красными гранатами и сладкими, душистыми яблоками...

Онинчи, широко и лукаво улыбаясь, подходит ко мне под мелкую дробь, вернее, сыплющийся песок барабана и бубна, — приглашает гостя на танец. Никакого не имея представления об узбекских танцах, я все же смело выхожу и исполняю нечто среднее между лихорадкой, бампом, лезгинкой и обрядным танцем дварей Новой Каледонии... Главное, не сбится с ритма. Держись! «Ай, молодец Сергей!» — летит со всех сторон. Неумолимый бубен все увеличивает и увеличивает темп. Черные крутя перед глазами, в них летает яркое полосатое атласное платье онинчи. Упадешь, сейчас упадешь! Но бубен, как будто чувствуя, затихает, позволяет передохнуть... Раз-два-а, три-и — и снова волны звуков, разбивающиеся яростно об острые камни, словно брызги разлетаются во все стороны, захватывая свадьбу. Все бросаются в танец, падают скамейки, летят сладости, фрукты, цветы, и встает со своего места даже дедушка Юсуп...

Всю ночь продолжалась свадьба. Когда небо вылиняло и полная луна стала похожа на большой ком, скатанный для снежной бабы, мы с дедушкой вышли на улицу. С полчаса просидели молча, отходя от бешеного водоворота свадьбы. Зурна и бубен все еще неистовствовали в голове и отдавали в ноги.

Вдруг дохнул легкий, сладкий, как только что упавшее красно-золотое яблоко, ветерок, и все умерло. Бывает такое мгновение перед рассветом. Ветер, деревья, темные, тяжелые, напоминающие чьи-то сильные профили и характеры, облака, расплывшиеся, размякшие за ночь, звезды цвета матового серебра — все застывает. Не дышит. Ждет. Напрягается, чтобы взорваться, извергнуть новый день — солнце, слезы, смех, песни, зурну и бубен свадебные... Но пока не дышит. На душе становится торжественно и печально... Все-таки самое чистое и доброе из чувств человеческих — печаль. Сама по себе, не вызванная откровенно и грубо чем-то внешним. Печаль, которая не захлестывает, а наплывает — постепенно, не спеша. Есть в ней неуловимая, непонятная частица вечности... Не однообразная, громкая, до смешного преходящая радость, — порой, кажется, даже кем-то выдуманная в насмешку над человеком, — а печаль, всегда новая, свежая, вдохновенная и вдохновляющая... Чудилось, будто проявляются смутные, расплывчатые образы, явившиеся на свадьбе, будто из неземного далека неясно долетают смутные голоса... Давно, в детстве, я слышал от кого-то, что человеческие голоса не умирают. Они живут во вселенной, с течением времени все дальше улетая от земли, но порой возвращаются... Откуда-то из векового далека предрассветная тишь доносит звуки, пронизавшие в свое время землю Хивы. Огонь, меч, смерть, дикие, хриплые голоса воинов Александра Македонского: «Хи-ва! Хи-ва!», kloкочущие, горловые вопли монголов Чингисхана, трубным басом отдает приказы беспощадный Тимур... Постепенно, плавно голоса снова переливаются в почти неслышимый, неясный звон свадебного бубна, снова где-то там запищала зурна... Сперва несмело, потихоньку, потом все быстрее, быстрее, приближаясь и нарастая... Брызнул день, как сто лет проспавший фонтан, зашумели цветущие яшны и урюк (я узнал тот загадочный шум, который слышал вчера ночью в гостинице). Той лар мубарек! Той лар мубарек!

...Очнулся от своих мыслей. Вспомнил, что хотел порасспросить у дедушки, о чем был его тост. Повернулся... ой! Того быть не может! Передо мной сидел не дед Юсуп с темным лицом, мутными глазами... Нет! Он прислушивался к далекому бубну, и лицо его, глаза его светились молодой радостью. В них отражались золотисто-розовые, бирюзовые лучи, рождающиеся из густо-голубого за Джума-мечетью, на востоке, солнца...

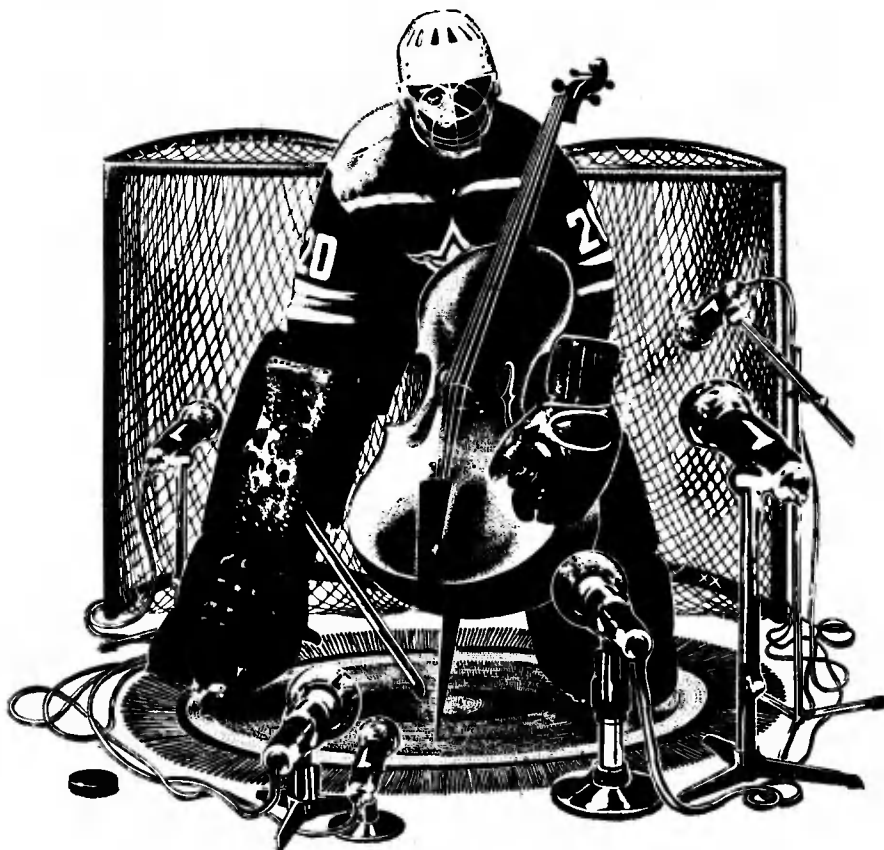
Я глядел на него, и мне казалось, что теперь я понял тост старика совершенно. Эти слова могли прозвучать из уст моего деда и отца, любого человека любой нации, который любил, и горел, и умер, и рождался. Тост этот — о вечной весне, вечной жизни...

Дедушка Юсуп улыбался, как юноша.



ЮРИЙ
ЦЫБАНЕВ

Оформление
А. Сальникова.



? А КАК ИГРАЕТЕ ВЫ ?

Кто-то сочувствовал. Кто-то недоумевал. После окончания факультета журналистики Института международных отношений человек шел работать в еженедельник «Футбол-Хоккей». Шел в стажеры, и неясно было, сколько протянется стажерство. По основательному общему мнению, человек прощался с движущей силой жизнедеятельности — перспективой, улетавшей от него красивым журавлем в иные службы и края, и предстояло ему, по тому же основательному мнению, заниматься не-solidным делом — ловить синицу.

— Тебя туда распределили? — спрашивали.

— Нет, сам рвусь.

— Тогда, раз уж ты так к спорту прикипел, может, тебе в «Советский спорт» лучше, а? Там международный отдел все-таки, двумя языками поворочаешь...

Но для меня это чудо что за синица была.

Как впервые увидел снег, не помню. Помню, как впервые увидел футбол и хоккей. Про футбол помню лучше. Было мне лет шесть. По телевизору передавали откуда-то с юга предсезонную игру. Помню, что ничего не забили. Потом понял, что это был скучный футбол. Но одним своим жестом футбол меня тогда схватил и завлек (честное слово, так сразу было. не потом придумал). Вратари выбивали мяч с рук, он летел красиво и долго. Затаив дыхание, я нацеливался прямо влезть в телевизор и поймать волшебный момент, когда мяч упадет сверху на поле. Ведь, когда он упадет, может случиться что угодно, любое событие, любая невероятность...

В хоккей для меня играли герои.

Среди своих сверстников я был самый сумасшедший болельщик. Кто-то болел за тех, за кого было большинство — из солидарности, кто-то, напротив, в пикку другим тешился, когда команда-любимца большинства проигрывала. Я же болел, пожалуй, для

самоутверждения, причем не за ту команду, которая выигрывала чаще всех. Побеждала она — вот как мы сильные и отважны! Проигрывала — выпускал защитные колючки, словно все на свете собирались ополчиться на меня с издевательствами и унижениями.

Все это, может быть, бессмыслица, а может быть, и нет, но безоглядное, отчаянное «боление» и привело меня к слову об игре. После побед «своих» норовил оглядеть все газеты — все ли признают, что мы сильные и отважны!

Но это после побед. После поражений приводила в чувство только одна газета — «Футбол-Хоккей». Она не просто соответствовала болельщицким настроениям. Она со мной разговаривала, рассуждала. Она собирала все футбольно-хоккейные события за неделю и рассматривала их так полно, умно и ненавязчиво, что осаждала горячность. Она возобновляла во мне первозданный футбол: «Мяч в игре!» — и первозданный героический хоккей.

...Как-то мы с товарищем заинтересовались: если на любой службе хлебом не корми, а дай поболтать о футболе и хоккее, то о чем же разговаривают люди, работающие в «Футболе-Хоккее»? С неделю я поработал — разговор продолжился: впечатления? задания? кстати, о чем говорят на работе?

— Знаешь, на работе говорят только о работе!

Неразговорчивым и малообщительным вообще почти нечего делать в журналистике, в том числе в спортивной. Я ухватился за «почти». Спасибо «Футболу-Хоккею», как чтению и как работе, спасибо случаю — через год мне доверили отвечать в еженедельнике за хоккей. Я стал смотреть игру и нащупывать ее словом.

Но кто ж из людей, связанных с игрой или просто следящих за ней, хотя бы в душе не игрок? Летом 1978 года я выиграл большую игру, причем чисто репортерскую. Мастер репортерской игры Владимир Дворцов из ТАССа сдал мне козырного туза.

Знаменитый безупречный нападающий «Монреаль Канадиенс» Ги Лафлер отдыхал в Финляндии по приглашению фирмы КОХО, изготавливающей хоккейный инвентарь. Он попросил ее организовать ему поездку в Москву на денек-другой — никогда у нас не бывал. В журналистском кругу о приезде Лафлера не знал, наверное, никто, кроме Дворцова. У него было к канадцу не так много вопросов, и в остальном он «подарил» его мне. Приезжаю в условленный час в гостиницу «Националь» — Лафлера нет. Ясно, что и времени у него нет — всего на ничего в Москву приехал. Наконец появляется. Элегантный молодой человек в светлом костюме, без шрамов и броских манер — как будто никакая и не «звезда» из жестокой профессиональной лиги.

— Мистер Лафлер, мы с вами договаривались.

— Да, да, если не возражаете, давайте поговорим в столовой. Я как раз позавтракаю, а потом у нас поездка по городу.

Завтрак «звезды» оказался легким. А у меня в блокноте — еще три четверти не спрошено. Вижу, что за оставшуюся Лафлеру яичницу больше почти ничего спросить не успею. А вот уже и яичница, чтоб ее пережарили! Лафлер отвлекается от разговора и начинает что-то объяснять официантке. Та не сразу понимает. Подключаются к объяснению супруга Лафлера, его спутники — адвокат и кто-то еще. Наконец, выясняется, что Лафлер просит зажарить яичницу с двух сторон...

Теперь можно выпаливать вопросы один за другим. В частности, говорят, в Канаде становятся на

коньки и берут в руки клюшку одновременно с первыми шагами по земле. Мой герой наверняка так и сделал? Оказывается, вовсе нет. Стал на коньки в пять лет, и никакой клюшки у Лафлера при этом не было. Отчего же у него теперь так здорово получается?

— Мальчишкам бы все по воротам бросать да забивать. Поскорее бы, пусть спотыкаясь, до ворот добраться. Главное же — научиться правильно, уверенно кататься, чтобы маневр не трудностью становился, а оружием. Но многие не учатся. Так и бьют до конца хоккейных дней своих по воротам, откуда пошло.

Поджаристая яичница — славное блюдо. Благодаря ей я добился в своей игре с Лафлером перелома. И выяснил, почему Лафлер, в отличие от многих его соотечественников, широко смотрит на игру и тонко играет.

Рассказывают: бывало, что журналисты передавали отчеты о матчах, которых не видели. А что? Взглянул на показатели в таблице, считал их с результатом матча. Изучил, кто забивал и с чьих подач. Посмотрел, на каких минутах забивали. Итого: «Исход матча сенсационен (или закономерен). Особенно отличились такие-то (такой-то не отличился). Перелом произошел в третьем периоде, значит, такие-то лучше таких-то подготовлены физически».

Но без самого что ни на есть крайнего случая на такую хитрость никто из людей, пишущих об игре, не пойдет, потому что это хитрость для поденщика. Спортивные же журналисты большей частью и игроки и честлюбцы в своем занятии, а иначе выходит неинтересно ни им самим, ни читателям. Свое, именно тобою избранное, слово — среди острых партнеров.

В редакции еженедельника сейчас висит бюллетень под названием «Наше сквернословие». Вот несколько выдержек из него: «Эффектно и эффективно, стабильность, бескомпромиссность, ветеран, вратарь на высоте, дружина, сплав молодости и опыта». Завел этот бюллетень редактор Лев Иванович Филатов. Он вывесил его со вздохом: «Ну сколько же можно».

Когда я заступал на работу, такого бюллетеня еще не было. Но и тогда Лев Иванович вздыхал точно так же, выправляя материалы, заполненные «сквернословием». И во мне объявился охотник за свежими словами и за образностью, долженствующей точно передать события игры.

В декабре 1977 года довелось впервые писать о «Призе «Известий». Наши проиграли сборной Чехословакии. Оценить поражение по существу я еще толком не умел, а потому братья за это побаивались. В целом турнир получился неровный, каждый занимался своими текущими делами. Незадолго до этого Марыля Радович ярко исполнила в Сопоте «Разноцветные кибитки». Я бодро сравнил турнир с ярмаркой, и пошло-поехало. Все-то у меня приехали с товаром, кто-то показал товар лицом, кто-то лицом не показал.

— Юра, — посмотрел на меня Лев Иванович, начав читать материал, — на ярмарке не показывают товар, а торгуют им.

В тексте я так настаивал на ярмарке, что дал редакторскому перу работы сверх меры. В результате на товар просто не хватило чернил.

Через время приходит письмо, причем от читательницы, которая, как полагаются женщине, заинтересовалась товаром: «Что это ваш обозреватель из хоккея торговлю устроил?..»

Как-то Владимир Петров, напористый, активный игрок и человек, не играл из-за травмы и подсел на матче к журналистам. Кто-то из молодых армейцев забил гол.

— А интересный парень, как по-вашему, Володя? — спросили Петрова.

— Вроде ничего.

— Надо бы о нем хорошее написать.

— Да не надо про него ничего писать, — насторожился Петров. — Забил — и хорошо.

И пошел в атаку:

— Как вообще можно объективно оценить чью-то игру?

Прямую речь тут приостановлю, так как не ручаюсь за точную передачу формулировок Петрова. В целом же мысль была такая: не может быть объективен в оценке игрок, так как действует по установке тренера, он может лишь выполнять установку, но не судить о качестве исполнения; не может быть объективен тренер, так как он во власти своей работы и направляет все внимание на цель — победу; и наблюдатель, в этом случае журналист, не может быть объективен, так как он далеко не всегда посвящен в тренерские задумки и далеко не всегда способен угадать мотивы действий игроков.

— Ну, все же надо игру оценивать. И как вы принимаете оценки?

— Как субъективные. Но, во всяком случае, покопаюсь в себе, может, что-то и верно подмечено.

Есть тренеры — мастера по повышению команд в ранге. Выведя команду из первой, скажем, лиги в высшую — в футболе есть тому свежие примеры, — они преспокойненько ее оставляют и принимаются за очередную. Журналист, пишущий об игре, в чем-то, по моему, сродни таким тренерам. Он редко когда предвзначает самые теплые слова той команде, которая благоденствует, не встречая конкуренции. В игре, в столкновении двух сторон, она одна не создает завлекающего зрелища. Но вот объявляется ей соперник. В 1974 году спортивная печать горячо привечала хоккеистов «Крыльев Советов», замахнувшихся на первенство и взявших его. В последние несколько лет все обстоятельства призывали к спору с ЦСКА московское «Динамо». Эту команду одаривали словами и подбадривающими и терпеливыми. Но динамовцы так и не разохотились. Они не спорили с армейцами, а следовали за ними, как в гоике за лидером, где велогонщик ни при каких условиях не может обогнать своего лидера — мотогогонщика.

В этом сезоне все взялись в один голос поощрять «Спартак». На первом матче нынешнего чемпионата между ЦСКА и «Спартаком» я сидел в ложе прессы рядом с деловым и рассудительным товарищем по работе. Насколько знаю, у него нет привязанности к какой-то одной команде. Так вот, «Спартак» вел 3:2, и время игры почти уже убыло. И вот — последний шанс армейцев: им удастся прорвать оборону «Спартака». Чудом не забивают. Варут слышу: «Не смотри». Глажу — сосед отвернулся, а рука газету морским узлом связывает...

Вот такие волнения, в которых нет, впрочем, ни неприятия записных лидеров, ни необъективности, а только человеческая, да и профессиональная расположенность к богатому волнениям зрелищу.

Но то работает конъюнктура интереса. А бывает, начинаешь «подыгрывать» и команде из неprimетных.

Сейчас я «веду» вверх киевский «Сокол». С его тренером Анатолием Богдановым мне довелось по-

знакомиться в пору, когда команда только готовилась к высшей лиге. Что называется, пробовались наверху в последние годы многие клубы. Все они с великим тщанием настраивались и перестраивались, все были исполнены забот и желания проявить себя. И тренеры этих команд — нет, не жаловались на трудности, в большинстве своем они люди работающие, но все же бывали скорее озабоченными, чем довольными тем, что идут вместе с командой на повышение. Так вот, встречаю молодого человека, немногим старше меня. Представляюсь.

— Ого, а я думал под вашей фамилией — эдакий степенный обозреватель в летах.

— Что делать, вот в таком неприличном для журналиста возрасте.

— А я тоже в неприличном — для тренера.

Обменялись, стало быть, протокольными любезностями. Ну, бог с этим. А дальше тренер Богданов, который сам в жизни не играл в высшей лиге и у которого негодная, по единодушной оценке, для высшей лиги команда, начинает рассказывать о тренировочных делах. Причем рассказывает с такими бодрыми интонациями в голосе, словно все до единой детальки у него в команде подогнаны, да и вообще игроки под рукой что надо. Предстоит, мол, и бой за выживание, и праздник, и грандиозная учеба, и вообще все это страшно интересно. А между прочим замечает, что «Сокол» принципиально не собирается брать себе в подмогу бывалых игроков и тем не менее непременно станет сражаться со всеми. Ну — так бывает — сказал, и ладно.

Но вот «Сокол» зажил в высшей лиге. Теперь уже без малого три года живет. И ведь с какими намерениями пришел, с такими и живет! С первого дня со всеми сражается своими молодыми силами. Слово тренера, обращенное в будущее и сбывшееся, — дорогое слово. После этого так и тянет подгонять киевскую команду на все большие свершения.

В международном хоккее у меня есть кошмарное, но любимое дитя — сборная Финляндии. У нас с ней совпала дата в биографиях. В Праге я впервые работал на чемпионате мира, и именно на том чемпионате финны впервые попробовали биться со всеми серьезными соперниками. Привез ее туда новый тренер Калеви Нумминен. На пресс-конференции его спросили:

— Конечно, у вас всегда были стоящие игроки — хитрец Кейнонен, настырный Мононен, вратари Третьяку под стать. Но что же с вами теперь произошло?

— Теперь у нас никто не выставляется, зато все стараются, — ответил серьезный тренер.

С той поры я вознадеялся, что Нумминен, введя свою сборную в высший хоккейный свет, научит ее обострять сюжет главных турниров. И началось! Надежда всего чудеснее, когда вот-вот, кажется, оправдается. Финны то лучше всех обороняются, то вдруг становятся самыми отчаянными. Играют то ли по-канадски, то ли по-европейски. То проходят мимо очевидного, теряя всякое игровое зрение, то вытворяют невероятные комбинации, какие им самим во сне не снились. Но никак не доведут дело до конца. Отвешивая им комплименты, потом оправдываясь перед читателями. На последнем чемпионате мира в Москве совсем по-болельщически пристал к Нумминену: как же, мол, так, четырьмя месяцами раньше на «Призе «Известий» тройка Порвари — Койвулахти — Лехтонен у вас чудеса творила, куда все подевалось?

— Устали, — с грустной улыбкой ответил Нумминен.

— Как это устали? В какое вы меня положение ставите?!

На последнем известинском турнире финны были почти вторые. Но все равно нипочем не угадаешь, как они себя поведут на чемпионате мира в Швеции...

Площадка — в прямоугольнике трибуны. Люди приходят отвести душу и ободриться — каждый по-своему. Иной раз вообразишь, что прямоугольник всеми сторонами надвинется на участников действия и не выпустит их, пока каждый не возьмет от игры свое.

Впрочем, перерыв.

Замысловатое сплетение служебных коридоров в лужниковском Дворце спорта, словно дриблинг Гарринчи. В дальнем уголке — тихий буфетик с притушенным светом, напоминающий кабинет аутогенной тренировки, успокаивающей после всплесков хоккейной ярости. Сидим за чашкой кофе с заслуженным, большим мастером. Он теперь не играет.

— Ну, спасибо за компанию. Я побежал работать — мне отчет писать.

— Вот так все работаешь да работаешь, — большой мастер, похоже, не столько ко мне обращается, сколько грустит и раздумывает о себе и товарищах своих...

В другой раз заводит разговор другой заслуженный, большой мастер:

— К сожалению, что-то слишком много в нашей игре стало от работы. Вот уже и говорят: «Молодец, отработал на совесть»... Или: «Проделал большой объем работы». Да при чем тут работа-то? Не могу в толк взять. Ну, хорошо, активно сыграл. Ну, сыграл по тренерскому заданию. А впрочем... И вправду в голове все время прокручивается: сделать то-то, так-то играть не следует, не полагается...

А мастер этот, между прочим, в самой горячей игре никогда не прятался и всегда охотно... проделывал большой объем работы.

Давным-давно известно: память задерживает только блески, а нудные длинноты, скукоту и огорчения выбрасывает. Такая вереница ей не под силу, а нам ни к чему. Может, я, рецензируя хоккей, просто вработался в игру, а на самом деле она, как и десять лет назад, по-прежнему лиха и задорна?

Соседние мастера бывших лет увлеченно толкуют «за старый хоккей» в противовес новому. И все это было бы знакомыми отвлеченными вариациями на тему отцов и детей, если бы эти разговоры не получали обоснований.

Один из «отцов» — Вячеслав Старшинов — еще два года назад играл. Пусть он успевал на площадке не всюду, но непременно был на виду, ничто не могло его удивить, а ежели сила соперников или слабость партнеров его задевала, то он пускался в ход не столько опыт, сколько азарт проигрывающего игрока, брал шайбу и пускался обводить соперников одного за другим. И обводил ведь!

Ушел Владимир Видулов, и новый капитан сборной Виктор Жлуктов, для которого Видулов был первым партнером в команде мастеров, спрашивает себя: «Сумею ли я быть таким же щедрым, каким был ко мне Видулов, сумею ли сделать для своих молодых партнеров то, что он сделал для меня?» Жлуктов, добросовестнейший и безотказный партнер, заявляет, что он может и хочет забивать. Но все время оглядывается, потому что тренеры не уверены, что другие участники тройки проявят такую же добросовестность.

Ушел Александр Якушев, заметив, что мог бы добиться большего. Это Якушев-то недостаточно преуспел!!

Ушел Борис Михайлов, вожак, труженик и снай-

пер в одно время. Уж он-то всегда «отрабатывал» сверх установленной меры. Но и он же говорил: «Мне нравится сама игра. Я ею живу».

Продолжает играть Владимир Петров, игрок из игроков. Помнится, ЦСКА у кого-то легко выигрывал, большинство молодых армейцев «докатывало» игру до сирены. Защитник соперников остановился с шайбой за своими воротами и задумался. Ну, жалко что ли, пускай подумает. А Петров подкатил к воротам, перегнулся через них и таким способом чуть шайбу у него не выбил! Э-эх! Между тем Михайлов и Петров большую часть своей игровой жизни прожили в славной тройке, преуспевавшей, по общему мнению, благодаря общей... работоспособности и отработанности маневров.

Продолжает играть Виктор Шалимов. На декабрьском известинском турнире он после трехлетнего перерыва вернулся в сборную. Тренеры соперников о бывших его доблестях подзабыли и занесли его в группу талантливых молодых новичков. Шалимов нынче и вправду так жаден до игры, словно только вчера в мастера выбыл и много-много лет ему еще потребуется, чтобы наиграться. С откровенным удовольствием петляет в окружении соперников, летает по площадке. А ведь два-три года назад в нем вконец разуверились, да и сам Шалимов, грустный, катался через силу. Ан жив игрок!

Пришел Сергей Макаров, его уже называли лучшим в стране и в Европе. Самый выдумщик из «новых». В юности тренеры не слушались, все водил да водил шайбу — паса не дождешься. Но видно — игрок. Анатолий Михайлович Кострюков, у которого Макаров начинал в «Тракторе», вспоминает, что очень интересно было ему работать с Сергеем. Сильный игрок с твердым характером — ну как с ним тренеру не увлечься? Кострюков с иронией рассказывал:

— Знаете, по каким причинам игроки бывают недовольны тренером? Или слишком жесткий или слишком мягкий. Или заставляет чрезмерно работать или дает недостаточно работы. Вот такое дело.

Сведущие люди повторяют, сколь сильно переменялся хоккей, сколько разной мудрости впитали тактические идеи, как трудно нынче выделиться, и умом следует с ними, конечно, согласиться, но вот сердце-то менее стоворчиво и все тянется к сокровенному, необычайному.

В бейсбольной игре предусмотрены ставки на фаворитов сердца.

Скукая по сильным и волевым мужчинам, заходят на хоккей женщины. Их не интересует, достаточно ли организованная оборона у «сине-зеленых». (Исключая, разумеется, сугубо деловых женщин.) Им подавай град шайб на закутанного в доспехи вратаря, и помощи ему бог с этим градом справиться, а они уж о нем прошепчут: «Беденький!»

Зайдется азартом скромная команда из маленького города перед лицом безупречного и уверенного в себе соперника и, глядишь, одолеет его. Не расправит ли на трибуне плечи безнадежный неудачник?

Но, может, прошел по краю — и хорошо? Может, вы и смотрите на лед не станете, а лучше с прятелем за жизнь поболтаете — а то больше ведь некогда — и, придя к согласию, вместе попросите: «Шайбу!»? Может, лишь бы «наши» на коне были? А может, больше не играется?

Не знаю. Но, как бы вы ни играли, давайте поиграем еще. Вдруг что-нибудь да выиграем?



«**В**ременный фонд» — есть такой термин в коммунальных хозяйствах. «Временный фонд» — это дома, в которые переселяют жильцов, когда на их основном месте жительства идет капитальный ремонт.

Один из таких домов стоял в тихом, малонаселенном переулке нашего города.

В квартире на первом этаже этого дома судьба свела двух старух. С разных улиц. Из разных жизней. Одна — Олимпиада Владимировна. Это была нервная, одинокая старушка, полная энергии и стремления к справедливости всегда и во всем. Она вступала в конфликты в магазинах как с продавцами, так и с покупателями, если ее обвешивали и если кто-нибудь пытался «влезть без очереди».

Другая — Валентина Ивановна, крепкая, смешливая, бойкая старушка, которая манерой говорить, вести себя, всем своим видом доказывала, что она человек властный, привыкший быть во главе работы, семьи, дома. У нее был большой запас картошки, которую она жарила на постном масле на обед и на ужин. На завтрак она, как правило, делала себе яичницу.

Олимпиада Владимировна в прошлом была балериной. Валентина Ивановна — мастером ткацкой фабрики. Им было по 75. Разные это были старухи. Но их объединяла старость и «временный фонд».

Жили они сейчас в трехкомнатной квартире дома «временного фонда», третья комната пустовала.

По вечерам Олимпиада Владимировна и Валентина Ивановна на кухне чаевничали. Каждая за своим столиком, а над столиками висели часы-ходики. У каждой свои. Причем у Олимпиады Владимировны ходики отставали на полчаса, но она считала, что именно ее часы показывают точное время.

Так их жизнь и текла. С разницей на полчаса.

По вечерам пили на кухне чай, рассказывали разные истории из своей бывшей жизни и гадали — «Кого же подселят?» Это о третьей комнате.

И вот однажды раздался звонок и на пороге появилась девушка с



Ю. РАШКИН

ЧУДЕСНЫЕ ГАЛОШИ

Рисунок
И. Оффенгендена.

чемоданчиком в одной руке и с раскладушкой в другой.

— Здравствуйте, — сказала она. — Зовут меня Люда. Я буду здесь жить.

Как тут засуетились Олимпиада Владимировна и Валентина Ивановна, обрадованные тем, что к ним прислали девушку. Да еще такую симпатичную.

Люда рассказала, что учится в техническом институте, живет в общежитии, но его ремонтируют, и всех студентов расселили по разным квартирам. Так она оказалась у них.

Когда Люда заснула, Олимпиада Владимировна и Валентина Ивановна вышли потихонечку из своих комнат и шепотом на кухне обсудили, как повезло им с Лю-

дой. Единственное сомнение закралось в их души — молодая ведь, гостей водить будет... Но решили: поживем — увидим, и разошлись по своим комнатам.

А ходики тикали на кухне, показывая разное время... И однажды Люда перевела ходики Олимпиады Владимировны на правильное время. Олимпиада Владимировна ничего не сказала Люде — то ли просто не заметила, то ли так ей полюбилась она, что решила не спорить. И они все троим стали жить по одному времени.

И до того старушки полюбили свою молодую соседку, что их очень стала волновать ее судьба. «Как же это так, — говорили они между собой, — все девушки как девушки, у всех парни есть, а наша-то все одна». И стали они сначала украдкой, а потом все настойчивее намекать Люде о второй половине рода человеческого. Не знала она, что сказать им в ответ, а старушки наступали, становились все назойливее.

Тогда Люда придумала. Отправилась она в магазин, купила стакан и мужские галоши. Шли дожди.

И вот однажды Олимпиада Владимировна и Валентина Ивановна, выйдя из своих комнат, увидели рядом с дверью Люды галоши. Переглянулись, но ничего не сказали друг другу, а только заулыбались. А когда пришло время чаепития, Люда сказала, что она уже попила чай. Старушки заметили у нее в руках, помимо чашки, еще стакан. Тут они в один голос заговорили, что помогут ее посуду, что у нее, очевидно, много занятий накопилось, пусть она не теряет времени, а они ей во всем помогут. Старушки, оставшись одни, бросились друг другу в объятия. Стояли они обнявшись, на глаза навернулись слезы, а ходики тикали, показывая одинаковое время...

Так и повелось с тех пор — по вечерам Людаставляла у своей комнаты галоши, а позже выносила пустой стакан. Иногда Люда для правдоподобности в особенно дождливые дни, прежде чем выставить галоши в коридор, потихонечку выходила на улицу, вымывала их в грязь, а потом уже ставила у комнаты. Старушки брали по галоше и уж с такой любовью вымывали они их, с та-

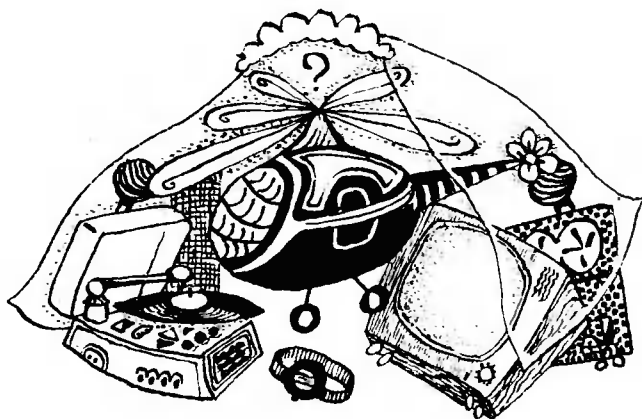
кой лаской, как будто это были галоши их мужей, как будто вернулась к ним молодость.

Олимпиада Владимировна и Валентина Ивановна ждали — ох, как ждали! — когда же наконец Люда познакомит их со своим молодым человеком. Однажды Валентина Ивановна не выдержала: «Хоть скажи, как зовут-то, если показать не хочешь!» — и сердито уставилась на Люду. А тут Олимпиада Владимировна вышла из комнаты с любопытным взглядом. Люда ответила сразу, что, мол, зовут его Петр. Однако ей стало страшно — как дальше-то быть? Знакомить-то было не с кем. А тем временем старушки стали сердаться на Люду всерьез. Олимпиада Владимировна даже снова перевела ходики. Так они были обижены на Люду, что стали ей говорить: что же, мол, это такое, приходит посторонний человек, а она за газ, за свет не платит... Да и вообще он не прописанный живет. Люда понимала, что все это не со зла — просто обижены они на нее, и любопытство свое берет. Так и разъехались бы они врагами, если бы не произошел совершенно неожиданный случай.

Обида взяла свое, и старушки, отчаявшись увидеть Петра, приняли последний ход. Они написали в жэк заявление, что у них в квартире живет непрописанный мужичина. Написали и сами испугались, но было уже поздно забирать заявление назад. Однажды вечером, когда Люда, как всегда, выставила галоши в коридоре, раздался звонок, и в квартире появился молодой участковый милиционер. Звали его Вася. «В чем дело? — спросил он. — Где тут непрописанный гражданин?» Взмолвленные и испуганные Олимпиада Владимировна и Валентина Ивановна ткнули пальцами на грязные галоши, на дверь Люды: мол, там. Милиционер Вася постучался и вошел в комнату к девушке.

И Люда ему все рассказала. Выслушал Вася Люду, вышел в коридор, увидел испуганных старушек. А те стали звать его чайку попить, чтобы во время чаепития раскаться в своей глупости. Посмотрел Вася на галоши. «Обманула вас Люда, — сказал он старушкам, — зовут меня Вася, а не Петр», и надел на свои начищенные сапоги галоши...

И в этот момент произошло чудо: ходики Олимпиады Владимировны сами вдруг перевелись на полчаса вперед, и в квартире снова воцарилось одинаковое для всех время.



СЕРГЕЙ ДУБИНИН

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ ШТРИХ»

Рисунок А. Якимова.

— Але! Это Вовчик?! Вовчик, привет, старик! Это Игорек тревожит! Слушай, я тут надумал жениться, но боюсь ударить в грязь лицом. Кое в чем еще затруднение испытываю! Понимаешь?.. Нет, нет, ящик у меня есть, цветной «Рубин», пока сойдет. Из техники еще имеется проигрыватель-автомат «Дуал» с колонками «Бокс», стереомагнитофон «Сони», к ним еще бы «Грюндиг» не мешало! Уловил?! Сделаешь?! Спасибо, старина! Звони! Отблагодарю!..

Так, в технике теперь полный ажур!

— Але! Это Ленчик?! Ленка, привет, старушка! Это Игорек взывает о помощи! Выручай, задумал я жениться, но боюсь ударить в грязь лицом. Сейчас же каждый выставляется, каждый хочет показать, что он лучше всех. Ну, а я что, хуже их! Ну вот! Такое дело. Ленчик, мне нужны часики в духе «Ролекса», или «Филиппа Патэ». Что?.. «Омега»?.. Чудно, Лен, чудно! Пойдут! Звони, жаду, отблагодарю!..

Так, приступим к главному.

— Але! Это дядя Боря! Дядя Боря, это Игорек беспокоит! Понимаешь, надумал я жениться...

Что значит наконец-то? Я давно задумал — просто не хотелось в грязь лицом шарахаться! Сам понимаешь, престиж фирмы прежде всего! Я тут понаблюдав немало и вижу: некоторые уже на «Чайках» стали к загсу подкатывать. Ну, а я решил накрыть всех с воздуха вертолетом! Дядя Боря, выдели любимому племяннику вертолетик часа на два... Ну на час, на час... Ну и отлично!.. Что? Вместо куклы Бабу Ягу? Идея! Дядя Боря, ты просто гений! Я им покажу как выставляться!..

Так, теперь последняя деталь, завершающий штрих — кто невеста? Не буду же я жениться на первой попавшейся любимой девушке. Тут надо такой вариант, чтобы все упали. Кому бы звякнуть?..

Московская обл.

В НОМЕРЕ:



Проза

Сергей ЕСИН. Мемуары сорокалетнего. Повесть	6
Николай ЛЕОНОВ. Агония	44



Поэзия

Константин ВАНШЕНКИН	4
Петр ГРАДОВ	5
Марина МАКСИМИК	41
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ	42
Борис ОЛЕЙНИК	71
Агния БАРТО	72
Сергей ПОТАШОВ	73
Гено КАЛАНДИА	79
Кирилл КОВАЛЬДЖИ	84
Ободияв ШАМХАЛОВ	85
Анатолий ПАРПАРА	86
Егор МИТАСОВ	87



Публицистика

Людмила ДИКОВА. Едем в Новый Уренгой!	2
И. БРАЙНИН. Собеседники Ленина. Сергей Коричев	74
Владимир ГУБАРЕВ. Почерк Гагарина	88
Сергей МАРКОВ. Свадьба в Хиве	101



Критика

Алексей ПЬЯНОВ. Волшебное стекло «Красного Мая»	80
Игорь МОТЯШОВ. Притяжение земли	91
Виктор КОРКИЯ. Музыка души	94
Лев ОЗЕРОВ. Мгновение — вечность	96



Спорт

Юрий ЦЫБАНЕВ. А как играете вы!	106
---	-----



«Зеленый портфель»

Ю. РАШКИН. Чудесные галоши	110
Сергей ДУБИНИН. «Завершающий штрих»	111

1—4-я стр. — оформление обложки В. А. Былинкина.

Макет
Л. К. Зябкиной.

Главный художник
Ю. А. Цишевский.

Художественный редактор
О. С. Кокин.

Технический редактор
А. В. Сальников.

Сдано в набор 11.02.81.
Подп. к печ. 26.03.81.
А 10 003.
Формат 84×108^{1/16}.
Высокая печать.
Усл. печ. л. 12,18.
Учетно-изд. л. 17,62.
Тираж 3 039 000 экз.
Изд. № 1021.
Заказ № 197.

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина.
125865, Москва, А-137, ГСП,
ул. «Правды», 24.



Афиша цирка.



В мастерской художника.

Фото С. Сёмова.

ПЛАКАТЫ ЕВГЕНИЯ КАЖДАНА

Евгений Каждан принадлежит к тому поколению советских людей, которое война застала в самую цветущую пору юности. Мало кому из его ровесников пришлось праздновать Победу. Евгению Каждану выпало пройти через огонь боев с фашизмом с первого дня до последнего, закончив войну, уже вторую — с Японией, гвардии капитаном в далеком Порт-Артуре.

Вероятно, славный и горький опыт молодости обострил в характере Е. Каждана черты высокой гражданственности, неприимости к злу и насилию, гордости за свое Отечество.

В творчестве Е. Каждана на первом месте — мысль. Под острым, неожиданным углом перед зрителем ставятся самые живые, самые злободневные проблемы.

Это касается всех жанров плаката, в которых работает художник, а его диапазон очень широк. Е. Каждан работает в политическом плакате, делает плакаты санитарно-просветительные, противопожарные, плакаты по технике безопасности, цирковые, рекламные. При таком разнообразии тем, а значит, и разных подходах к их решению художник всюду сохраняет индивидуальность, свой почерк.

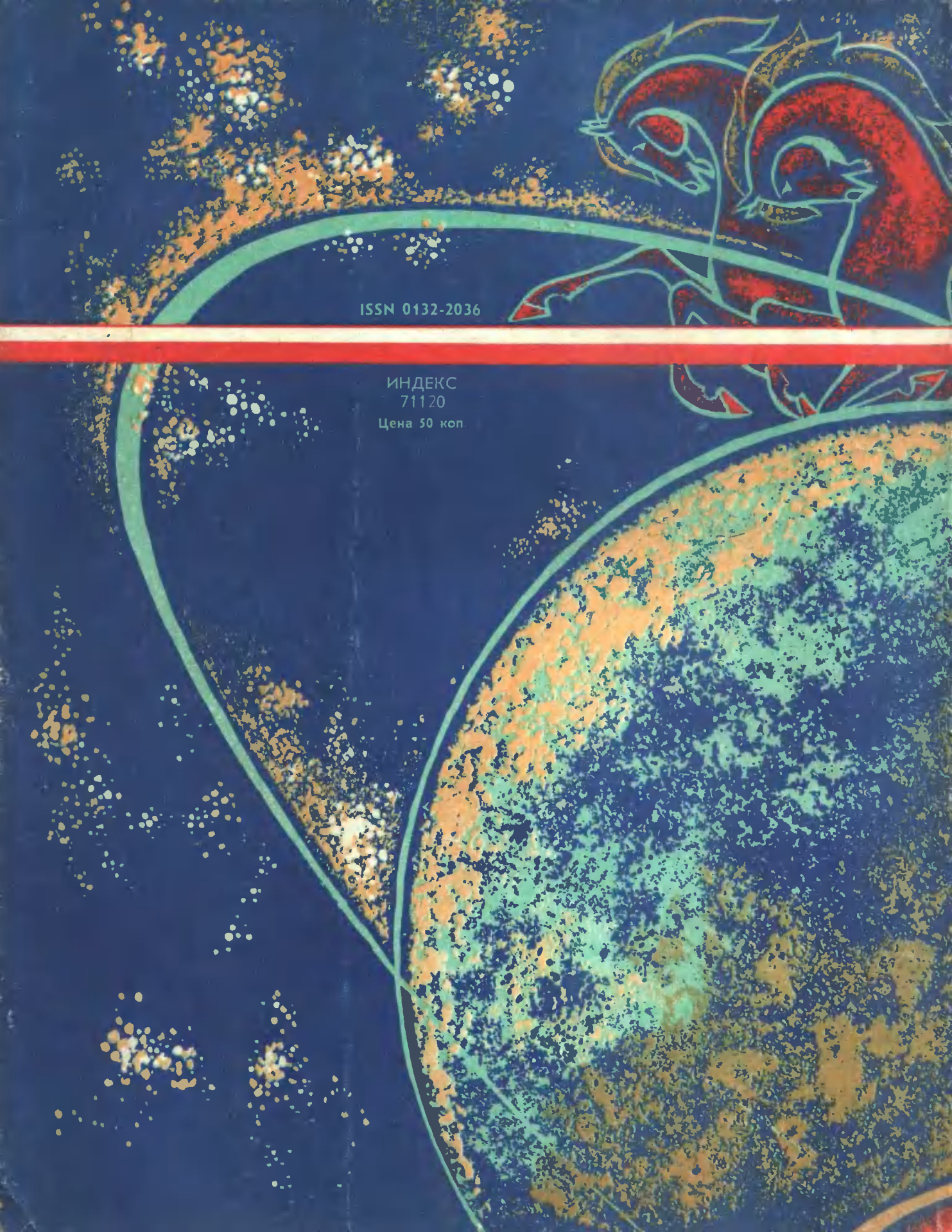
Пластический язык Е. Каждана ясен и прост. Эта простота призвана помочь зрителю четко разобраться в смысле и содержании плаката и достигается сложной работой художника над отбором пластических средств. В своих плакатах он часто метафоричен. Во многих работах художника лаконизм доведен до предела. Он добивается полного выражения темы иной раз даже без текста, просто сопоставляя обычные предметы, скажем, бутылку и костыль, автомобильную шину и детский мяч. Это, конечно, исключения. Плакат как жанр всегда включает в себя литературную мысль, текст. В приведенных примерах текст подразумевается, из самого изображения прочитывается весь замысел.

Глядя на плакаты Е. Каждана, поражаешься неистощимости остроумных выдумок, неожиданных поворотов, иронии и юмора при разработке тем, в которых, казалось бы, уже нельзя угледеть и сказать ничего нового. Здесь можно вспомнить плакаты «Не лучше ли пойти к зубному врачу?», «Цирк. Маргарита Назарова», «Травма — простой», «Спи — встанешь бодрым», «Куришь?» и т. д. Плакаты Е. Каждана заставляют зрителя вновь с непосредственностью взглянуть на проблемы, которые от частого, равнодушного повторения иногда как-то затираются, становятся привычными и уже не будоражат наше сознание.

М. ЛУКЬЯНОВ

Империализм XX века.





ISSN 0132-2036

ИНДЕКС
71120

Цена 50 коп